





**ПОМАН**

АБДУЛЛА КАХХАР



МИРАЖ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАШКЕНТ — 1959

*Авторизованный перевод  
с узбекского  
О Л Ь Г И З И В*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Едва девушка неуверенно и робко взялась за дверную ручку, как кто-то сильно толкнул дверь изнутри; распахнувшись, она больно ударила девушку по ноге и заставила ее посторониться, чтобы уступить дорогу выходящему юноше. Молодой человек рассыпался в извинениях, восхищенно разглядывая ту, которую чуть не сбил с ног.

Он был похож на студента и выглядел очень скромным. Уходить ему не хотелось, но девушка, словно не слыша его извинений, все еще растерянно стояла в дверях, и он медленно поплелся в дальний конец зала. Внезапно он услышал ее слегка прерывающийся негромкий голос.

— Товарищ,— сказала она, нагоняя его,—вы не знаете Сайфи?..

Молодой человек обернулся. Торопливо засовывая в карман бумаги, которые держал в руках, он ответил с восторженной готовностью:

— Это я!

Он и впрямь был поражен и заворожен. Не только красота ее, даже одежда, которую она носит, — само чудо... Но откуда она знает его имя и к тому же спрашивает таким голосом, словно чувствует за собой какую-то вину?

— Я заходила в бюро консультации и... — начала было девушка, но, глянув повнимательнее в лицо юноше, вдруг снова повторила: — Да вы точно — Сайфи?

Молодой человек горестно охнул:

— Простите, простите, я ввел вас в заблуждение! Мне послышалось: Саиди.— Он низко поклонился и снова

смущенно принялся за свои бумаги, которые не успел рассмотреть.

Они ничего не знали друг о друге. Он и не подозревал, например, что зайти в эту комнату, чтобы узнать решение своей судьбы, для девушки было так же трудно, как трудно было бы всякой иной, только что сбросившей паранджу, пройти по оживленному месту, ни разу не споткнувшись и не покраснев при этом. Еще менее мог предполагать Саиди, что девушка, глядя на него, сладостно обмерла: «Этот Саиди работает здесь!» Она несколько оправилась, слушая его оправдания, но быстро и беспокойно обернулась назад, словно там, за спиной, кто-то подсмеивался: «Эх, ты! Не стыдно тебе?! Стоит увидеть красивого юношу, как ты вся млеешь!»

Они ничего, решительно ничего не знали друг о друге. Между тем девушка была уверена, что может получить кое-какие необходимые ей сведения у Саиди. Саиди же не знал, что сделать, чтоб не потерять ее в толчее и шуме университета. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Саиди не догадался заговорить о приемной комиссии и, заметив, что девушка слушает его с таким вниманием, словно он выносит ей окончательный приговор, принялся убеждать ее ничего не бояться. Но — странное дело! — если до сих пор она только колебалась и робела перед дверью приемной комиссии, то теперь, выслушав Саиди, окончательно решила не заходить туда. Напрасно Саиди со все возрастающей страстностью доказывал ей, что девушкам предоставляются льготы и что ее преимущества, хотя бы даже перед ним, — очевидны; она только покачивала головой, закусив нижнюю губу. К чему, в самом деле, ей идти туда, если Саиди, только что побывав там, отказался от мысли поступить в университет?! Ученье имело бы для нее смысл лишь в том случае, если бы и он, этот Саиди, был тут, рядом.

Откуда ей было знать, что сейчас, стоя перед нею, он уже тысячу раз проклял свое дурацкое решение? Наоборот, теперь все его желания, все мечты сводились к тому, чтобы непременно поступить в университет. Куда угодно, что угодно, лишь бы вместе с этой чудесной девушкой.

Наконец девушка поддалась уговорам и подошла к двери. Уже на пороге она обернулась к Саиди, приложив левую руку к сильно бьющемуся сердцу:

— Входить, да? Но вы не уйдете?..

Саиди кивнул, не зная, как объяснить себе эти неожиданные слова. Он стал прохаживаться перед дверью, заложив руки за спину. Мысли его путались; любая, за которую он хотел ухватиться, тотчас превращалась в мечту: «Она тонет... Я бросаюсь как есть, одетый, в воду и спасаю ее... Она очутилась в горящем доме. Я прохожу мимо, вижу ее силуэт в окне, бросаюсь...»

Дверь открылась.

— Какая досада,— сказала девушка,— что я заставила вас ждать... Я принесла с собой анкету и заявление, а им, оказывается, нужны еще всякие справки... Подумать только, заставила вас ждать...

— Я никуда не спешу,— тихо сказал Саиди. Голос у него был грустный. Он не осмеливался спросить, каких именно справок не хватало девушке, но по ее подавленному виду решил, что надежда учиться вместе отдалилась от него на миллионы километров и девушка теперь безвозвратно потеряна.

Она же, все еще угнетенная неудачей и безотчетной робостью, молча шла через этот огромный зал; только на лестнице к ней вернулось хорошее настроение: рядом идет стройный юноша, каждое движение которого источает силу, а каждый взгляд, брошенный на нее,— искреннее восхищение. Правда, она испытывала некоторую неловкость от этого и то и дело оглядывалась по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь увидит их вместе. Но все-таки она шла рядом, ни на шаг не отставая, притворяясь перед собой, что у нее неотложное дело к нему и что ведет она его куда-то в условленное место. Словно невзначай взглянув в лицо Саиди, она вдруг сказала:

— Ведь сами они называют нас народом, жаждущим знаний, и сами же разделяют этот народ на трудовую и нетрудовую прослойки!.. У-у, чтоб им пусто было!..

Ни тон, ни смысл сказанного не удивили Саиди.

— Я и вчера приходил сюда. Видел, как один профессор накричал на секретаря партийной ячейки. Он говорил то же, что и вы: «Сами принуждаете учиться, сами же и ограничиваете!»— Саиди похоже передразнил профессора.

Они уже спустились с лестницы, и перед ними открылся зал первого этажа, напоминавший вокзал: здесь было тесно, шумно и душно. Люди все прибывали. Но бесконечный поток истомленных жарой юношей и девушек стремился не

на волю, не на свежий воздух, а в конец зала, где висели доски с объявлениями. Такой сутолоки, такой давки не бывало даже в голодные годы, когда людям раздавали даровой хлеб.

Глядя в ту сторону, девушка презрительно скривила губы:

— Называется университет! Это же оскорбительно...

Саиди слегка усмехнулся, но приличия ради сказал, повышая голос:

— Здесь ведь и рабфак. Это те, кто идет на рабфак... На рабфаке, оказывается, будут учиться представители двадцати девяти национальностей. Я вчера видел диаграмму.

Пробившись через толпу, они вышли из здания. На гладком отполированном граните входных ступеней, на берегах канала, под плакучими ивами, по всему саду пестрели узлы с разноцветными пестрыми одеялами, на ветвях деревьев висели мешки и торбы. Люди, множество людей, сидели, расположившись кто как, на траве, на земле.

Пройдя парк, они направились к автобусной остановке, Саиди спросил:

— Вы что же, окончательно потеряли надежду поступить в университет?

— А вы?— спросила девушка, искоса взглянув на него.

— Ну, я-то непременно буду учиться,— ответил Саиди и, чтобы задеть ее самолюбие, добавил:— А вы, вероятно, согласитесь слушать лекции хоть через щелку двери?

Девушка гордо вскинула голову:

— Я?.. Я буду сидеть только в первом ряду!

Она попрощалась и взобралась в автобус, потом вдруг оглянулась назад, на Саиди, словно вспомнила что-то очень важное. Саиди стоял неподвижно и, не отрываясь, смотрел на нее; когда автобуса не стало видно, он приподнял с головы тюбетейку и почесал затылок, хоть в этом и не было нужды.

## II

Саиди застал своего друга и сожителя Эхсана дома. Эхсан в одних трусиках сидел за книгой в их тесной и душной комнатухе. Раздевшись, Саиди тяжело опустился

на широкую деревянную кровать. Взглянув на него, Эхсан вскочил, налил из черного жестяного чайника чаю и с пиалой в руках подошел к кровати. Саиди сидел сгорбившись и уронив руки, словно путник, утомленный далеким переходом.

— Ну, великий хитрец, сын Саида,— сказал Эхсан, хлопнув Саиди по плечу, — что случилось?

Саиди не ответил, задумчиво глядя в угол комнаты и словно не замечая протянутой пиалы. Замолчал и Эхсан. После долгой паузы Саиди проговорил как бы про себя: «Удивительно!» и искоса посмотрел на Эхсана.

— Удивительно!— повторил он. — Помнишь, Эхсан, как мы вместе бегали с ранцами на спине в школу?

Эхсан посмотрел на потолок. В ушах его отчетливо зазвучала песня, которую они пели, сидя за одной партой:

Как прекрасны горы в Туркестане,  
Как прекрасна дружба между нами...

Они тогда уже были друзьями, и эта мальчишеская дружба сблизила их отцов. Каждый вечер, заправляя керосином уличные фонари и зажигая их, отец Эхсана непременно наведывался к отцу Саиди. Случалось, он и ночами приходил к нему в кузницу помогать: раздувал мехи или, если работы было много, орудовал кувалдой. Отец Саиди был великий прожектёр. Он задумал открыть солидное предприятие с паровым молотом и увлек за собой нескольких кузнецов. Они сложились, собрали свои жалкие деньги и до копейки их израсходовали, но потерпели неудачу: «предприятие» лопнуло, а люди разорились дотла. Не стерпев стыда, мучась ответственностью перед теми, кого он втянул в свое «дело», отец Саиди покончил с собой. Вскоре и отец Эхсана погиб в борьбе с басмачами. Эхсан вынужден был покинуть школу.

— Тогда мы были детьми,— говорил Саиди, чуть прикрыв глаза, словно глядел в неведомые дали,— но с первого слова понимали друг друга. Боюсь, что теперь это не так...

— Ладно, оставим это пока,— сказал Эхсан, погладив Саиди по колену.— Ты лучше скажи, что тебе ответили? В университет приняли?

Саиди слабо помахал рукой: «Потом, потом!» и растянулся на кровати.

Эхсан встал, подошел к столу и снова взялся за книгу.

— У тебя есть одна скверная черта,— проговорил Саиди с досадой.— Ты никогда о себе не расскажешь. Весь мир можешь объехать, пережить кучу приключений — другому хватило бы на всю жизнь — и все равно, вернувшись, молчком засядешь за книгу.

Эхсан виновато взглянул на друга:

— Послушай, дорогой мой, ты получил среднее образование, а я нет! Мне действительно надо заниматься!.. Нет, правда, Саиди, расскажи лучше, что случилось?

— Эхсан, ты когда женишься? И на ком?

— Ну, я женюсь, когда стану доктором... А на ком... не знаю! Во всяком случае, мне больше нравятся девушки изящные, стройные... и невысокие.

— Нет, честное слово, ты не человек, а сухарь! Если бы ты когда-нибудь пережил хоть тысячную долю того волнения, которое я испытываю теперь, то, может быть, я попробовал бы объяснить тебе свое состояние... Сегодня одно только сказание о том, что люди созданы из глины, заставило бы меня отречься от религии! Но я давно от нее отрекся.

Эхсан лукаво подмигнул:

— Уж не влюбился ли ты, дружище?

— Нет, нет, не говори этого слова! Не опошляй высочайших взлетов человеческой души! Влюбляются дураки и пустомели. Еще бывают влюбленные кошки...

За дверью послышался приближающийся голос Павла Шафрина, друга Эхсана. Он оживленно разговаривал с кем-то. Саиди скривил лицо, словно больной, которому подали не то кушанье, что он ждал, и опустил голову на подушку. Саиди вообще не выносил Шафрина, а сейчас ему особенно не хотелось видеть его.

С Шафриным в комнату вошел еще один из друзей Эхсана, Шариф, принадлежавший к числу тех, кого Саиди называл «неприятными» людьми. Главным его недостатком была страсть всюду и всегда говорить правду. Поздоровавшись с Эхсаном, он оглянулся и принялся.

— Послушайте, ребята, у вас вся комната провоняла!.. Открываете вы когда-нибудь окна?

За ним вошел Шафрин с газетами в руках, обнял Эхсана и, сразмаху приподняв его, закурил по комнате:

— Есть два места на медицинский факультет Московского университета! Одно из них должно быть твоим!

Пока Эхсан читал объявление в газете, Шафрин подошел к Саиди. Делая вид, что только что проснулся, и нехотя раскрывая глаза, Саиди пробурчал что-то невнятное. Подумав, что он заболел, Шафрин потрогал его лоб.

— Вы больны? Между прочим, и вам было бы полезно поступить на литературный факультет в Москве.

Саиди сделал вид, что только теперь понял, кто с ним разговаривает.

— А, это вы?..— сказал он, поднимаясь и все еще протирая глаза.

— Условия мне подходят!— Эхсан сообщил это с таким радостным возбуждением, словно дело было только за его согласием.— Шариф, все условия мне подходят, слышишь?

— Знаю.

— А если знаешь... От имени райкома напишешь мне рекомендацию, и я отправлюсь в Средазбюро!

Его одолевала потребность немедленно что-то делать. Но делать пока было нечего. Поэтому, схватив свой черный жестяной чайник, Эхсан выбежал из комнаты. Саиди поморщился. Беседу с другом приходилось поневоле отложить на потом: эти гости могли выпить очень много чая.

### III

Девушка оказалась жемчужиной, ускользнувшей обратно на дно моря. Саиди не знал, где ее искать, не знал, у кого спросить о ней. В течение всей недели он ходил в университет, смутно надеясь снова встретить ее у дверей приемной комиссии и не имея понятия, о чем бы они стали говорить.

Однажды, идя по направлению к университету и привычно мечтая о своей упущенной жемчужине, он налетел на женщину, закутанную в паранджу. Извинившись, он уже хотел свернуть в сторону, но женщина преградила ему путь. С трудом он сообразил, что это его старшая сестра. Чуть откинув угол чачвана\*, она поздоровалась с братом, и слезы навернулись на ее глаза.

— Хоть бы навестил меня, когда мужа дома нет, — уныло сказала она.—Ведь только мы с тобой и остались... А, Рахимджан?

---

\* Ч а ч в а н — сетка из конского волоса, которой женщины закрывали лицо.

Саиди пообещал на днях зайти, отлично зная, что не сделает этого. Мухаммедраджаб не шутя пригрозил жене разводом, если на пороге их дома появится ее брат. А ведь еще недавно казалось, что он души не чает в Саиди! Саиди и жил у сестры, и Мухаммедраджаб относился к нему не просто как к свояку, а как к постоянному клиенту, да при том еще и оптовику. Лучшие куски за столом подавались Саиди, без Саиди не раскупоривалась ни одна бутылка. И каждое слово Саиди превозносилось так, будто устами его глаголет сама мудрость.

Причиной такого отношения были высокие заработки Саиди. Мухаммедраджаб только с этой точки зрения расценивал людей. Саиди учительствовал, и это приносило в дом немалые доходы. Но с некоторых пор Саиди возымел желание поступить в университет. Эхсан, добрый друг, неустанно склонял его к этому. И как только Мухаммедраджаб узнал о намерениях свояка, легкая, сладкая жизнь Саиди, полная удобств и довольства, была отравлена. Вначале, впрочем, Мухаммедраджаб помалкивал, стараясь через жену повлиять на Саиди. Молодому человеку сулили все земные блага: прекрасную жену, дом с полным хозяйством. Захлебываясь от восторга, сестра пересказывала все это брату, и нередко Саиди, уже привыкший в ее доме к подобной жизни, бывал готов поддаться соблазну. Но стоило ему встретиться с Эхсаном, послушать его, как вся эта роскошь начинала казаться чепухой, мыльной пеной. Короче говоря, Саиди не хватало собственного мнения — красноречие окружающих частенько заменяло ему истину.

Эхсану удалось все-таки одержать верх, и Саиди объявил о своем окончательном решении учиться. Это вызвало открытую ссору в семье. А тут как раз Мухаммедраджаба настигла беда: его как крупного торговца, владельца магазина, обложили большим налогом. Собственно, такие неприятности случались и раньше, но обычно помогал Саиди — и деньгами и связями: кое-кто из родителей его учеников мог скостить сумму налога.

На этот раз, однако, беда пришла, когда свояки были уже в открытой ссоре. Мухаммедраджаб почувствовал, что гибнет. Пришлось спасаться распродажей всех товаров, хранившихся на складе. Это был страшный удар для него. Требовалось несколько тысяч рублей и много времени, чтобы хоть приблизительно восстановить свое прежнее



положение. Позабыв о гордости, Мухаммедраджаб попытался через жену наладить отношения с Саиди, но ничего не добился и затаил против Саиди черную злобу.

Прикрыв магазин и сдав патент, он обзавелся крошечной невзрачной лавчонкой, в которой торговал якобы случайными вещами. На самом деле эти «случайные» вещи были лишь выставкой образцов всех товаров, которые хранились в надежном месте. Но знали об этом только нужные люди, а человеку несведущему казалось, что Мухаммедраджаб разорился и прозябает, довольствуясь мелкой торговлишкой. Это было даже удобно, однако прежних доходов и прибылей подпольная торговля не приносила. И Мухаммедраджаб, считая, что во всем виноват Саиди, жаловался каждому встречному-поперечному, что брат жены отбил от рук, старших не слушает и гоняет лодыря. Естественно, что среди друзей и приятелей Мухаммедраджаба Саиди потерял всякое уважение. Люди, отвечившие ему почтительные поклоны, теперь делали вид, что не узнают его. Он выехал из дома сестры и поселился с Эхсаном.

У Саиди, конечно, было немало своих знакомых и приятелей, с которыми он всегда водился, но друг у него был один — Эхсан. Теперь, еще ближе сойдясь с ним, он невольно сблизился и с товарищами Эхсана. Но скоро обнаружилось, что близость эта кажущаяся. Такие, как Шариф, — активные, боевые ребята пугали его. Он чувствовал себя среди них чужим. Эхсан замечал это, но сдружить товарищей между собой не успел: наступил день отъезда.

— Рахимджан, — сказал Эхсан, обвязывая свой чемодан куском проволоки, — молодость — это внешние воды, торопись использовать их, а то они пронесутся и следа не оставят. Знаешь, как говорится? Хоть тысячу лет копай колодец иголкой, толку не будет. Павел Шафрин — парень хороший. Перестань его чуждаться, для таких, как мы с тобой, он жизни не пожалеет. Это надо ценить, Рахимджан! Ты мне так и не рассказал, почему тебя не приняли в университет. Если дело в нехватке знаний, то Шафрин с удовольствием поможет. Как-никак он уже на втором курсе, очень начитан. Отучись ты от своей нелюдимости! Последни за собой! Даже такого безобидного чистосердечного парня, как Шариф, и то сторонись...

— Ну, он человек большой, что я для него?

— Чем же это он большой?! Оба вы — комсомольцы! Брось ты, в самом деле, себя настраивать! Ты просто не людим... бирюк настоящий!

Разговор на этом оборвался да так и не возобновился больше: Эхсан бегал и суетился перед отъездом, словно мальчик, который долгое время пробыл на чужбине и теперь возвращается домой, к матери.

Проводить Эхсана на вокзал пришло много народу. Саиди едва дождался отхода поезда, так он истомился. Единственный человек, с которым Саиди мог и хотел поговорить, был Эхсан; но он слишком долго собирался с духом. Теперь Эхсан уезжал и было уже поздно думать о дружеской откровенности.

Покидая перрон, Саиди размышлял о том, как бы удрать от всех остальных. Удобный случай представился, и он сбежал, ни с кем не простясь. Но ребята по-своему расценили его бегство.

Вечером к нему заглянул Шафрин. Саиди с трудом заставил себя подняться с места.

— Ну как, Рахимджан, не заскучали?— Шафрин говорил с искренним сочувствием.— Очень одиноким чувствуешь себя, когда уезжает близкий друг.

Саиди промышчал что-то невнятное. «Стесняется признаться!»— подумал Шафрин, которому и в голову не приходило, что Саиди просто терпеть его не может. Колкости, которые ему доводилось слышать от Саиди, Шафрин отнесил на счет его желчного характера.

Теперь Саиди соорудил кислую мину, прикинулся больным. Шафрин подошел к нему и озабоченно приложил руку ко лбу.

— Жара как будто нет?

— При движении в боку колет,— ответил Саиди с такой гримасой, словно у него закололо во всем теле.

Шафрин заговорил было о докторе, но Саиди поспешно прервал его:

— Обращался уже, обращался! Прописали лекарство. Только что вот проглотил таблетку.

Саиди снова улегся, закрыв глаза и возмущенно думая: «Неужели человек не понимает, что он противен! Встань и уйди... Встань и уйди!» Но Шафрин продолжал сидеть, не решаясь покинуть заболевшего товарища.

Прошло добрых полчаса, и, решив что Саиди под действием лекарства заснул, Шафрин, неслышно ступая на

носках, наконец вышел из комнаты. Впрочем, Саиди не заметил этого, потому что действительно спал, убаюканный тишиной.

Шафрин еще несколько раз навещал Саиди, пытаясь оправдать поговорку: «Друзья наших друзей — наши друзья». Но когда бы он ни приходил, у этого чужого друга оказывалось очень спешное дело или он угрюмо молчал в ответ на все попытки завести дружескую беседу.

Нити дружбы, ~~протянутые~~ между ними когда-то Эхсаном, постепенно слабели. Саиди это знал и всеми силами старался ускорить полный разрыв. Шафрин стал бывать все реже и реже, долго не засиживался. А спустя две недели после отъезда Эхсана Саиди уехал в центр хлопотать о приеме в университет. Он был уверен, что делает первый шаг в поисках девушки, которую называл про себя розовой жемчужиной.

#### IV

Сразу же по поступлении в университет Саиди нашел свою исчезнувшую жемчужину — она тоже поступила на востфак — и тут же узнал, что зовут ее Мунисхон. Мало того, он взял верх и над теми, кто в свое время пытался, как он полагал, закрыть перед ним двери университета, потребовав у него характеристику от комсомольской ячейки. Числясь комсомольцем, он был так далек от комсомола, что в этом обычном требовании усмотрел какой-то подвох. Затем возник скандал при зачислении его на стипендию; вспомнили о его зяте торговце. Но Саиди, приободренный первым успехом, снова отправился в центр и снова привез оттуда соответствующую бумажку.

Многое в университете сразу же не понравилось Саиди. Правда, в его группе обнаружили и неплохие, способные люди, но были там и такие неотесанные грубияны, которых, по мнению Саиди, учи хоть тысячу лет — знания к ним не пристанут. Саиди в душе негодовал: «И это студенты! Да им только физическим трудом заниматься! Ведь даже организации, пославшие их учиться, не убеждены в том, что они оправдают затраченные на них средства!»

И действительно, некоторые из принятых на первый курс студентов были слабы в знаниях, сильно отставали. Но партийная и комсомольская ячейки прикрепляли к ним более сильных, те следили за их занятиями, помогали.

А главное, сами они изо всех сил тянулись к знаниям, были готовы заниматься ночи напролет, лишь бы догнать товарищей. Но этого как раз и не замечал Саиди. Презрительные слова, которые постоянно вертелись на кончике его языка, однажды произнес на лекции старый профессор с желтым лицом и обвислыми, как у собаки, ушами.

— Вы недостойны учиться в университете, — сказал он юноше, которого Саиди мысленно называл Пень. — Идите-ка, батенька, домой и орудуйте своим кетменем!

Один из студентов попытался возразить, но профессор резко оборвал его:

— Это — наука! Декретами науку не упростишь!

И голос возражавшего тут же угас. Это был час тайного торжества Саиди. Правда, сам он так и не осмелился высказать свои мысли, но впервые в университете ему вздохнулось легко и свободно, словно он скинул с ног тесную обувь. Ему показалось даже, что он полюбил вислоухого профессора.

Плохо было лишь то, что ячейка упорно делала свое дело, и Саиди, значившегося комсомольцем, прикрепили к одному бывшему шахтеру, человеку громадного роста и с черными ногтями. Саиди отказаться не посмел, но в душе проклинал свою судьбу.

Между тем о стычке между профессором и Пнем стало известно всему университету. Споры по этому поводу то вспыхивали, как пламя, то затихали, кем-то умело погашенные. Многие все-таки опасались взрыва. И взрыв не заставил себя ждать. Отзвук его услышала вся общественность. Это было время, когда по республике шла деятельная подготовка к первой конференции пролетарских студентов: на всех факультетах выбирали делегатов, давали им наказы. В первый раз о случившемся заговорили на выборах. Второй раз — на самой конференции. В печати появились резкие статьи. Вокруг этого и подобных фактов возник большой шум, и в конце концов вислоухий профессор был с позором изгнан из университета. Взрыв не на шутку перепугал Саиди. Он перестал делиться своей теорией о способных и неспособных даже со своей жемчужиной Мунисхон.

Отношения между Мунисхон и Саиди оставались теми же, что и в начале учебного года. На лекциях они постоянно оказывались рядом. Но вот лекции окончены. Саиди не трогается с места, пока Мунисхон не направится к выходу.

Иногда, впрочем, так поступает и Муниسخон, но она ни за что не признается в этом.

На улицу они выходили вместе, но хотя им было по пути, у выхода торопливо прощались. Вероятно, они зря проявляли такую поспешность, потому что, разойдясь в разные стороны, шли дальше медленно, нехотя, словно раздумывая, не вернуться ли обратно.

Хорошо, что на свете бывают дожди. Однажды такой благословенный дождь застиг Муниسخон и Саиди после окончания лекций, при выходе на улицу. Подняв воротник пальто, Муниسخон остановилась на гранитных ступеньках подъезда, не решаясь спуститься в слякоть. Остановился и Саиди. Он делал вид, что внимательно смотрит на улицу, а сам украдкой любовался длинными черными ресницами Муниسخон. Она неожиданно повернулась к нему, словно хотела о чем-то спросить, и взгляды их встретились. Саиди просто не успел отвести глаз и стоял растерянный, красный, как пойманный с поличным воришка.

— Дождь... — тихо сказал он, сам не зная зачем. Великодушная Муниسخон пришла ему на помощь:

— В такой дождливый день хорошо сидеть дома в веселой компании. А в ветер хорошо спится...

Саиди кивком головы подтвердил, что именно это он имел в виду.

Но тут, к несчастью, дождь перестал, и тема грозила иссякнуть. По арычку, проходившему мимо подъезда, побежал пенящийся мутный поток. С тысячью предосторожностей Муниسخон перешла мостик, но, едва ступив на тротуар, поскользнулась. Конечно, ей угрожала страшная опасность упасть и расшибиться, если б Саиди не подхватил ее обеими руками. Муниسخон, которая уже не верила в то, что останется невредимой, тяжело дыша посмотрела на Саиди, словно впервые видела своего спасителя. Саиди, сам не заметивший, как заключил ее в объятия, нехотя разжал руки и вежливо извинился.

В этот день они долго ходили вместе, и то необъяснимое чувство, которое до сих пор мешало им беседовать на людях, исчезло бесследно. Теперь они появлялись вместе в аудиториях, в читальне и в других местах, вместе готовились к занятиям. По мере того, как лекций становилось больше, Муниسخон все чаще нуждалась в помощи Саиди. Саиди был подготовлен лучше, чем она, и всеми силами старался помочь ей. И — странная вещь! — время,

которое ему было так жалко тратить на прикрепленного к нему шахтера, он очень охотно отдавал Муниسخон.

— Вы как-то так хорошо объясняете,— говорила она,— что я все быстро схватываю. Никто больше так не умеет объяснить...

Перед зимними экзаменами началась горячка. Вечерами они возвращались в университет, чтобы готовиться сообща. Муниسخон ни разу не пропустила этих вечерних занятий, но в душе порою побаивалась, как бы Саиди не надоела эта двойная нагрузка. Но Саиди и вовсе не в силах был пропустить ни одного вечера, за каждое такое свидание он готов был отдать несколько лет жизни.

Как-то они засиделись над книгами за полночь, и Саиди пошел провожать ее до дому. Они медленно брели по тротуару малолюдной окраинной улицы. У каких-то ворот навстречу им с рычанием поднялась собака, глодавшая кость. Схватив руку Саиди, Муниسخон спряталась за его спину. И наступила минута, когда ничего, кроме Муниسخон, не осталось для Саиди во всем подлунном мире. Никогда она не стояла так близко к нему, как теперь! Правда, она побывала в его объятиях в тот прекрасный дождливый день. Но тогда это было случайностью. А теперь? Теперь вряд ли она ухватилась бы за руку другого человека, если даже этот другой человек и был бы на месте Саиди. Собака, все так же рыча, повернулась и скрылась в калитке рядом с воротами. Муниسخон засмеялась.

— Да она, оказывается, нас боялась!..

Лишь несколько шагов спустя Саиди пришел в себя.

— Эта собака могла привести за собой целую стаю,— мстительно сказал он.

— Ну-ну! Не надо пугать меня, я очень боюсь собак,— весело объявила Муниسخон и, свернув в переулок, протянула ему на прощание руку.

— Вон и наш дом...

— Как?! Уже?— Саиди всерьез расстроился.— Будь я колдуном, ваш дом отодвинулся бы на тысячу верст отсюда.

— Зачем же?

— Так. Отодвинулся бы, и все...

— Вы, оказывается, злой,— засмеялась Муниسخон и погрозила ему пальцем. Затем, не желая слушать оправданий, мигом распростилась и исчезла в темноте.

Дни проходили одинаковые, похожие друг на друга, но каждый из них плел в памяти свои особые узоры. Часы, которые Саиди проводил с Мунисхон за книгами, были самыми счастливыми в его жизни. К тому же Саиди подвезло: его шахтер перед зимними экзаменами сам, по собственной воле, отказался от него. Эту удачу Мунисхон встретила не менее радостно, чем Саиди. Она даже решилась преподать ему некоторые житейские советы:

— Теперь вам не нужно особенно бросаться в глаза,— заявила она.— Брат мой правильно говорит: «Надо всегда держаться в тени, казаться неспособным к общественной деятельности, и помалкивать — тогда тебе обеспечен истинный покой!» Не правда ли, как это верно? А у вас скверная манера: стоит кому-нибудь задать вам вопрос, вы стараетесь выложить все, что знаете. Совсем не умеете прикидываться. Вам просто необходимо научиться этому!.. Нам бы лучше готовиться к экзаменам в другом месте. Найти какой-нибудь тихий уголок, подальше от всей этой публики, чтобы никто не мешал. Вообще-то до экзаменов можно заниматься и у нас, но дома так шумно... К нам очень часто приходят товарищи брата. У-у, пропади они пропадом, такие нахальные...

Неизвестно, случайно или неслучайно была произнесена последняя фраза. По мнению Мунисхон, в Саиди было нечто, отличающее его от остальных студентов и даже от всех молодых людей. Он мягок, спокоен, обладает недюжинными способностями и к тому же умеет обращаться с людьми в соответствии с их настроением. Мунисхон считала свои отношения с ним чисто товарищескими и требовала, чтобы такими их считали и все окружающие.

В последние дни перед сессией на всем факультете невозможно было найти ни одного свободного уголка. Оставалась только одна полутемная и потому всегда пустая аудитория. Расплывчатая формула «Хорошо бы подыскать более подходящее место» теперь зазвучала непреложно-твердо: «Необходимо разыскать подходящее место!» Когда Мунисхон снова и снова заговаривала об этом, перед глазами Саиди возникала его комнатка. Собственно, более тихого уголка и желать нельзя! Но Саиди не осмеливался предложить этот вариант, считая свою комнатку недостойной Мунисхон.

Однако когда и та полутемная аудитория, которую они твердо считали «своей», тоже оказалась занятой и они застыли на пороге, держа книги под мышками, не зная, куда идти, Саиди решился и заговорил про свою комнатку. Муниسخон молчала, тербя концы кос и раздумывая над его предложением, а Саиди чувствовал себя огоньком свечи: скажи Муниسخон «нет» — и огонек угаснет навсегда! Но Муниسخон недаром была женщиной.

— А далеко это?—спросила она, глядя в лицо Саиди.

Саиди, чтобы не выдать волнения голосом, только мотнул головой. Муниسخон снова принялась за свои косы. Саиди взял себя, наконец, в руки и сказал:

— Напротив почты. Всего в двадцати шагах от автобусной остановки.

— А комнатка у вас славная,—сказала Муниسخон, когда они встретились на следующий день.

— С тех пор как уехал мой товарищ Эхсан, с которым мы жили, я ее забросил,—возразил Саиди.

Накануне он был настолько растерян, когда они пришли к нему, что долго не знал, садиться ли ему или продолжать стоять. Назойливо билась мысль: «Быть может поставить чай? Но не примет ли она это за обиду? Вдруг окажется, что я попытался оскорбить этого небесного ангела?» По правде сказать, он давно уже подготовил все к ее появлению, но о чае почему-то не подумал. Не зная, как быть, он неуверенно направился к керосинке, но Муниسخон поняла его намерение и, поблагодарив, раскрыла книгу. Нет, чая не следовало предлагать: Муниسخон сидела в ожидании занятий. А читать должен был Саиди, потому что по-русски он читал хорошо, с правильными ударениями.

Глядя, как Саиди вешает пальто на гвоздь, Муниسخон ощутила странное и незнакомое чувство радостной покорности. Может быть, такое испытываешь, опускаясь с небес на землю? Или, наоборот, к ней, на небеса, поднялся этот юноша, в котором бьется и играет молодая сила? Иначе как объяснить, что она так легко очутилась здесь, в этой комнатухе?

Как всегда, Саиди сел на некотором расстоянии от Муниسخон и принялся читать. Муниسخон слушала внимательно, лишь иногда прерывая его и прося повторить



последнюю фразу. Язык книги был тяжел, фразы длинные, со множеством вводных предложений, и Саиди приходилось иногда по нескольку раз повторять одно и то же да еще и растолковывать. Из-за этого они порой забывали о пятнадцатиминутном перерыве, который условились устраивать каждый час. На исходе второго часа чтения Саиди почувствовал, что глаза у него страшно устали, он стал сбиваться. Он отложил книгу. Перелистав оставшееся, Мунисхон небрежно объявила:

— Часа через полтора будет прочитано все, тогда сможем отдохнуть не пятнадцать минут, а все полчаса!

Саиди снова взял книгу, но тут Мунисхон смилостивилась, объявив, что будет читать сама. Читала она неплохо, но некоторые слова выговаривала с трудом. Одно из таких трудных слов попало сейчас, да к тому же, смущенная тем, что не может правильно выговорить его, Мунисхон потеряла строку.

— Стойте, стойте, вот же оно,— сказал Саиди, схватив ее за руку, будто иначе слово могло бесследно исчезнуть.

Мунисхон, не вырывая руки, взглянула на Саиди. Почувствовав ее взгляд, он посерьезнел и сделал вид, будто задумался над смыслом прочитанного. Но он не видел не только строчек, он не видел даже книги, лежавшей перед ним.

— Ну, довольно,— сказала Мунисхон, высвобождая руку и снова принимаясь читать. Она готова была дать зарок, что никогда больше не прибегнет к помощи этого Саиди!

Саиди между тем уселся на свое место, намереваясь внимательно слушать, но из этой затеи ничего не вышло.

— «Таким образом, Маркс в своих бессмертных трудах открыл закон развития человеческого общества»,— прочитала Мунисхон последнюю строчку и, отодвинув книгу, посмотрела на Саиди.— Ей богу, вы ничегошеньки не усвоили из этой последней главы!..

— Нет, нет, отчего же,— торопливо возразил Саиди,— я слушал внимательно, наоборот, по-моему именно последняя глава написана легко и понятно.

— Ну хорошо, повторите тогда! Повторите! Саиди в отчаянье схватился за свои кудри.

Текли дни, похожие друг на друга, но их однообразие не помешало двум молодым людям внести нечто новое в свою жизнь: появление Муниسخон в комнате Саиди стало для обоих прочной привычкой.

## VI

Зимние каникулы принесли Саиди неожиданное огорчение: Муниسخон перестала приходить, а пойти к ней он не смел. От нечего делать он бродил по улицам и однажды заглянул в книжный магазин. Какой-то очень полный, очень холёный молодой человек расхаживал по магазину так гордо и независимо, словно был там хозяином. Он был так важен и так элегантен, что Саиди с трудом узнал в нем своего бывшего товарища по школе — Джамалья Карими. Они и поздоровались-то лишь тогда, когда Карими первый снисходительно протянул ему руку.

— Гм-м,— произнес Карими, вертя толстую трость, разукрашенную серебром.— Стало быть, учитесь? Когда же в профессора?

Тон вопроса уязвил Саиди.

— А вы где теперь? — спросил он, когда они вышли из магазина.

— Нигде и везде,— небрежно произнес Джамаль, но все-таки счел нужным пояснить.— Вероятно, вы слышали о нехватке хороших работников? Усидеть на одном штатном месте просто нет возможности. Зовут туда, зовут сюда, и в конце концов на одного человека наваливается столько обязанностей, что просто не продохнуть. Возьмите хоть меня: веду отдел художественной литературы в газете... В техникуме преподаю литературу... Начал выходить новый журнал — так и туда втянули членом редакционной коллегии! Совсем забросил свои творческие дела. А отказаться нельзя — людей действительно мало.

Саиди с изумлением слушал Джамалья. Он ничего не знал о его литературной деятельности и робко осведомился:

— Вы не подписываетесь своим именем?..

Джамаль Карими усмехнулся:

— Мой псевдоним «Ульфат»\* постепенно становится моим именем. Близкие друзья и сейчас зовут меня так.

---

\* У л ь ф а т — дружок; интимный друг.

Саиди действительно читал стихи, подписанные «Ульфат», но ему никогда в голову бы не пришло, что Ульфатом может быть этот Джамаль Карими.

А Джамаль между тем продолжал, многозначительно подняв брови:

— В четверг, в пять часов, в Доме просвещения состоится одно довольно любопытное собрание. Приходите, поговорим о разных разностях.— Он протянул руку, прощаясь.— Приходите обязательно. Намечен разбор стихов некоторых поэтов, обсуждение вопросов литературного воспитания молодых писателей. Помнится, ведь и вы интересовались литературой... в школе?

В школьные годы Саиди и в самом деле писал стихи; в стенной газете их охотно печатали. Бывало, даже кое-кто из учеников перекладывал эти стихи на музыку и они исполнялись на литературных вечерах.

В тот же день Саиди, придя домой, перерыл все уцелевшие старые журналы и нашел стихи Ульфата. Каждое из них он читал и перечитывал с особенным вниманием; большинство оставили его равнодушным, но по совести он не мог назвать их плохими. Этой же ночью Саиди и сам написал несколько стихотворений.

В четверг вечером зал Дома просвещения оказался переполненным. Тут были и люди солидного возраста, в основном учителя, но преобладала учащаяся молодежь. Попадались даже ученики начальных учебных заведений.

Внезапно Саиди увидел Джамала Карими. Он сидел, вертя свою трость, и что-то с жаром объяснял соседу, человеку средних лет, подкрепляя свои слова выразительными жестами. Саиди уже хотел было пробраться к Джамалу, но тут внимание его привлек оратор — толстяк с огромным животом. Саиди знал его еще учителем средней школы. Теперь он стал известным критиком, прославившимся своими острыми выступлениями в печати. Сейчас Аббасхон говорил, искусно модулируя голосом:

— Когда мы, люди искусства, люди творческого труда, смотрим на картину, изображающую обнаженную женщину, то любимся не самой женщиной, но тем, как художник сумел написать обнаженное тело. То же и в поэзии. Вы сами сейчас убедились в том, что стихи поэта высокохудожественны. Они отвечают всем требованиям мастер-

ства. Следовательно, их можно принять, вовсе не касаясь вопроса об их содержании. Вы чисты идейно?— словно передразнивая кого-то спросил оратор и резко выкрикнул: — Довольно этого!

Когда толстяк уселся на место, из середины зала попросил слова молодой человек огромного роста, с широкими плечами и темным загорелым лицом. В зале поднялся шум. Большинство настаивало, чтобы ему дали высказаться, возражал лишь один председатель. Некто из передних рядов, перекрикивая остальных, посулил разрешить спор, если ему самому дадут слово вне очереди. Он начал довольно объективно, но затем без всякого перехода обрушился на молодого поэта, которому только что не дали говорить:

— Для настоящего поэта не обидно, если его критикуют люди, равные ему по эрудиции, по занимаемому положению. Но вы?! Что можете предъявить вы? Срифмовав несколько своих сереньких мыслишек, вы уже претендуете на звание поэта да еще осмеливаетесь критиковать других!.. Не выйдет! Сначала поучитесь, наберитесь ума-разума...

В зале снова поднялся неимоверный шум. Многие вскочили, и председатель охрип, стараясь перекричать, успокоить взвинченную аудиторию. Слушая обрывки споров, Саиди пришел к заключению, что в каждом человеке заложены какие-то способности, но от этого еще очень далеко до самоопределения в искусстве. Для того чтобы превратить способности в талант, надо, по-видимому, испить несколько капель некоего волшебного эликсира, а, судя по всему, «эликсир» этот в настоящее время находится в руках Аббасхона. Во всяком случае, сам Аббасхон и его приспешники были уверены, что дело обстоит именно так.

Собрание наконец закончилось. Люди, толкаясь и еще продолжая убеждать друг друга, гурьбой двинулись к выходу. Только Саиди все сидел на своем месте в глубоком раздумье. Мимо прошел Джамаль Карими, лишь глазами поздоровавшись с ним. Аббасхон уселся за опустевший стол президиума, и его тотчас окружили хорошо одетые люди, по неизвестной причине державшиеся страшно высокомерно. Немного поодаль образовалась группка молодежи, смотревшая на них, как смотрят голодные на пирующих. Откуда-то снова появился Джамаль Карими и

предложил Аббасхону папиросу, широко раскрыв нарядную коробку. Аббасхон напоминал крупного торговца, распродающего по дешевке большую партию товара. Окружающие подобострастно глядели ему в рот, всеми силами стараясь угодить. Казалось, каждый обуреваем желанием урвать себе выгодный товарец и нажиться побольше.

На лицах присутствующих было написано: да будет благословен Аббасхон, ибо каждое изреченное им слово — истина! Стоит Аббасхону сострить или улыбнуться — и все вокруг раздражаются громким залившимся хохотом. Стоит нахмуриться — и все лица темнеют от гнева. Велик Аббасхон в окружении «своих»!

На другой день Саиди без пальто, в одном пиджаке, выбежал из дому за кипятком и возле почты, напротив чайханы, увидел Мунисхон. Она стояла в своей шубке из черного бархата, придерживая пальцами концы поднятого воротника и словно кого-то ожидая.

— О, это вы?.. — сказала она, протянув ему руку. — Поздравляю: вы, оказывается, поэт, пишете...

— Да, так... от нечего делать... Мне было скучно, вот и отправился на собрание... А вы почему здесь?..

— Пошла на почту, да угодила как раз в перерыв. Целый час ожидать... Вот и думаю, уйти или остаться?

— Заходите ко мне... а письмо для вас на почте получу я сам... и принесу.

Мунисхон задумалась, склонив голову набок. После вторичного приглашения Саиди она медленно направилась к его дому.

Войдя, она сразу уселась на свое обычное место и, взяв со стола журнал, спросила:

— А последнего номера вы не видели?

Стихи Саиди, написанные им недавно, лежали тут же, на столе. Когда Мунисхон протянула руку к журналу, Саиди вздрогнул, решив, что ее заинтересовала рукопись, но Мунисхон стихов не заметила. Он отодвинул их в сторону, словно невзначай придавив толстой стопой книг. Мунисхон принялась рассказывать, как она проводит каникулы, что читала в последнее время. Она перебрала имена всех узбекских поэтов и каждому дала свою оценку.

— Джамаль Карими на днях читал свои последние стихи. Из всех его стихов это, пожалуй, лучшие. Мне понравились.

Острым ножом резанули эти слова сердце Саиди. Будь он один, может, и заплакал бы, а может, бился бы головой о стенку — так горько досталось ему мимолетное замечание Мунисхон.

— Вы давно знакомы с Джамалем Карими? — проворкотал он.

— Да,— небрежно ответила Мунисхон, всем своим видом показывая, что подобные знакомства для нее не редкость.— Он у нас часто бывает. Очень милый, веселый и любезный молодой человек... И псевдоним у него такой... уютный — Ульфат...

Мунисхон взглянула на свои золотые часики и встала. Поднялся и Саиди. Ему казалось, что ноги у него дрожат, как у пьяного.

Этой ночью он не сомкнул глаз. Сидел до зари и правил свои стихи, написанные недавно, а утром отправил их в редакцию журнала. Это в какой-то мере остудило огонь ревности, запылавший в его сердце после добрых слов Мунисхон о Джамале.

## VII

— Давайте теперь готовиться к лекциям у нас; брат уехал в командировку,— сказала Мунисхон в один из мартовских дней.

Саиди в молчаливом восторге замер на месте.

«У нас!» Да неужели эта девушка и в самом деле живет в доме, сотворенном руками человека?! Правда, каждый раз, когда Саиди приходилось провожать ее до дому, она исчезала за вполне реальными воротами. И если ворота оказывались запертыми, то звяканье их запоров ничем не отличалось от звяканья запоров всех других ворот. Но даже это не делало Мунисхон обыкновенной девушкой в глазах Саиди. Он, например, совершенно не мог представить себе ее двор, а тем более ее квартиру, и если пытался это сделать, то воображение его рождало только неясную туманность. Кто знает, какие тайны хранятся за такой туманностью! Быть может, ворота всего лишь рубеж, за которым Мунисхон обретает крылья и взвывается ввысь или на летающем коне уносится в поднебесье?

...Вечером, когда он пришел к ней, у ворот кто-то встретил его и проводил через темный тупичок до двора. Там он очутился напротив каменного здания, выстроенного

в восточном стиле. Из двух громадных окон сквозь тонкие занавеси лился мягкий голубоватый свет, доносилась нежная весенняя мелодия. Едва Саиди вошел в переднюю, как рояль умолк, и он услышал голос Муниسخон.

— Кто это?.. Рахимджан!.. Долго же вы заставляете себя ждать!

Средняя дверь распахнулась, вышла Муниسخон.

Быстро и ловко, как вторая жена, соперничающая с первой и стремящаяся угодить мужу, она отобрала у гостя пальто, повесила на вешалку и приветливо пригласила его в комнату. Миновав двери, завешенные тяжелыми мягкими портьерами, Саиди оказался в голубом царстве.

Дома Муниسخон была совсем иная, чем в университете или у Саиди. Ее тяжелые косы венком обвивали голову, прическу завершала тибетейка «белая такдузи»\*, которая удивительно гармонировала с легким изящным платьем девушки. Усадив Саиди в мягкое бархатное кресло, Муниسخон уселась и сама, с лукавым видом сложив руки на коленях. Саиди растерянно молчал. Муниسخон вскочила, погасила голубой свет и зажгла обычный. Комната сразу преобразилась. Исчезла та кружащая голову интимность, которая делала Муниسخон одновременно и близкой и запретной. Все стало проще, обыденней, а когда Муниسخон внесла кучу книг и положила их перед Саиди, наступила совсем привычная будничность: они принялись за чтение.

— Слова ударяются о мою черепную коробку и отскакивают, как мячи,— мрачно пожаловалась Муниسخон после непрерывного трехчасового чтения.

Не дочитав фразы до конца, Саиди отодвинул книгу и с наслаждением потянулся. Откинувшись на спинку кресла, он некоторое время сидел, разглядывая потолок, расписанный гроздьями винограда, взрезанными арбузами и румяными яблоками.

— Какое наслаждение слушать музыку, когда устаешь! — неожиданно сказал он.

— Вы любите музыку?— спросила Муниسخон, очнувшись и вскинув голову.— Не все наши песни можно передать на рояле, но сейчас я вам сыграю одну... Старинная мелодия, а так бодрит и вдохновляет человека, что хоть прямо в бой! Это военный марш, и, говорят, его сочинили арабы при взятии Андалузии. А научил меня

---

\* Белая такдузи — особый род вышивки.

этому маршу один турецкий офицер. Потом я покажу вам его карточку. Он был энергичным и воинственным человеком... Слушайте, Рахимджан!

И ее пальцы легко и плавно побежали по клавишам. Слушая музыку, Саиди отчетливо представил себе воинов на стремительных арабских скакунах, смертоносные пики, щиты и панцири, шум битвы.

Потом Муниسخон, открыв один из книжных шкафов, с верхней его полки достала целую кипу фотографий и, положив тыльной стороной вверх, стала перебирать их. Некоторые она попутно показывала Саиди, другие, наоборот, поспешно прятала, словно боясь даже оставить их на столе.

— Вот!— сказала она, протягивая ему одну.— Этот человек обещал меня выучить и другим мелодиям, но не успел, уехал.

— Да ведь это Исхак-эфенди!— взглянув на карточку, воскликнул Саиди.— Я его знаю. Он часто приходил к нам в школу. Замечательный был человек... Я до сих пор помню многое.

Муниسخон побледнела, но ответила прежним равнодушным тоном.

— Может быть... Раз или два он приходил к нам. Поиграть на рояле... Но брату это не нравилось. Потом он уехал куда-то. Да мы и не интересовались, собственно, куда он уехал. Брат мой, Салим, не любил его. Быть может, он вернулся к себе в Турцию?..

Саиди упрямо покачал головой.

— Нет, он подался к басмачам и там погиб. У нас в школе работали два турецких офицера, так он приходил к ним.

В дверь постучали. Муниسخон, убрав фотографии, убежала и привела с собой какого-то молодого человека, глядевшего чрезвычайно важно и горделиво. По-видимому, он спрашивал о ее брате, потому что Муниسخон сказала:

— Не знаю, от него еще нет писем.

Молодой человек был слегка навеселе. Когда Муниسخон представила его Саиди, он назвал себя — Ильхам! — и тут же начал прощаться.

— Я бы с удовольствием посидел с вами, да меня ждет человек,— сказал он, оборачиваясь на дверь.— Приехал один татарский поэт.



— А вы приведите его сюда!

— Немыслимо. Он... не совсем в порядке.

Проводив его, Мунисхон вернулась в комнату и сказала:

— Это поэт Ильхам... Работает в литературном журнале. Но сейчас он пьян, и потому я не очень настаивала, чтоб он остался. А вообще-то он человек хороший. Нало познакомиться вас с ним поближе, это один из самых лучших друзей моего брата.

Мунисхон умолкла и нахмурила лоб, словно сясь что-то вспомнить.

— Вы не думаете, что мне пора и честь знать?— улыбаясь спросил Саиди.— Полагаю, вы сейчас старались найти какую-нибудь вежливую форму, чтобы сказать это...

Мунисхон слабо запротестовала.

— Да нет же... Какой вы злой, Рахимджан.

Саиди еще раз улыбнулся и вышел.

## VIII

Зима, подобравшаяся медленно, словно исподволь приучавшая людей к своим колючим морозам, уходила так же неторопливо и нехотя. Но все-таки ушла. Весна принесла чистые и прозрачные листья деревьям, первую пыль, поднимаемую на улицах непрерывным движением, первое воркование горлинок, гоняющихся друг за дружкой среди ветвей и по заборам. В ярко-голубом небе лишь изредка проплывают обрывки белых облаков, будто смытая с него выцветшие краски зимы.

Нынешняя весна заранее примирила Мунисхон с грядущим летним зноем и духотой, с приступами неясных чувств, анализом которых она не занималась и не хотела заниматься. Главное — ни о чем не думать! Она отдалась течению и не желает знать, куда оно несет ее. Прежде, бывало, она считала неловким показываться рядом с Саиди на людях. Идя с ним по улице, Мунисхон чувствовала себя в положении человека, одевшегося по новой, красивой, но еще никому не известной моде, когда каждый встречный с удивлением провожает тебя бесцеремонным взглядом, ехидно посмеиваясь и покачивая головой. Но пройдет месяц, другой, к новой моде, глядишь, уже притерпелись, она уже не кажется кричащей, и люди пере-

стают оборачиваться на того, кто осмелился первым надеть очень узкие или очень широкие брюки.

Так же менялось отношение к молодым людям, упорно появляющимся вместе на лекциях и на улицах и не собиравшимся давать по этому поводу никаких объяснений. С этим примирились. Никто уже не проявлял повышенного интереса к отношениям Муниسخон и Саиди, если не считать нескольких парней, изнывавших от безнадежной любви к красивой студентке.

Наступил момент, когда Саиди и Муниسخон незаметно для себя перешли на «ты». Саиди оберегал Муниسخон, как зеницу ока. Он был готов отдать ей все, ничего не требуя взамен. Муниسخон понимала это, но все еще желала обманывать себя: «Все это только дружба и ни к чему решительно меня не обязывает!» Она ведь не знала, как сильно бледнело ее красивое лицо, если она видела Саиди приветливо разговаривающим с другой девушкой.

К весенним экзаменам они готовились за городом, облюбовав для занятий сад рабочего поселка. Муниسخон жаловалась на людские пересуды.

/ — Почему это, — говорила она, лежа на мягкой, зеленой траве на берегу реки, — русские девушки могут дружить с парнями сколько им угодно и как угодно, а мы... Сразу же начинаются упреки, сплетни, оскорбления!

Отложив книгу, Саиди растянулся на траве и утомленным взором огляделся. В нескольких метрах от них в речушке бежала вода, пенясь и перескакивая с камня на камень; дальше, за рекой, вставал город, утопающий в гуще зеленых и пышных деревьев. Еще дальше по голубому небу расстился дым заводских труб. А если повернуть голову, увидишь прохладное, тенистое ущелье, из которого вырывается на простор эта шумная и быстрая речушка. Не дождавшись ответа на свои вопросы, Муниسخон снова заговорила:

— В этом отношении твои комсомольцы — молодцы, они признают товарищеские отношения между девушкой и юношей... А вот наши сухие грибы... Н-ну, попадись им только на язычок.

— Не ты ли называла всех комсомольцев хулиганами?

— Ну, как тебе сказать... Я готова назвать их молодцами, когда от них есть какой-нибудь прок.

Саиди чуть заметно пожал плечами.

— Прок? — переспросил он. — А что называть проком? Всякое новое встречает на своем пути преграды и препятствия. Как-никак, мы — дети старого быта, и в наших взглядах на женщину еще много пережитков... Ну да бог с ними, со сплетнями! Не стоят они того, чтобы мы о них говорили. Не об этом надо думать, а о том, как нам до пяти часов дочитать эту книгу!

Саиди был прав. После пяти сад наводнят рабочие, и тогда уж не останется ни одного тихого уголка. Да и ребята тишки вернутся из детского сада...

Снова началось долгое и утомительное чтение. Снова поплыли перед глазами Саиди строки и страницы. Снова Мунисхон слушала его голос, лежа на мягкой траве...

Прекрасный пейзаж, от которого нельзя было оторвать глаз, резвые и игривые весенние думы временами далеко уносили мысли усталой девушки. Слова Саиди о том, что они «дети старого быта», вернули ее на несколько лет назад, и эти несколько лет показались ей несколькими тысячелетиями.

Когда она была маленькой девочкой, весенние дни тянулись очень долго, и цветы в садах раскрывались для нее по-иному. Сад, в котором она росла, был тих, уединен; тишину его нарушали только жужжание пчел, шум воды, бежавшей из арыка в бассейн, да пение птиц. К шипану\* возле бассейна никто, кроме Мунисхон, не смел подходить близко. там обычно отец со своими приказчиками что то подсчитывал, щелкая на счетах. Иногда, впрочем, он отдыхал в том же шигане совсем один

Вечерами гостиная бывала полна гостей в изящных чалмах и шляпах, часто приходили люди в погонах. Все они были милы, приветливы и очень учтивы друг с другом.

Иногда отец брал Мунисхон в свой магазин. Они ехали по городу в коляске, а потом подолгу прохаживались по длинному, бесконечному, как казалось Мунисхон, магазину. Она по-настоящему уставала от этой неинтересной прогулки. А отец на каждом шагу останавливался и неторопливо разговаривал с разными людьми; это еще больше утомляло Мунисхон, и она тянула его за палец, на котором сверкал бриллиантовый перстень: «Поедем домой! Я хочу домой!» Но в дни, когда отец уезжал в Москву или в другой город, она скучала по этим поездкам вдвоем.

---

\* Ш и п а н — навес в саду.

Казалось, нужны были многие-многие годы, чтоб изменилась эта прочно устоявшаяся жизнь. Но все рухнуло за несколько дней. Умер отец. Старший брат пропал без вести. Второй брат, Салим, долго не возвращался домой, хотя и было известно, что он выехал из Оренбурга. Теперь, правда, он дома, но дом этот все-таки не похож на прежний спокойный и счастливый дом. Муниسخон снова вспомнила отца, веселого и приветливого, и на глаза ее навернулись слезы.

Место, где они сидели с Саиди, было ей знакомо с детства. Тогда здесь не было общественного сада; просто берег реки был местом весенних прогулок. Плоские крыши, на которых вырастала густая трава, кривые и косые, размытые дождями глинобитные заборы, дышла от арб, валявшиеся тут и там, словно украшая нехитрые и бедные хижины, старая смоковница, на стволе которой образовался громадный нарост, чинары и полуобвалившиеся могилы под ними — во всем этом было несказанное очарование. И никакого очарования не находила Муниسخон в новых домах, что выстроились ровными рядами, словно кто-то нанизал их на ниточку; не было очарования для нее и в юном городе, и в молодом саде, даже в новых деревьях и цветах. Все это раздражало ее. То ли дело, вот эти полузабытые места былых прогулок и паломничества, где таятся щемящие воспоминания о счастливой и безмятежной поре! На глаза Муниسخон снова навернулись слезы, она часто-часто заморгала, сиюсь удерживать их, и невольно вздохнула. Обычно когда Саиди читал, Муниسخон по временам подавала голос: то попросит повторить непонятное слово, то удивится или засмеется чему-нибудь. Теперь же в течение целого часа он не слышал от нее ни звука, и это встревожило его. Он поднял глаза и увидел, что она печальна.

— Что с тобой, Мунис? Устала?

— Нет... Я пропустила последние две фразы... И... и, знаешь, почему? Я вдруг подумала... вот, помнишь эти строки?

Не поднимаясь с травы, глядя в небо, она продекламировала:

Живые пешки мы, а опытный игрок,  
Что нами двигает,— не кто иной, как рок.  
На доску бытия нас для игры он ставит,  
Чтоб в ящик сбросить вновь через короткий срок...

У Саиди заныло сердце: зачем она думает о смерти? Он горячо возразил:

— Если природа, которая создала тебя с любовью и вдохновением, заставит тебя сдаться смерти, то это будет величайшей несправедливостью! Мунис, ты будешь жить до тех пор, пока будет жить на земле человечество...

Мунисхон сделала легкое движение рукой, как бы стирая в воздухе сказанное Саиди.

— Нет, всякое начало приходит к своему концу. Я родилась и, значит, умру...

— Жизнь вечна, Мунис! Если ты это признаешь, ты победила!— проговорил Саиди улыбаясь.— Разве ты не будешь жить вечно в своих потомках? Все люди и все живое на земле признают это.

— А ты?

— Какой смысл в моем одиночном признании?

— Следовательно, и в моем одиночном признании нет смысла?

— В одиночном? Конечно!

— Ну, тогда... давай признавать вместе!

И прежде случалось, что Мунисхон, прикидываясь равнодушной и наивной, разжигала юную страсть Саиди. Но на этот раз шутка ее была настолько откровенной, что Мунисхон сама смущенно засмеялась, покраснела и спрятала лицо. А Саиди... Саиди даже теперь не осмелился ответить достойным и подобающим мужчине образом. Он слишком уважал ее, слишком высоко ставил, чтоб позволить себе ответить по-мужски на проказы девушки. Он снова предпочел отмолчаться.

Как всегда, Мунисхон мгновенно переменяла тему. Она вдруг капризно объявила, что ей хочется зеленого кислого урюка. Саиди быстро вскочил, радуясь тому, что может выполнить ее желание. Спустившись к самой реке, где рос дикий урюк, и согнув ветку, он принялся обрывать маленькие зеленые шишечки. Мунисхон, стоя над обрывом, смотрела на него.

— Осторожнее, Рахимджан, ветку ломаешь!.. Она, кажется, колючая, не накопи пальцев! Довольно, мне хватит и двух урючинок...

Пройдя мимо клумбы, Мунисхон вернулась на свое место и снова растянулась на траве. Но прошло еще довольно много времени, прежде чем из-под обрыва показался Саиди.

— Вот,— сказал он, протягивая ей целую горсть зеленых плодов.— Поверишь ли? Еле набрал! Мало их что-то...

Радостно-оживленная, Мунистон взяла урок, но пожалела съесть за один раз все; одну штучку положила в рот, а остальные спрятала в карман. Усаживаясь, Саиди увидел на раскрытой книге бутон пунцовой розы.

— Это мне?

— Если не выкинешь, когда он завянет, то тебе,— ответила Мунистон, смеясь и с хрустом раскусывая кислый плод.

«Она второй раз заигрывает со мной сегодня. Неужели ждет того же от меня?..»—с трепетом подумал Саиди и осторожно ответил:

— Цветок вянет постепенно и не сразу теряет свою красоту, поэтому сердцу, тоже стареющему постепенно, он никогда не покажется увядшим...

Саиди хотел развить свою мысль, но Мунистон, заметив это, как всегда, переменяла тему:

— Вот бы отдали весь этот сад и все эти дома мне,— сказала она, оглядываясь кругом.— Прежде всего я бы отгородила сад высоким забором. Потом вот здесь, где сидим мы, я бы велела построить великолепный царский шипан...

Саиди, так удачно ответившему на ее слова о бутоне, очень хотелось продолжить этот разговор. Он попробовал:

— Какой бы царский шипан ты ни выстроила, все равно сама-то будешь только сидеть у входа да подавать чай своему повелителю, возлежащему на возвышении!..

Мунистон тряхнула головой:

— Если он будет стоять того — что ж, я согласна.

— А если на возвышение он усадит тебя?

— Нет в том удовольствия!

— Ну, а вдруг?

— Ты бы так сделал?

Саиди казалось, что он не может вымолвить ни слова, но все его существо отвечало: «да!»

Мунистон вдруг резко засмеялась:

— Хорошо, что я не собираюсь за тебя замуж!

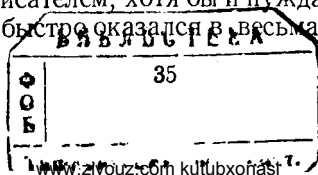
Саиди показалось, что он кубарем летит с огромной высоты, где сверкают звезды; впрочем, не выдавая себя, он с застывшей улыбкой поклонился Мунистон. Наступила неловкая, сковывающая обоих тишина. Налетевший ветер перелистал книгу и, подхватив бутон, унес его куда-то с собой.

На летние каникулы Мунисхон вместе с братом уехала в Крым, и Саиди остался в городе один. Идти ему было некуда, приятелей не находилось. Он проводил дни в своей комнатке за чтением тех произведений, которые расхваливала критика, и сам писал стихи и рассказы. Некоторые из новых своих произведений он отправил все в тот же журнал.

Журнал этот разделял всех писателей на три группы и произведения их печатал на своих страницах в соответствии с принадлежностью к той или иной группе. По мнению редакции журнала, были писатели талантливые, и, главное, маститые, уже завоевавшие определенное положение; затем шли молодые, начинающие литераторы, подающие надежды, но нуждающиеся в советах и воспитании, и, наконец, существовали просто любители, так сказать дилетанты. Саиди не входил даже в последнюю из этих групп, и имя его неизменно упоминалось лишь в самом конце журнала перед лаконичной и не оставляющей никакого просвета фразой: «Напечатано не будет». Однако Саиди не унывал, ибо слова «Не будет напечатано» адресовались не только ему, но и еще двум десяткам таких же, как он, упрямцев.

Чтобы оказаться достойным группы «начинающих», нуждающихся в советах и воспитании, он перечитал много книг. В течение нескольких месяцев он оказался обладателем библиотечки, включавшей более двухсот произведений современной художественной литературы. Большинство из них он уже прочел и пользовался каждой минутой, чтобы прочесть остальные. Должен же он, наконец, раскрыть секрет их успеха! И по-прежнему раз в неделю он видел свое имя на последней странице перед словами: «Напечатано не будет». Во всем, кроме литературных своих трудов, Саиди был лишен всякого самомнения. Но тут, размышляя над причинами неудач, он дошел до мысли, что, может быть, произведения его не так уж плохи, и даже достойны опубликования, но не стоят гонорара и потому возвращаются обратно. Мысль была детски-нелепая, но Саиди быстро уверовал в такую возможность и на первых страницах своих произведений, отправляемых в журнал, стал крупно надписывать: «Без гонорара».

Решив стать писателем, хотя бы и нуждающимся в советах и воспитании, он быстро оказался в весьма затруднительном



положении. Все лето он не работал. Проев свои небольшие сбережения, он начал выносить на базар свое небогатое имущество, вплоть до пуховых подушек, оставшихся от Эхсана. В университете ему следовало получить стипендию за три месяца, но он не решался показаться туда: живя в городе, он ни разу не был на комсомольских собраниях и вообще не заглядывал в ячейку. Оправданий этому не было. Сказать, что уезжал и только-только возвратился в город? Но ячейка непременно потребует справку, подтверждающую его работу в том или ином месте. А достать такую справку негде. Саиди трусил и сидел дома. Настали дни, когда ему пришлось довольствоваться одним лишь черным хлебом. Он исхудал и после трех-четырёх часов работы чувствовал страшную усталость. А если приходилось работать ночью, ему потом снились какие-то дикие сны.

Как-то пришло письмо от Мунишон. Даже издали она лукаво волновала его: «... Ты как-то говорил мне, что испытываешь большое наслаждение, если читаешь художественное произведение вместе с любимым человеком. Я вспомнила это, любуясь прекрасной природой Крыма...»

Письмо это странным образом поощрило любовь Саиди к писанию. Но первые минуты, минуты обострившейся тоски, он потратил на то, чтобы написать ответ Мунишон. На почте он встретил Ульфата.

— А!.. Молодой человек... Приятный юноша! Как живем-можем?— снисходительно, словно разговаривая с ребенком, спросил тот.

Пока Саиди сдавал письмо, Ульфат стоял за его спиной и о чем-то безумолку болтал. Выйдя с почты, они еще долго простояли у подъезда. Ульфат рассказывал о своих делах, о том, в компании каких поэтов он запросто принят, о том, насколько близок с ними («Ругнуть любого из них для меня ничего не стоит!»), и, наконец, о том, над какими произведениями намерен работать. Саиди почувствовал, что ноги у него страшно устали, заломило в пояснице. Видя, что разглагольствованиям Ульфата нет конца, он на беду свою пригласил его зайти. Тот согласился так быстро, словно только и ждал этого приглашения.

Саиди был удручен: чем же угостить его? Кроме черного хлеба, дома ничего нет. Деньги остались считанные. А Ульфат выглядит солидно, говорит значительно. Такому барину ничем на свете не угодить! Но Ульфат отказался даже от чая. Он просмотрел книги Саиди и поразил его тем,



что не смог при этом правильно произнести некоторые названия.

— Вы читали... эти книги, конечно?— спросил. Саиди запинаясь.

— Да где время?— ответил Ульфат.— Не то что книги, а газеты... Да что там газеты, даже собственные произведения, вышедшие из печати, некогда просмотреть!

У Саиди вертелось на языке: «Но как же ты тогда стал поэтом и как можешь писать стихи?» Впрочем, он промолчал.

А Ульфат вел себя как дома.

— Очень хорошая у вас комнатка, но ей недостает этажерки, хорошего стола и стульев. Этажерка у меня есть. Могу вам ее отдать.

«Ты бы еще заговорил о чем-нибудь вкусном, бестактная башка!»— подумал Саиди, ничего не отвечая и неопределенно улыбаясь.

Ульфат между тем продолжал болтать, как ни в чем не бывало.

— Государственное издательство должно мне двести семьдесят один рубль,— говорил он,— но все не шлет и не шлет их. Если верить их последним обещаниям, то эти деньги должны быть у меня в руках в среду. Среда — завтра? Ну, теперь-то непременно пришлют! Но я, должен вам сказать, живу в доме одной очень сварливой и скандальной старухи. Я ей задолжал тридцать рублей, так она житья мне не дает. Говорю ей: «Получите пока девятнадцать рублей, остальные отдам в среду». Куда там!.. И ведь всегда так: у себя нет, нет и во всем мире... Просил займы у редактора, и у него не оказалось при себе денег, ему даже неловко стало... А ведь не у каждого попросишь, неудобно как-то, знаете. А главное, ни под каким видом не могу показаться дома: она просто съест меня!

— У меня есть немного денег...— сказал Саиди, роясь в кармане.

— Нет... нет, не надо... У вас самого, может быть...

— Да вы не беспокойтесь, у меня есть рублей тринадцать. Двух рублей мне пока хватит. Берите...

Пообещав вернуть долг точно в час дня завтра, в среду, Ульфат взял у Саиди одиннадцать рублей и, опустив их в совершенно пустой карман, поднялся.

Оставшиеся два рубля Саиди растянул на пять дней. Шестой день с утра до самого вечера он проспал голодный.

Но у кичливого и денежного поэта Ульфата среда, видно еще не наступила. Утром седьмого дня Саиди уже собрался было отправиться к нему, но в последнюю минуту постеснялся идти за такой ничтожной суммой. Он опять пролежал до сумерек, размышляя, где бы перехватить хоть пятерку, но ничего не придумал.

Голод прибавил ему смелости: твердо решив, наконец, сходить к Ульфату, он вышел на улицу. Всю дорогу, правда, он шел, опустив глаза в землю, словно надеясь найти оброненный волшебный кошелек и навсегда избавиться от необходимости требовать у Ульфата собственные деньги. Но прошли те времена, когда на дорогах валялись волшебные кошельки...

Увидев Саиди, Ульфат рассыпался в извинениях:

— Ах, как жаль... как неудобно... Это грех, который нельзя простить, да! Мне очень неприятно, что я заставил вас пройтись. Мне просто стыдно. Но, право же, была тысяча причин... Сейчас расскажу. Вчера уже пошел к вам, да Ильхам, будь он неладен, поручил мне одно очень срочное дело. Впрочем, я ведь сам возвратился только вчера. Ах, как неловко все это получилось!.. А этажерку я освободил... Вот, познакомьтесь с нашей редакцией... Ах, как все это получилось нехорошо... Оказался перед вами лжецом! Да вот беда, боюсь, как бы вам не пришлось еще немного поременить...

Он привел Саиди в ту комнату, где работал. На каждое его слово Саиди отвечал: «Ладно, не беспокойтесь, не за деньгами я пришел, обойдется».

— Я послал этого проклятого Ильхама в одно место за деньгами, да что-то нет его,— говорил Ульфат, усаживаясь за стол.— Наверно, выпил где-нибудь лишнего... и теперь отсыпается. А я все наличные отдал одному человеку взаймы, понадеявшись на Ильхама... Поверите ли, я еще не обедал! Но если он не вернется, все равно мы раздобудем денег. Должен же я пообедать! Только неудобно, что я вас заставляю ждать. Да, будет худо, если он не вернется. На вечер у меня назначено свидание. Только что познакомился с ней. Лет тринадцати или четырнадцати, не больше. В последнее время меня что-то на очень молодых потянуло, знаете... Чтоб расплакалась даже, когда только целуешь! А вы?.. Будет нехорошо, если я в первый же раз не приду на свидание... А вы свободны вечером? Давайте

вместе с ней пойдем в сад отдыха. И девчонка же, пальчики оближете!

Порывшись в столе и не найдя ничего в нем, Ульфат поднял руки, точно нашел новый, во всех отношениях удобный выход:

— Слушайте, сделаем так: вечером я прихожу к вам, вместе ужинаем, а там отправляемся на место свидания. Уверен, что она придет не одна. Найдется и для вас... Что вы скажете на это? Ладно, соглашайтесь! Я слышал, вы знакомы с Мунисхон...

Простившись, Саиди ушел. По дороге домой он увидел Шафрина, стоявшего возле входа в городскую библиотеку, и, не желая встречи, перешел на другую сторону улицы. Но было поздно: Шафрин увидел его, окликнул и быстро догнал. Саиди показался ему больным, но, заглянув в комнату Саиди, он, кажется, понял причину его болезни. Ничего не сказав, он тотчас ушел и скоро вернулся с покупками.

— Вставайте, Рахимджан! Выпейте горячего чая, подкрепитесь хлебом, не то совсем с ног свалитесь!

После двухдневной голодовки Саиди и в самом деле сильно ослаб, теперь ему хотелось только одного: горячего чая. Вторую пиалу он заел хлебом.

Шафрин просидел у Саиди до позднего вечера и узнал, что тот не получил стипендию за четыре месяца. Прибрав в комнате, Шафрин зажег свет и простился.

Саиди после еды отяжелел. Ему было лень двигаться, лень думать, но по привычке рука сама потянулась к подоконнику, где лежала неоконченная книга. Он раскрыл ее, на грудь ему выпала трехрублевка. Он долго и недоуменно рассматривал ее: «Не понимаю, когда я мог вложить сюда деньги!», но так и не вспомнил. Еще через страницу снова выпала ему на грудь трехрублевка. Саиди вскочил с кровати. «Это Шафрин!» — вскрикнул он, краснея от мучительного стыда. Вспомнив, как безобразно вел себя с этим человеком, он обеими руками схватился за голову.

А кичливый и денежный поэт не пришел и вечером. Зато Шафрин спустя четыре дня снова навестил его. За эти дни Саиди несколько оправился. Он не мог смотреть в лицо Шафрину и всем своим видом как бы просил у него прощения. Шафрин притворялся, что ничего не замечает. Посидев недолго, он поднялся, положив перед Саиди сто двадцать рублей.

— Это ваша стипендия,— сказал он, кладя руку на плечо Саиди.— Я вчера заходил на факультет...

Саиди был готов провалиться сквозь землю.

Шафрин ушел.

Спустя три недели в очередном номере журнала снова появилось стихотворение Ульфата, на этот раз присланное с Крымского побережья. Саиди потерял надежду вернуть свои одиннадцать рублей.

Итак, Саиди не попал в группу начинающих и подающих надежду писателей, нуждающихся в советах и воспитании, хотя он проработал все лето. Мирок этот плечом к плечу ревниво ограждали такие богатыри литературного фронта, как Ульфат, Аббасхон, Ильхам и им подобные. Каждый представлял собою как бы звено этой прочной цепи, а все звенья вместе были накрепко сварены друг с другом. Чтобы войти в этот заветный мир, надо было либо разорвать, либо разомкнуть одно из звеньев. Разорвать было не в силах Саиди; оставалось искать способ, чтобы хитростью разомкнуть цепь и проскользнуть в обетованный мир.

## Х

Салимхон мог допустить возможность взаимосвязи между крысами и обвалом на угольных копях, между колониальной политикой Великобритании и белой коровой в Индии, между земным магнетизмом и северным сиянием, даже между большим зубом и цветом глаз доктора, но он никак не мог представить себе, какая может быть связь между его сестрой Мунисхон, девушкой благородного происхождения, и безродным бедняком — студентом Саиди.

Хотя Салимхон и верил Мунисхон, утверждавшей, что ее отношения с незнакомым студентом далеки от любви, или, как Салимхон выражался, от «непристойности», тем не менее, он решил сам проследить за их поведением, ничем не выдавая своих подозрений, и, наоборот, всячески подчеркивая, что относится к Рахимджану как к несовершеннолетнему мальчику. Однажды он вернулся домой раньше обычного. Мунисхон и Саиди сидели за книгами. Салимхон тихо, на цыпочках, подошел к окну и, незамеченный, пройдя мимо, поднялся на супу\* метрах в десяти от него. Свет, лившийся из окна, не достигал супы, и он долго стоял, наблюдая за ними.

\* Супа — высокая завалинка из глины.

Муниسخон сидела как раз напротив окна, а Саиди — у стены, были видны только их головы. Они сидели, о чем-то оживленно разговаривая, Саиди писал, а Муниسخон часто смеялась. Кончив записывать, Саиди взял было в руки книгу, но Муниسخон отобрала ее и, снова засмеявшись, отодвинула в сторону. Салимхон бесшумно прошел к воротам и приложил немало ловкости, чтобы беззвучно открыть их. Остановившись в темном проходе, он стал прислушиваться. Муниسخон и Саиди спорили о прочитанном. Салимхон набрался терпения и добрый час потерял на подслушивание, но не услышал ничего предосудительного. Тогда он снова, с такими же предосторожностями, вышел во двор, чтобы еще раз взглянуть в окно. Но и теперь его тревога оказалась напрасной. Он окончательно успокоился и, с обычным шумом распахнув ворота, постучал в дверь и попросил разрешения войти. Изнутри ответила Муниسخон. Салимхон вошел. Саиди, сидевший спиной к двери, увидев, как встала Муниسخон, тоже хотел подняться, но Салимхон, делая знаки, чтоб тот не беспокоился, поспешно подошел к гостю, искренне протягивая ему руку.

— Так-так, дорогой Рахимджан,— говорил Салимхон, расчесывая волосы и сдувая с гребенки перхоть и волосинки. — Я, знаете, давно мечтал познакомиться с вами, да все случая подходящего не было... Отчего не приходите к нам по пятницам?\* Ну ладно, как занятия, довольны ли вы ими?

— Да... ничего... потихоньку...— ответил Саиди, напряженно разглядывая ноготь своего указательного пальца.

Салимхон держался с нарочитой простотой и приветливостью, чтобы Саиди почувствовал себя на одной ноге с хозяином. Он много расспрашивал об университете, о студенческой жизни, об убеждениях Саиди. Саиди оживился и стал отвечать смелее. Отчужденность понемногу таяла, однако Саиди не забывал ни положения Салимхона, ни его известного всем высокомерия. Что общего у этого человека с простым студентом, столь неудачно пробующим свои силы на ниве изящной литературы? Салимхон занимает ответственную должность, Салимхон пользуется авторитетом не только в родном городе, но и за его пределами. Его ценят некоторые руководящие работники центра.

Эти мысли не оставляли Саиди, когда он глядел на ласкового брата прекрасной Муниسخон. А Салимхон все не

---

\* П я т н и ц а у мусульман — праздничный день.

унимался и, добиваясь доверчивой откровенности Саиди, расспрашивал его о том, где Саиди получил среднее образование, кто были его учителя. Случается так, что двое, живущие в разных кишлаках, разговорившись, неожиданно выясняют, что они чуть ли не родственники. Нечто похожее испытывал сейчас Саиди: чем дальше углублялся он в прошлое, тем ближе становился ему Салимхон. Мунисхон боялась признаться брату в том, что показывала Саиди фотографию Исхака-эфенди. Теперь в разговоре эта тайна сама собой перестала быть тайной. И Мунисхон, чувствуя, какая тяжесть свалилась с ее плеч, развеселилась и поспешила очистить совесть от последних остатков своего греха.

— Оказывается, Рахимджан знал Исхака-эфенди... Помните его, брат?— сказала она и посмотрела в глаза брату.

Салимхон сделал вид, что не помнит.

— Это которого? Исхак... А, да-да, да... Исхак-эфенди! Я слышал, будто он присоединился к басмачам... Дурак!

Саиди кивнул головой и рассказал все, что знал о смерти этого человека.

Пока Саиди говорил, Мунисхон тихо и чуть слышно перебирала клавиши пианино, но когда он умолк, она сыграла ту же мелодию, которую играла тогда, в первое его посещение, затем по просьбе брата и Саиди она сыграла еще несколько вещей.

— Заходите к нам запросто,— сказал Салимхон, когда Саиди поднялся.— Говорят так, при первой встрече знакомятся, а при второй становятся друзьями. Но мы с вами подружились в первую же встречу, не так ли? Мунис очень довольна вами. В науках, которые проходите вы, я профан. Я окончил лишь высшую медресе\*, поэтому ничем помочь ей не могу. Вот и прошу вас, окажите ей посильную помощь, это моя дружеская просьба к вам... По пятницам вы, вероятно, свободны, как и я... Оставьте в этот день мирские дела и приходите к нам, посидим, поговорим. Человек должен раз в неделю отдыхать. Хотите, приводите с собой друзей...

Саиди, кланяясь, наконец вышел, и Салимхон проводил его до ворот. Когда он возвратился, лицо его сияло. Войдя в комнату, он постоял в раздумье, затем сел на диван. Мунисхон, убирая со стола книги, спросила, не хочет ли он чаю, но брат вместо ответа спросил ее:

---

\* Медресе — мусульманское духовное училище.

— По какому поводу возник у вас разговор про Исхака-эфенди?

Мунисхон не ожидала этого вопроса; страшно перепугавшись, она оглянулась на брата. Салимхон сидел и улыбался.

— Честное слово, он сам заговорил о нем, — сказала Мунисхон, в улыбке брата подозревая подвох.

— Я тебя и не упрекаю.

— Зачем же тогда... так смотрите на меня? Он сам первый заговорил об этом. Оказывается, Исхак-эфенди хотел увезти Саиди за границу, а я сказала, что... этот человек... когда-то... Брат, сказала я, очень не любил этого человека... И что он только раз приходил к нам... вот и весь разговор...

Эту ночь Салимхон провел беспокойно, словно человек, который боится проспать и опоздать к поезду. Эта ночь показалась ему очень длинной.

## XI

В последние недели Салимхон так часто спрашивал ее про Саиди, что Мунисхон заподозрила неладное. Иногда, впрочем, Салимхон говорил о задатках таланта в Саиди и о том, что «Саиди стоит на голову выше всех остальных студентов», а Мунисхон все это от слова до слова пересказывала Саиди.

В те дни, когда Саиди бывал у них, Салимхон старался не отлучаться из дому и усиленно приглашал его приходить по пятницам. Саиди сначала уклонялся от этих приглашений, но в конце концов, боясь быть невежливым, пообещал прийти в одну из пятниц. Он и пришел, рассчитывая посидеть часок, но просидел до одиннадцати. Мунисхон не было дома. Спросить о ней было неудобно, и к тому же Саиди смутно чувствовал, что не из-за Мунисхон он засиделся здесь так долго. Между ним и Салимхоном возникли самостоятельные отношения, не имевшие ничего общего с Мунисхон. Эти отношения были чем-то неуловимо схожи с тончайшими нитями паутины, но что это за паутина, Саиди и сам не знал. Возвратившись домой, он долго размышлял и, уже лежа в постели, сказал себе, что понимает все. Паутина тут не при чем. Тут главное — обаяние Салимхона, человека удивительного и необыкновенного. В самом деле, несмотря на свой вы-

сокий авторитет и положение, несмотря на благородное происхождение, Салимхон прост и скромен, бескорыстен, человеколюбив; всякому, кто нуждается в его помощи, он готов протянуть руку. Он не просто культурен, но прогрессивен, ибо уверен, что из среды узбеков выйдут гениальные люди. И он знает людей, разбирается в них, он провидит в людях способности и талант. Саиди готов был наделить Салимхона любой добродетелью, но и самому себе он не признался бы, что больше всего его пленило свойство Салимхона угадывать будущих гениев в ничем не примечательных юношах. Между тем именно это и было основной нитью, связывающей их.

Итак, Саиди стал заглядывать к Салимхону сначала изредка, потом все чаще и чаще, и по его настоянию приходил уже не только по пятницам, но и по четвергам. И каждый раз Салимхон встречал его так радушно, оказывал такое уважение, что Саиди уходил отдохнувшим душой и телом. Иногда, зайдя вечером в четверг, он даже оставался у своего нового друга ночевать.

Беседы текли неторопливо, веско, не прекращаясь целыми днями и вечерами. О многом было переговорено: о строительстве Панамского канала, о причинах возникновения и результатах русско-японской войны, о гибели парохода «Императрица», об открытии английского инженера Рамзея в подземной газификации угля, о странствиях лорда Байрона, об убеждениях Асобата, о колониальной политике Англии, о татарской литературе периода Абдуллы Тукая, об исламе и реформе в нем, о вражде между турками и армянами, о национальной политике компартии, о завоевании Туркестана и обязательно о человеческих талантах и способностях.

В одну из пятниц заговорили о смерти Толстого, и Салимхон прочитал на память стихотворение в прозе Абдуллы Тукая, написанное им на смерть великого писателя.

Дни Толстого Салимхон пережил в уфимской медресе, куда только-только успел приехать для получения высшего образования. Отец Салимхона согласился отправить его туда по настоянию своего друга, известного богача и прогрессивного деятеля Хусаинова. Хусаинов привез Салимхона сначала в Казань и вместе со своим молодым зятем отправил в Уфу. Зять Хусаинова был способным и энергичным молодым человеком, которому удалось все, за что он ни брался. Много лет прожил Салим



хон с ним в одной келье. Этот молодой человек занимался вопросами, удивлявшими Салимхона, прочитывал множество газет и журналов, писал статьи. Постепенно Салимхон стал разбираться в его мыслях и убеждениях, даже по некоторым вопросам затевал с ним споры. Человек этот хотел\* проведения религиозных и школьных реформ, хотел свержения царского правительства и, предпочитая говорить по-турецки, с пафосом восклицал: «Почему мусульмане России лишены свободы, когда все в мире вольны выражать свои мысли и идеи?» Он несколько расходился во мнениях с Салимхоном, который считал очень важным то, что в России развивается фабрично-заводское дело, хотя бы и при царском режиме. Что же касается царского правительства, то тут оба молодых человека были единодушны: царь, по их мнению, был фигура лишняя. Несколько лет Салимхон твердо придерживался своих убеждений, но, побывав однажды на родине, в Туркестане, перестал ратовать за развитие русской промышленности и решил посвятить себя пропаганде вопросов, первоочередных для мусульманского Востока. Иначе говоря, взгляды и идеи зятя Хусаинова взяли верх, и Салимхон целиком им предался. Изучив направление и программу таких газет, как «Вакт», «Тарджимон»\* и другие, он решил повернуть национальное движение в Туркестане под знамя своих новых идей. Это было тем более важно, что молодая интеллигенция Туркестана того периода с восторгом поставляла кадры учеников и последователей таким опытным учителям, как он.

В одну из пятниц, когда Саиди пришел к Салимхону, тот показывая на бутылки с коньяком, расставленные на столе, сказал:

— Не все же время отдавать мирским делам, Рахимджан! Надо пожить и для себя. Вот посидим с вами, поговорим... Вы любите коньяк?

— Не знаю, что это такое. Никогда не имел с ним дела.

На улице валил густой снег, сильный ветер, шумевший, как водопад, временами приходил в неистовство, бил в окна, было слышно, как на улице шумят провода.

Мунисхон внесла ароматный, шипящий, с огня, шашлык, уложенный на огромном блюде. Она присела к столу, но,

---

\* «В а к т» („Время»), «Т а р д ж и м о н» («Переводчик») — дореволюционные туркестанские реакционные газеты.

выпив рюмку, больше до вина не дотронулась. Этой рюмки ей оказалось достаточно: она покраснела, глаза сузились. Слушая безудержную болтовню Салимхона, Саиди улучал мгновенья, чтобы хоть одним глазом полюбоваться Муниسخон. Она чувствовала себя неловко и каждый раз, когда Саиди смотрел на нее, еще больше смущалась.

Каждая рюмка коньяку, попадая в желудок, странным образом превращалась в поток словесных излиятий. По мере того как число выпитых рюмок росло, Саиди чувствовал себя все ближе и ближе к Салимхону. Эти толстые стены надежно оберегали его не только от стужи и завываний ветра, но, как ему казалось, и от всех мирских забот, от всех напастей. Во всяком случае уж комсомольская ячейка сюда не доберется! После первой опорожненной бутылки Саиди показалось, будто они настолько сблизились с Салимхоном, что тот готов снести все капризы и прихоти своего гостя и промолчит даже в том случае, если бы гостю пришлось в голову поцеловать Муниسخон.

Вставая с места и протягивая руку за второй бутылкой, Салимхон решительно резюмировал:

— Мы не обращаем внимания на наличие таланта и способности в человеке, в результате они сгнивают на корню, не распутившись...

В присутствии Муниسخон Саиди был не в силах признаться, что он сам как раз и является одним из тех, чьему таланту суждено сгнить на корню. Но все же долго, до усталости, говорил, подтверждая слова Салимхона.

Потом Муниسخон села за пианино. Саиди мерно покачивался в такт музыке. Когда Муниسخон встала, Саиди подошел к ней, покачиваясь, и, опустив обе руки на ее плечи, усадил ее. Муниسخон снова принялась играть. Салимхон, тихо раскачиваясь на качалке, подпевал ей, но часто сбивался и фальшивил, и это страшно раздражало Саиди.

Все это Саиди хорошо помнил после, как помнил и наступление сумерек, и зажженный свет. Но вот что было потом — он полностью забыл. Кто-то приходил. Ему казалось, что он слышал смех какой-то чужой, посторонней женщины. Впрочем, он в этом не уверен...

Он не знает, как очутился у себя в комнате. Сильная жажда разбудила его перед утром, но воды в комнате не оказалось. Он хотел открыть окно и захватить горсть

снега, но окно не поддавалось. Он зажег лампу и только собрался было выйти во двор, как увидел на столе три пятирублевки и под ними записку:

«Друг мой Саиди!

Ночью Вы настолько опьянели, что не захотели оставаться у нас. Подлец Ильхам принес с собой еще, и это, по-видимому, было лишним. Но ничего особенного не случилось. Не волнуйтесь и не смущайтесь: ничего плохого Вы не сделали. Если можете, не ходите на лекцию. На всякий случай оставил Вам немного денег. Пусть и это Вас не смутит. Будьте здоровы. С глубоким уважением к Вам

С. 3 февраля».

Саиди рвал на себе волосы: «Да неужели я им жаловался, что сижу без денег? Ах, чччерт!.. Не натворил ли я еще чего?! Да, приходил Ильхам. Потом ушел. Я, кажется, плакал... Почему, из-за чего? Кажется, поцеловал руку Мунисхон... Плакал! Мунисхон смеялась! А где же был в это время Салимхон?..»

Все это казалось ему сном. Он не мог, да и не хотел теперь ни о чем думать. Во всяком случае, записка, оставленная Салимхоном, его не успокоила и не утешила. Обо всем, что произошло, громко смеясь, рассказывала ему на следующий день Мунисхон.

## XII

Как-то, когда, вернувшись с лекций, Саиди приоткрыл дверь своей комнаты, к ногам его упал конверт. Конверт был продолговатый, тощий, со шпанпом какого-то учреждения. Саиди достаточно насмотрелся на такие конверты в те времена, когда жил вместе с сестрой и зятем: то, бывало, приходили уведомления из финорганов, то вызовы в органы следственные. Поэтому и теперь первым чувством Саиди был испуг. У него не хватило терпения разорвать неясный штамп, и он поспешно надорвал конверт. В верхней части письма штамп повторялся и, к изумлению Саиди, оказался штампом того самого журнала, в который до сих пор его не пускали на порог. Между тем письмо начиналось с обращения: «Товарищ Саиди!» Саиди проглотил письмо залпом:

«Товарищ Саиди! По вине работников редакции, Ваше стихотворение под заглавием «Долина», а так же ваш рассказ «Каландар»\* попали в число забракованных. Теперь мы восстановили истину и они будут опубликованы в очередном номере нашего журнала. Нам бы очень хотелось, чтобы Вы зашли в редакцию поговорить по поводу этих Ваших произведений. С товарищеским приветом

*Кенджа».*

Дрожь пронизала насквозь все существо Саиди, и он долго не мог справиться с нею. Только перечитав письмо два и три раза подряд, он несколько успокоился и оглянулся вокруг. Ему показалось, что все предметы в комнате вдруг изменились: заблестали и заулыбались. Легко и свободно вздохнув, словно наконец добрался до вершины трудного перевала, Саиди благочестиво проговорил: «Мир прекрасен. Жизнь хороша. Нет труда без великолепных даров».

Прикрыв, наконец, дверь, он устало прислонился к печке, затем снял с себя пальто и бросил его на кровать, потом сам подошел к кровати. Присев на корточки, достал из-под нее все номера журнала и начал перелистывать их один за другим. Письмо Саиди все еще держал в руке. Запах литографской краски, исходивший от обложек, теперь казался ему настолько приятным, что он по несколько раз подносил журналы к носу и принюхивался.

Весь остаток дня он пробыл дома, позабыв даже о еде. Настала ночь; он тщательно, как только умел, убрал в комнате, переставил все свои книги. Письмо он небрежно бросил на стол, застланный чистой бумагой. Потом долго перелистывал толстую тетрадь, куда переписывал свои стихи и рассказы. Пытался написать что-нибудь новое, но это ему на удавалось, а читать не хотелось.

Утром Саиди снова заволновался: хотя в письме было ясно сказано, что его стихотворение и рассказ приняты и будут опубликованы в ближайшем номере, он все еще считал писательский труд непостижимой для себя тайной и не вполне верил обещанию редакции. Кто этот Кенджа и что он собой представляет? Не написано ли все письмо просто ради развлечения редакционных работников, и

---

\* К а л а н д а р — странствующий мусульманский монах.

этот самый Кенджа, при виде входящего Саиди, скажет: «Еще таких не хватало в поэзии? Скоро заявления и протоколы, наверное, будут писать в стихах!» Он скажет это или нечто подобное при всех, громко, чтобы ему, Саиди, стало невыносимо стыдно. Быть может, не стоит идти?

Все же Саиди решил пойти. Но он так волновался, что и позавтракать как следует не смог: долго разжевывал кусок хлеба, перекатывая его во рту.

Всю дорогу до редакции Саиди упрекал себя: «Сидел бы себе тихо и скромно до тех пор, пока сам не всплывешь наверх, писал бы стихи, если так хочется, но не лез бы никуда... Вот посмотришь, как будешь возвращаться, несолоно хлебавши...»

Хуже всего Саиди чувствовал себя в тот момент, когда переступал порог дома, где помещалась редакция. Очувшись в коридоре, он, правда, несколько осмелел, даже довольно решительно обратился к какому-то солидному человеку с вопросом, в какой из многочисленных комнат, расположенных по обе стороны коридора, сидит Кенджа. Так же решительно вошел он в указанную комнату. Справа от двери, за неказистым столом, сидел молодой человек. В дальнем конце комнаты стоял стол, заваленный грудой бумаг и по виду принадлежащий человеку высокого положения. Хозяина стола не было. Молодой человек, мельком взглянув на Саиди, снова углубился в свою работу. Саиди с изумлением узнал в нем того рослого парня, которому не давали слова на собрании писателей в Доме просвещения. Пройдя к столу, стоявшему в глубине, Саиди приготовился ждать. Однако очень скоро в комнату вошел низенький, кругленький человек с короткой шеей и одутловатым лицом; не обратив на Саиди никакого внимания, он сел за стол и начал рыться в бумагах. Саиди продолжал молча стоять возле него. Неизвестно, сколько продлилось бы это унижительное ожидание, если бы Саиди не решился все-таки тихо спросить:

— Скажите, вы товарищ Кенджа?

Толстяк, все еще не глядя на Саиди, буркнул:

— Вот тот,— и мотнул головой в сторону стола у двери.

Саиди смущенно подошел к Кендже. Тот отодвинул свою работу в сторону, внимательно взглянул на Саиди и протянул ему руку.

— Вы — Рахимджан Саиди? Очень хорошо, садитесь, пожалуйста!

Саиди сел. Кенджа открыл ящик стола и уверенной рукой вынул рукописи Саиди.

— Это ваши первые произведения или вы и раньше писали?

Саиди не знал, что ответить.

— Иногда пишу, так, для себя... Вот, посылал к вам некоторые из своих опытов.

— Обе ваши вещи достойны опубликования, но в обеих, особенно в стихотворении, по моему мнению, есть кое-какие недостатки. О них я вам сейчас скажу. Если хотите — здесь, а если не хотите, то дома, на досуге, вы подумаете над ними сами. Если вы согласитесь с нашим мнением, то мы вместе с другими товарищами постараемся выправить их. )

На свете есть бесчисленное множество вещей, способных привести человека в несказанно-радостное настроение. Но чего они стоят по сравнению с любезностью и приветливостью редактора, от которого вы ждали ядовитых слов и обидно-хлестких сравнений! Саиди не знал, что Кенджа не из «больших и признанных», поэтому именно ожидал от него высокомерного отношения.

— Я буду очень рад, если мои вещи окажутся достойными внимания и советов, тем более, что вы предлагаете свою помощь...

Соглашаясь с советами Кенджи по поводу стихотворения, Саиди про себя думал: «Этот, кажется, из тех, кто мягко и деликатно забракует стихотворение. И рассказ он вернет с такою же деликатностью!»

— Рассказ ваш хорош, но в нем нет конца,— сказал Кенджа.

«Так и есть!»— подумал Саиди. Он хотел было что-то возразить, но Кенджа продолжал:

— Вы очень хорошо отобразили тяжелую жизнь узбекской девушки, но вам нельзя было ограничиться этим. Мы, будущие писатели, должны не только отображать затхлое болото жизни, но и указывать путь к выходу, к свету. Только поэтому я прибавил одну главу в ваш рассказ. Я вам ее прочту. Если согласитесь — хорошо, нет — рассказ будет напечатан так, как он есть.

Глаза Саиди, потускневшие от огорчения, снова загорелись. Кенджа прочитал свой вариант конца рассказа.

Новая глава оживила не только рассказ, но и самого Саиди.

— Вы не представляете себе, Кенджа-ака, — сказал Саиди, — как я буду рад, если этот рассказ будет напечатан! Но сейчас я счастлив не только этим. То, что вы не пожалели времени, терпения и своего труда для улучшения рассказа, говорит о другом: значит, я могу писать, значит я стою помощи и советов!

Кенджа засмеялся:

— Из этого следует, как я понимаю, что вы согласны включить эту главу?

— Не нахожу слов для благодарности за вашу помощь!

Кенджа убрал рукописи в ящик стола. Саиди поднялся, но Кенджа его удержал.

— Хорошие строки есть в вашем стихотворении. Может быть, используете их в других стихах? Очень важно правильно выбрать тему... Одна молодая поэтесса в своих стихах почему-то решила выразить горячую тоску по ханско-хаканским временам. А о том, что в ханско-хаканские времена десятки таких девушек, как она, были рабынями одного мужчины, поэтесса попросту забыла. И, конечно, тоска ее прозвучала только смешно. Я-то знаю, что никакой тоски по тем временам у нее нет и не было, а стихотворение это всего лишь подражание некоторым произведениям известных поэтов... Но слепое подражание, как видите, заводит в тупик. Вам, должно быть, известно, что на недавнем пленуме ЦК обсуждался вопрос о подготовке к земельной реформе. Земельная реформа принесет громадную радость бедным крестьянам и безземельным батракам, это ясно, как день. И вот это должно стать сегодняшней темой нашей поэзии...

Саиди был опьянен и всякое трудное и сложное дело казалось ему пустяком. Если этот приятный, вежливый, по-видимому вполне бескорыстный и к тому же любезный в обращении молодой человек говорит, что земельная реформа — отличная тема, то почему же нельзя написать на эту тему несколько рассказов? А Кенджа еще готов помочь, если рассказы этого потребуют. Саиди пообещал написать рассказ на тему о земельной реформе и, вставая, снова выразил Кендже благодарность.

— Большое вам спасибо за дружескую помощь и за то, что не пожалели своего времени. Как жаль, что раньше

не знал вас. Ни за что не стал бы посылать свои стихи по почте...

— Вы и прежде присылали нам стихи?

— Нет, дело не в том, что их не опубликовали. Я хочу сказать, что если бы их приносил я сам, то мне были бы указаны их недостатки.

— Вы и прежде посылали к нам стихи? Но мы их не получали, — сказал Кенджа и взглянул на хмурого толстяка, который сидел за другим столом.

— Якубджан, к вам не попадали стихи Рахимджана Саиди?

У Якубджана был желчный вид, и ответил он недружелюбно:

— Не знаю, не видел!

— Наверное, вы послали, а к нам не поступили... Это случается иногда.

— В журнале печатался ответ на них... много раз... — тихо сказал Саиди.

— Разве? Когда же, в каких номерах? — спросил Кенджа и выложил на стол подшивку журнала.

Саиди не дотронулся до подшивки, с некоторым опозданием решив замять разговор: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Но журналы тщательно перелистал сам Кенджа. В нескольких номерах подряд он обнаружил ответ: «*Р. Саиди. Напечатано не будет*», а в некоторых такой ответ был напечатан дважды. Кенджа был поражен, он то бледнел, то краснел.

— Неужели эти материалы прошли и через мои руки, Якубджан?

Якубджан сделал вид, что чрезвычайно углублен в работу и не слышит вопросов.

— Как же так, а, Якубджан?!

Саиди чувствовал себя неловко и, видя лицо Кенджи, боялся, как бы не разразился скандал.

Кенджа снова, громче и настойчивее повторил свой вопрос, и тогда Якубджан, изобразив нервную улыбку, сказал:

— Откуда же мне знать, видели вы эти материалы или не видели?! Может быть, вы еще попросите, чтобы я знал, где, в какой пивнушке вы вчера валялись пьяным?

Кенджа побелел.

— Якубджан, я у вас не покупаю товара в долг, я с вами разговариваю в редакции, на работе и о нашей работе!



Захватив все номера журнала под мышку, Кенджа отправился к редактору и потащил туда и Саиди. Он с возмущением доложил обо всем, но редактор оказался человеком флегматичным. Перелистав журналы, он почесал голову и невозмутимо спросил:

— Ну, а кто же просматривал эти материалы?

— Да в этом и все дело! Похоже, что кто-то ответил автору, даже не взглянув на них. Мы усиленно поднимаем на страницах журнала вопросы воспитания молодых дарований и сами же лишаем молодого, начинающего литератора советов, хотя он прислал нам двадцать своих произведений.

Редактор вдруг взбеленился.

— Так почему же вы не следите за этим? Ну, допустим, материалы к вам не попали, а вот эти ответы почему вас не заинтересовали? Действительно, двадцать раз подряд написано тут: «Напечатано не будет!» Товарищ Саиди, получили вы хоть раз письменный ответ на ваши произведения?

Саиди не осмелился ответить «Нет», за него ответил Кенджа:

— Последние из присланных материалов я обнаружил в корзине. Ни одного ответа он не получил. А я действительно не обратил внимания на «Напечатано не будет!»

— Ладно, давайте сюда Якубджана.

Кенджа вышел и привел Якубджана.

— Ну, Якубджан,— грозно начал редактор,— отчего это у вас опять зачастили ответы: «Напечатано не будет»? Вы что, забыли о том, что молодым и начинающим писателям следует отвечать в письменном виде?

Якубджан слегка растерялся.

— Нет, мы отвечаем. Но иногда наши ответы возвращаются, потому что сами авторы сообщают свои адреса неправильно.

— Вот товарищ сам пришел к нам в редакцию. Если ответы, посланные вами раньше, возвратились, отдайте ему их сейчас. Неважно, что ответы давние, все равно они могут быть для него полезны.

Якубджан совсем опешил.

— Возвратившиеся письма у нас не сохраняются.

— Позвольте, а как же мы узнаем, посылали вы ответ или не посылали, если возвратившиеся письма не сохраняются? Вот сидит человек с претензией к нам. Как же

мы докажем, что на нас нет никакой вины? Никуда не годится! На воспитание молодых дарований мы тратим тысячи ежемесячно. А все воспитание сводится, оказывается, к рубрике «Напечатано не будет...» Да ведь это не что иное, как растраниживание общественных денег! Это карается по советскому закону! Где Ильхам, позовите его ко мне!

Якубджан собрался было улизнуть под предлогом поисков Ильхама, но его опередил Кенджа и тотчас привел Ильхама в кабинет редактора. Саиди узнал его: раза два они встречались в доме Салимхона. Увидев разгневанное лицо редактора, побледнел и Ильхам.

— Товарищ Ильхам,— обратился к нему редактор,— что вы знаете о положении ваших подопечных молодых дарований в нашем журнале? Или вы вовсе прекратили общаться с ними?! Даже копий от писем, посылаемых начинающим писателям, не остается в редакции! Неслыханное дело! Короче говоря, послезавтра, к одиннадцати утра, вы соберете всех, кто имеет к этому делу отношение. Устроим небольшое собрание работников редакции. В ближайшем номере тоже, наверно, готовится рубрика: «Напечатано не будет», не так ли, Якубджан? Идите в типографию и немедленно выкиньте ее! Раз навсегда прекратите давать подобные ответы через журнал!.. И с этими головами мы издаем журнал, нечего сказать!

Якубджан ушел. За ним вышел и Ильхам.

— Преступление, прямо преступление! — проговорил редактор про себя. — Это всегда так бывает, когда в деле принимает участие только голова, а сердце остается в стороне.

Один за другим поднялись Кенджа и Саиди. Саиди чувствовал себя главным виновником этой неприятной истории. Прощаясь с Кенджой, он робко попросил у него извинения.

### XIII

Муниسخон должна была прийти заниматься. Письмо из редакции лежало на самом видном месте. Но Муниسخон равнодушно повертела его в руках и так же равнодушно бросила обратно. Спроси она хоть словечко по поводу письма, Саиди рассказал бы во всех подробностях историю,

случившуюся в редакции, а это, несомненно, подняло бы его в глазах Мунисхон над всеми остальными студентами факультета. Но равнодушие Мунисхон к письму в представлении Саиди как бы еще выше вознесло девушку. Он сравнивал ее с горизонтом: чем ближе к горизонту, тем все более недосыгаемым он становится. Впрочем, Саиди надеялся, что рассказ, когда он будет, наконец, напечатан, поможет ему удержать этот горизонт на одном уровне...

По дороге в университет Саиди каждый день останавливался у газетных киосков и спрашивался, нет ли нового номера журнала. Полной жизнью он жил лишь по пути до университета, а потом ползли минуты, наполненные анализом: отчего так долго не выходит очередной номер журнала? Даже часы, которые он проводил вместе с Мунисхон, теперь казались ему бесконечно долгими.

И все-таки настал день, который в один миг смыл с него все тяготы ожидания, длившегося целую неделю: в первом же попавшемся на пути киоске он увидел большую стопку только что вышедшего номера журнала. Купив сразу два экземпляра, Саиди нетерпеливо просмотрел оглавление и где-то в середине нашел свое имя. Какое-то необычное, мягкое и почти волшебное опьянение овладело им. Он шел, пошатываясь, и земля казалась ему необычно податливой, как теплая кошма. Он совершенно не помнил, ни как повернул обратно к дому, ни как прошел этот долгий путь, ни как открыл дверь своей комнаты, ни даже того, как подошел к столу и что сделал с книгами, которые держал под мышкой. Рассказ был моментально прочитан. Глава, вписанная Кенджой и раньше чуть-чуть царапавшая его, как крохотная заноза, теперь совершенно незаметно сливалась со всем рассказом.

Он снова и снова прочитал все. Наконец страницы, занятые «Каландаром», показались ему захватанными и истертыми, как страницы много читанной книги. Он разрезал страницы другого экземпляра. Немного спустя и этот показался ему обидно старым. Он выбежал на улицу, купил еще один экземпляр журнала и положил его в ящик стола не разрезая. Но и этот, находившийся в столе экземпляр казался ему уже не новым.

Каждый раз выходя на улицу, он заранее смущался, полагая, что все его будут поздравлять. Пугаясь этого, он даже не пошел в столовую обедать. Но на следующий

день в университете никто, даже Мунисхон, не заговорил с Саиди о журнале. А он, все еще опьяненный, замечал этого. Наоборот, стоило кому-нибудь взглянуть на Саиди, как перед его глазами вставали страницы журнала. При виде двух разговаривающих между собой студентов у него падало сердце. Ему казалось, что они обсуждают рассказ «Каландар». Слова, в которых никогда не было буквы «С», слышались ему как «Саиди».

Первая удача вернула Саиди силы, утраченные им за последние два года. Лицо его, поблекшее, как придорожный мак, снова посвежело, стало румяным. Он сам чувствовал это. Теперь он не только зрелый, возмужалый, полный сил привлекательный молодой человек, но и человек, выделяющийся из среды студентов факультета своим «Каландаром» и идущий к своей большой славе, хотя этого и не признает пока что Мунисхон.

С новыми силами, бьющими через край, с новым рвением и огромным желанием писать взялся он опять за перо. Рассказ, за который он теперь принялся, был посвящен самой злободневной и актуальной теме, предложенной Кенджой, — теме земельной реформы. Он искал материал по газетам и обратился с письмом к редакции журнала, в котором его напечатали, что приступил к работе над рассказом и нуждается в помощи. Он ждал, что ответ придет самое большее через три дня, но прошло десять дней, а ответа все не было. Он помнил, что в первый свой визит в редакцию доставил много хлопот и беспокойств таким людям, как Якубджан, и идти в редакцию ему не хотелось.

Очередной номер журнала вышел без единой строчки о земельной реформе. Саиди поспешно закончил рассказ и отправил его почтой.

Несколько дней спустя в одной из центральных газет появились путевые заметки Кенджи, в которых он описывал дух собраний, проведенных в кишлаках, бесконечные расспросы бедных дехкан и батраков о том, сколько земли будет отрезано каждому из них, когда и на каких условиях, на какой срок, их требования об ускорении проведения реформы и их активность в подготовке к проведению этого мероприятия. Это был большой, серьезный очерк, построенный на хорошо изученном материале и написанный Кенджой из кишлака Ганджираван в Ферганской долине.

Хотя журнал, призванный воспитывать литературную молодежь, долго не признавал Саиди, рассказ его «Каландар» имел большой успех. Он послужил предметом обсуждения и споров даже среди отдельных писателей и критиков. Саиди узнавал обо всем этом только из рассказов Мунисхон. К сожалению, она рассказывала все это не для того, чтобы порадовать Саиди, а только чтобы похвастаться связями брата с великими мира сего.

Как-то Салимхон попросил сестру пригласить Саиди, сказав, что соскучился о нем. Саиди очень ждал этого приглашения.

В дни, когда Саиди приходил к ним, Салимхон бывал дома один, а если кто-нибудь спрашивал его, то приходшему отвечали, что Салимхона нет дома. Именно поэтому Саиди вошел смело и без стеснения. Салимхон встретил его посреди двора по-домашнему: без головного убора, без пальто и даже слегка под хмельком.

— У вас есть кто-нибудь?— спросил Саиди и попятился.

— Нет... нет, никого чужого, все свои... — ответил Салимхон и, взяв Саиди под руку, повел в комнату. — Так, случайно... собрались... Да вы знаете Аббасхона...

В комнате было сине от табачного дыма. На столе в беспорядке стояли тарелки с тонко нарезанным луком, солеными огурцами, валялись палочки от шашлыка. Одна бутылка была уже пуста, другая опорожнена наполовину; из пепельницы, отодвинутой в сторону, вился тонкой змейкой сизый дым. Аббасхон, возлежавший на диване, при виде Саиди слегка пошевелился, словно собираясь встать. Это он таким способом выказывал свое уважение к вошедшему.

— Знаете вы этого юношу, Аббас?— спросил его Салимхон.— Это автор того самого «Каландара».

Аббасхон осклабился и протянул Саиди руку.

— Я его очень хорошо знаю. Когда-то был моим учеником. Давно, много лет не виделись мы с ним!

Саиди засмутился. Салимхон пододвинул к нему тарелку, полную нетронутого еще горячего шашлыка, налил ему рюмку водки. С трудом принимая из его рук рюмку, Саиди, однако, с легкостью опоражнивал ее, и Салим-

хон снова поспешно наполнял ее. Перечислив имена нескольких одноклассников Саиди, Аббасхон заговорил о пристрастии Саиди к изящной литературе в школьные годы.

— Еще в те времена я читал стихи этого молодого человека в стенных газетах. Даже те его стихи по сравнению с опусами этого... «мельника»... Читал ты его впечатления в газете? Ха!.. Они, видите ли, получили впечатления!

Саиди сразу понял, что речь идет о Кендже. То, что между Аббасхоном и Кенджой существует непримиримая вражда, Саиди понял еще на том собрании в Доме просвещения. Последние выступления в печати подтвердили впечатление Саиди. Глубокая неприязнь прикрывалась личиной критики и заушательского рецензирования. Очерк Кенджи, опубликованный в центральной газете, Аббасхон расценивал как «попытки любым путем удержаться в печати. Коль скоро он не в состоянии создавать действительно высокохудожественные произведения, он всячески старается сохранить за собой звание писателя, хотя бы даже за счет низкопробных и никчемных произведений...»

Обычно когда Аббасхон напивался, он никому не давал рта раскрыть. Так было и теперь. А Саиди с уважением слушал его болтовню. Аббасхон, как и Салимхон, казались Саиди подлинными поборниками культуры и прогресса, высокими знатоками искусства и тонкими ценителями талантов. Аббасхон, упрекнув Саиди в некоторых неряшливостях в рассказе «Каландар», мгновенно привел его в отчаяние. Особенно напал Аббасхон на последнюю главу, и Саиди в оправданье рассказал о том, кто написал эту главу в рассказ. Боясь, что ему не поверят, он, в подтверждение своих слов, показал письмо, написанное ему Кенджой. Читая это письмо, Аббасхон распекушился, как лавочник, у которого просят очень дорогой товар за бесценник, да вдобавок еще и в кредит. Сморщив нос, он сказал презрительно:

— Если бедняки действительно так уж заинтересованы в земельной реформе, то они ее поймут без вашего отображения в художественной литературе.

В наступившей паузе все услышали, как открылась входная дверь и в переднюю кто-то вошел. Салимхон проворно вскочил и выглянул туда.

— А, уважаемый домла\*... Проходите, проходите...— радушно сказал он кому-то и посторонился.

В комнату вошел человек лет сорока пяти, среднего роста, толстый, в шубе из голубого сукна. Брови его, похожие на усы, падали на глаза, огромная голова с залысиной, на макушке которой торчала тубетейка, походила на только что начищенный до блеска сапог. Повадками домла напоминал медведя, а походкой—утку. Он не выразил никакого желания поздороваться с кем-либо из присутствующих. На Саиди, из уважения к нему вскочившего с места и прижавшегося к стене, он даже не обратил внимания. Аббасхон почтительно приблизился к нему и поздоровался. До тех пор, пока этот грузный человек со множеством предосторожностей не опустился в кресло, никто не посмел сесть. Налив остатки коньяка в рюмку, Салимхон протянул ее домле и пододвинул к нему тарелку с шашлыком. Домла проворно выпил коньяк, ничем при этом не закусив.

— И это все?— строго спросил он Салимхона, показывая на пустую рюмку.

Голос у него был очень густой, под стать грузному и тяжелому телу. Салимхон засмеялся.

— Ваша доля ждет вас, домла! Сейчас шашлык будет готов.

Аббасхон заговорил с домлой о чем-то своем. Из их беседы Саиди ничего не понял, потому что не расслышал начала. После того как на столе появились непочатая бутылка и горячий шашлык, разговор перешел на общие темы, и лицо домлы несколько прояснилось. Он скинул свою шубу. Потом он говорил долго, через каждое слово обращаясь и к Саиди тоже: «Не так ли? Не правда ли?»,—и Саиди это было приятно. Мурадходжа-домла не только походкой, но и многими своими особенностями походил на утку. Все знают, утка имеет три свойства: она летает по воздуху, ходит по земле и плавает по воде. Домла в школе — учитель, в кишлаке — крупный землевладелец, а в гостиной своей — правда, не так чтоб уж совсем откровенно, но в отсутствии чужих и любопытных глаз — он торговец. Впрочем, городская интеллигенция рассматривает его как филолога—преподавателя родного

---

\* Домла — (букв.) ученый человек. Употребляется как почтительное обращение.

языка, а молодежь считает его одним из тех, кто все еще не отрекся от своих дореволюционных идей и позиций. Кстати, Мурадходжа-домла вовсе и не старается, как некоторые его приятели и собутыльники, выдавать себя за «красного», и это многим его друзьям настолько не нравится, что, даже рискуя огорчить домлу, они всячески скрывают свои связи с ним. Больше того, при каждом удобном случае, то на собрании, то в печати, они основательно поругивают своего старого друга. Впрочем, это вовсе не тревожит Мурадходжу-домлу. Не кто иной, как вот этот самый Аббасхон, не раз выступал на собраниях, критикуя его, Мурадходжу-домлу. А уж по поводу Салимхона многие в городе уверены, что между ним и домлой существует давняя вражда.

Мурадходжа-домла любит по утрам сладко позавтракать, а в полдень пообедать шурпой\* по-кабульски и запить ее вином, настоенным на розовых лепестках. Но не меньше любит он, оберегая чистоту узбекского языка, придумывать узбекские термины для выражения таких понятий, как самовар, самолет и тому подобных.

Изредка он выезжает в кишлак, чтобы — как он объясняет — изучить чистый, первозданный узбекский язык. В кишлаке том живет его давний друг по имени Ниязмат-хаджи. Как только становится известно о прибытии домлы, в доме Ниязмата-хаджи начинает готовиться обильное угощение. Собираются его друзья и почитатели. Если Мурадходжа-домла учится у них чистоте родного языка, то его друзья и почитатели учатся у него искусству управления хозяйством, обращения с батраками и работниками.

Сегодня Мурадходжа-домла шел к Салимхону раздраженный, и настроение у него было преотвратительное. Но выпив и поговорив о том о сем, он несколько успокоился. Однако стоило Аббасхону обмолвиться о впечатлениях Кенджи, домла снова взбеленился, разнервничался и даже опять надел свою голубую шубу.

— Этой своей реформой советская власть хочет вовсе разорить узбекские кишлаки! — кричал он, словно в проводимой реформе были виновны сидящие здесь люди. — Видел, какое впечатление вынес из этой реформы ваш поэт-мельник?

— Нейтрально, даже оппозиционно настроенные люди

---

\* Ш у р п а — острый мясной суп.



есть и среди членов партии, и среди ответственных работников, — сказал Аббасхон после продолжительной паузы. — А на таких, как Кенджа, нельзя особенно и обижаться, ими руководит одно только тщеславие...

Саиди уходил от Салимхона с твердым убеждением, что искусство — это сильно укрепленная крепость и не каждому дано проникнуть в нее. Попытка пробраться в эту крепость, не зная ее коварных секретов, непременно приведет к гибели. А все тайны укреплений известны лишь одному Аббасхону. Аббасхон не из тех людей, которые завидуют способностям и добродетелям других. Тонкий знаток, ювелир в своем деле, он готов каждому талантливому человеку раскрыть секреты мастерства, однако лишь соразмерно способностям и дарованию этого человека. Тайны величия и славы выдающихся поэтов можно узнать у того же Аббасхона. Что же касается Кенджи, то он просто не поэт. Он даже и не талантлив. Многие молодые уже обогнали его, хотя начинали значительно позже. Кендже это поперек горла, потому-то он, притворяясь истинным другом начинающих поэтов, искусно запутывает их, сбивая с правильного пути. Вывод один: следовать советам Кенджи — значит сбиться с правильного пути... А земельная реформа непременно приведет узбекские кишлаки к разорению и разрухе!

В келью свою Саиди вернулся за полночь. Странная влюбленность владела им. Так же чувствовал он себя и на следующий день на занятиях в университете. Какой-то червь сосал его сердце, он ходил растерянный, сам не свой. В эти дни центральные газеты стали печатать под крупными и броскими заголовками сообщения о начале подготовки к земельной реформе на местах; среди этих сообщений, заметок, статей появлялись стихи и очерки молодых писателей.

## XV

Двадцать комсомольцев факультета были мобилизованы для оказания помощи комитетам в подготовке к земельной реформе, и ячейка направила их в распоряжение райкома комсомола. Саиди, который успел разочароваться в Кендже и его советах, Саиди, который единственным своим защитником и покровителем отныне считал Аббасхона,

счел это возмутительным насилием. Но так как секретарь комсомольского комитета то и дело повторял: «По отношению к уклоняющимся от поездки в кишлак будут сделаны оргвыводы», Саиди, прикусив язык, потащился в райком комсомола.

В райкоме этими делами заворачивал старый его знакомый Шариф, встретивший Саиди по-дружески приветливо.

— А, товарищ Саиди! Эхсана-то помните? Вот неблагодарный, вовсе забыл про нас с вами, а?

— Я давно не получал от него писем. А написать ему не могу: потерял адрес...

Шариф засмеялся:

— Хорошо еще, что хоть имя его не забыли.

— Неужели вы все тоже поедете в кишлак?— спросил Саиди, чтобы переменить тему разговора.

— Конечно поедем! А почему бы не ехать? У нас нет никаких причин оставаться.

Саиди эти слова почему-то понял так: «А если у тебя есть хоть какой-нибудь повод, выкладывай, не стесняйся! Я постараюсь оставить тебя здесь». Он начал негромко:

— Если я хоть на неделю съезжу в кишлак, то непременно останусь на второй год...

— Это почему же?

— Отстал. Очень отстал.

— По каким предметам?

— По всем основным предметам.

Шариф молча глядел ему в лицо, точно взвешивая услышанное.

— А что же думает ваш шеф?

— Я не просил шефа.

Шариф разозлился:

— Разве обязательно просить? Разве комсомольская ячейка сама не знает, кто как занимается? И для чего вас послали сюда?

Говоря так, Шариф протянул руку к телефону, намереваясь разнести в пух и в прах секретаря комитета.

— Подождите, подождите,— бледнея остановил его Саиди. — У меня есть и другие причины...

— Еще и другие? А вы говорили о них в комсомольской ячейке?

— Нет... Я хотел вам рассказать...

— Но, товарищ Саиди...

Как ни старался Шариф перейти на официальный тон, Саиди, очертя голову, продолжал:

— Если надо, я выложу все в ячейке. Но поймите, не очень-то приятно признаваться чужим людям: я болен. Врачи категорически запретили мне ходить.

Шариф, однако, уже не верил ни одному слову.

— Ну, что же это получается? — обиженно воскликнул он. — Перед комсомолом стоит такая огромная задача, и вдруг наш Рахимджан не может ходить! А я еще так обрадовался, увидев вас в списке. — Потом холодно добавил: — Конечно, если вы по-настоящему больны, принесите справку из поликлиники, покажите ее в ячейке, и вас оставят. Таков общий порядок.

Он отвернулся, показывая, что разговор закончен. У Саиди заняло сердце. Шариф, только что казавшийся ему почти родным, снова стал прежним недоступным Шарифом.

Распроставшись, Саиди ушел с горьким чувством человека, которого изблчили в мальчишеском вранье. И, главное, от поездки в кишлак он все равно не отвертится.

## XVI

Поздним утром на трех арбах комсомольцы въезжали в кишлак. Небо было чистое, и лучи солнца, просвечивающие сквозь тополя, были похожи на золотые ресницы горизонта. Этот солнечный зимний день в кишлаке напоминал пору самой ранней весны, когда люди готовятся к выходу на поля: пахать! Подобно тому, как ранней весной природа сама приходит в движение и в воздухе, в воде, на земле начинает копошиться все живое, так сегодня и среди людей чувствовалось небывалое оживление. На каждой улице и в каждом переулке кишлака слышны громкие голоса. Женщины, набросив на головы детские халатики, ругают непослушных ребят с почерневшими, как у галок, ножками, с посиневшими от стужи лицами, судят им: «Вот подожди, вернется отец, я упрошу его, чтобы он тебя выдрал!» Дети, не обращая внимания на материнские угрозы, с визгом и воплями носятся по смерзшейся, комковатой земле. Вдоль заборов выстроились девочки-подростки. На руках у них младшие братишки и сестрицы, в глазенках — любопытство, а стоят они как

вкопанные, словно вот-вот пройдет мимо них шествие с карнаями\*.

«Когда арбы свернули на улицу, ведущую к базару, из-за угла выскочил нестарый еще человек в лохмотьях и побежал вслед за приехавшими, то и дело вытирая рукавом побелевшие от инея усы. За ним трусил второй оборванец, выглядевший стариком. Тот, что помоложе, ухватился за задний выступ арбы и, громко поздоровавшись, спросил:

— Скажите правду, мулла-ака\*\*, вы приехали разъяснять или уже раздавать землю?

Все сидевшие на арбе, обернулись к нему:

— А нужна вам земля?

— Я — батрак...— ответил человек в лохмотьях, неотрывно и жадно глядя на спросившего,— сил у меня много... жены нет, детей тоже нет. Я подал заявление в Союз кошчи\*\*\*, чтобы они отрезали мне земли. Но там только и делают, что разъясняют насчет советской власти... Понимаете? А о земле молчат!

Нагнал арбу и старик, бежавший сзади, толкнул в бок молодого и что-то тихо сказал ему. Затем, приставив свой искривленный палец ко лбу молодого, сказал:

— Ты получишь землю, если это написано у тебя на роду...— и посмотрел на сидящих в арбе, словно спрашивая у них: «Не так ли?»

— Да кто и где видывал, что там на роду написано?— ответил молодой, всем своим тоном осуждая старика за его отсталость и темноту. — Допустим, на роду у меня сейчас написано, что я батрак. Так это же можно стереть и написать двадцать танапов\*\*\*\* земли...

Все засмеялись. Молодой дехканин продолжал:

— Ах, какая земля здесь, какая земля!.. Эх, была бы эта жирная, как сдобные лепешки, земля в руках чайрикеров!\*\*\*\*\* Да еще государство подбросило б машин, плугов...

---

\* Шествие с карнаями — праздничное шествие с самыми крупными — до 3 метров длиной — национальными духовыми инструментами типа тромбона.

\*\* Мулла-ака — почтительное обращение к образованному человеку.

\*\*\* Союз кошчи — одно из первых послереволюционных объединений беднейших дехкан.

\*\*\*\* Танап — мера земли (около одного гектара).

\*\*\*\*\* Чайрикеры — издольщик, обрабатывающий байскую землю.

Убейте меня, если б мы не собрали с одного фунта семян столько урожая, что десяти верблюдам было бы не под силу поднять его! Я так решил про себя — когда говорят: пусть у дела сидит бедняк, стало быть, хотя бы сказать: пусть у дела сидит человек с умной головой! Или я не так сказал, а?..

Скрипя и размазывая колесами льдинки, арбы подъехали к красной чайхане у самого входа на базар. Каждый раз, когда открывалась дверь чайханы, из нее вырывались белые клубы густого пара и, поднимаясь кверху, растворялись в воздухе. Откуда-то вдруг появившийся человек повел всех комсомольцев в чайхану. Народу там было много. Чайханщик едва успевал подавать чай. То тут, то там звенели крышки чайников, булькала вода в брюхах кальянов. Комсомольцы прошли к двери в глубине чайханы. Там, в небольшой комнате, помещалась комиссия по проведению земельной реформы в кишлаке; сюда почти не долетали шум и говор из чайханы.

Комиссия работает с самого раннего утра до поздней ночи. Сюда ежедневно приходят сотни людей. На столах, изготовленных местными кишлачными мастерами, лежат стопки разных бумаг. За столами сидят члены комиссии и активисты кишлака, уже обнаружившиеся среди батраков и беднейших дехкан. Для полного учета земли, инвентаря и других предметов здесь собирают сведения, расспрашивают людей, составляют предварительные списки.

Человек в лохмотьях, следовавший за арбой, неожиданно появился за спиной председателя, нагнулся и что-то шепнул ему на ухо. Кивнув головой, тот снова занялся своим делом. Перед ним сидел и отвечал на его вопросы человек средних лет, с головой, похожей на дыню, худой, но жилистый.

— Зовут меня самого Ибрагим, отца зовут Рахматулло. А как звали деда... не помню. Лет мне тридцать семь. Нет у меня ни клочка земли. Дайте хоть бросовую целинную землю, сам сумею поднять!

— Сколько танапов земли у вашего хозяина и где они находятся?

— Об этом его самого надо спрашивать...— ответил Ибрагим, покраснев и оглядываясь по сторонам. — Два года не получал платы за работу. Сам не брал. Хотел встать о четырех ногах ...\*

---

\* Встать о четырех ногах — жениться.

Председатель засмеялся.

— Это что же, хозяин обещал женить вас?

— Ну да...

— Хорошо, но вы нам расскажите про землю!

— Ох, лучше бы он сам... Ладно, пишите. В Гадай Топпосе есть у него двести семь танапов земли, в Курганче — сто семьдесят три танапа. Все. Больше нет земли.

— Сколько танапов из этой земли он обрабатывает собственными руками?

— Да он в жизни не работал кетменем! Не умеет.

— Как зовут вашего хозяина?

Ибрагим искренне удивился.

— Неужели не знаете?! Он человек известный. Нияз-мат-хаджи, сын Дусмата.

— А что у него еще есть, кроме земли?

После того, как Ибрагим ответил на все вопросы, председатель обмакнул перо в чернила и предложил ему расписаться под заполненной анкетой. Ибрагим отказался от предложенной ручки, посмотрел на свои оба больших пальца и, выбрав из них тот, на котором оказалось меньше ссадин, шрамов и трещинок, протянул, смеясь, председателю.

— Я уж печать свою приложу, мулла-ака... не обессудьте... Отец мой и дед тоже прикладывали свои печати. Мы такие люди, что жизнь наша прошла у чужого порога. Мы даже и помолиться не умеем, не то что расписываться...

Председатель намазал его палец чернилами. Приложив палец, Ибрагим поднялся, и его место занял другой человек. Снова начались расспросы.

Саиди сидел в углу, чувствуя себя таким же чужим всем и каждому, как только что купленный на базаре баран.

Через два часа после приезда все комсомольцы, прибывшие из города, были распределены по кишлакам. Саиди и еще один студент остались в распоряжении комиссии, работавшей здесь. Тот, другой, сразу же окунулся в работу, а Саиди не знал, за что взяться, и краснел, как краснеет человек, не умеющий танцевать и насильно втянутый в круг. К тому же ему то и дело задавали всевозможные вопросы по поводу проведения земельной реформы, на которые он не мог и не умел ответить.

Из всех этих бесчисленных чайрикеров и батраков особое внимание Саиди привлек тот человек, который

предлагал стереть все, что написано у него на лбу, и вписать взамен только двадцать танавов земли. Звали его Юлчибай. Юлчибай был простодушным, веселым человеком и, несмотря на свой огромный рост, выглядел ловким и ухватистым. Говорить он тоже был мастер, и каждая его фраза приводила Саиди в восхищение.

По вечерам Юлчибай заходил к Саиди в общежитие и подолгу сидел, разговаривая о разных разностях. Впрочем, о чем бы ни начинался разговор, в конце концов все сводилось к земельной реформе.

— Ну хорошо,— сказал однажды вечером Саиди, обращаясь к Юлчибаю,— допустим, вы получили землю и стерли чайрикерство, написанное у вас на роду. И вдруг, представим себе, изменились времена. Что тогда будет с вами?

— Вы хотите сказать: если вдруг вернется белый царь?

— Нет, белый царь умер... Я хочу сказать: например, вдруг война?

— Так это одно и тоже... Кто с нами воевать станет? Не белый царь, так серый какой-нибудь. С нашим правительством, которое не любит баев, будет воевать царь, любящий только баев. Объяснять не надо, ребенку ясно! А вот дальше как, хотите знать? Дальше я представляю себе так: «А ну, Юлчибай!»— и мы возьмем в руки винтовки. А иначе как?!

Комиссия работает с утра до глубокого вечера, иногда работает и ночами. Чайрикеры и батраки похожи на маленьких детей, которые ходят с лопаточками в руках вокруг котла с сумалаком\*: они с величайшей готовностью отвечают на любой вопрос, они спешат выудить у человека, только появившегося здесь, любые новые сведения; грамотеев они заставляют прочитывать вслух газеты, в которых печатаются материалы, имеющие даже самое отдаленное отношение к земельной реформе; и, наконец, всеми силами стараются помочь комиссии побыстрее окончить подготовительные работы. Землевладельцы при допросах, наоборот, стараются дать неверные сведения о своих землях, прикидываются придурковатыми или глухими, приводя этим батраков в исступление, всячески тянут время.

---

\* С у м а л а к — обрядовое блюдо типа киселя из крупы и пшеницы.

Вот стоят перед комиссией двое. Один — дехканин-середняк, второй — крупный в округе землевладелец. Дехканина-середняка бросает в дрожь, как только он входит в комнату. Кое-как усевшись и едва оглядев членов комиссии и активистов из батраков, сидящих поодаль, он начинает говорить, не дожидаясь вопросов:

— Земли у меня всего тридцать два танапа. В газетах пишут, что будут отбирать земли сверх сорока танопов, а у меня тридцать два. Так что, если отберете, братцы, то это будет несправедливо... Государство наше за бедняков, да я-то — не бай...

Дехканин говорит дрожащим голосом, и председатель комиссии прерывает его, торопясь успокоить:

— Не только не отберут, но, если надо, прирежут еще!

Дехканин понемногу приходит в себя. Он уже приложил палец к заполненной анкете и, встав с места, торжественно глядит на батраков, сгрудившихся сзади.

— Эй, вы, Кучкарбай, Сатторкул, Юлчибай... Вот, вы сами слышали, что сейчас сказал председатель-ака? Пусть не дадут мне земли, ладно, обойдусь! По мне бы только мое не тронули! А вы слышали своими ушами — сказано, что подписано: мою землю оставят мне!

Он ушел, поминутно оглядываясь назад и с порога еще раз напомнив: «Мне дали честное слово!»

Вслед за ним в комнату вошел человек высокого роста, в старом, заношенном чапане, с всклокоченной бородой с проседью, с глазами, сузившимися и покрасневшими от бессонницы. Ни на кого не глядя, вошедший остановился перед столом комиссии. Говор в чайхане вдруг утих, и в дверях появилось несколько любопытных лиц. Юлчибай тихо толкнул Саиди, складывавшего какие-то бумаги, и кивком головы показал ему на вошедшего. Внимание и взгляды всех были обращены на этого человека, все ожидали его ответов.

— Ваше имя? — спросил председатель, обмакивая перо в чернильницу.

— НиязMAT, сын Дусмата...

Юлчибай насторожился, словно ожидая, что вот-вот лопнет туго натянутая струна, и негромко сказал:

— Уважаемый хаджи, имя надо говорить полностью... — и рукавом чапана зачем-то вытер губы.

— А ты знаешь мое полное имя? Говори, если знаешь!..



Председатель, глянув сначала на Юлчибая, затем на Ниязмата, прибавил слово «хаджи»\*.

— Сколько у вас земли?

— Танапов сорок-пятьдесят...

Юлчибай и другие батраки, стоявшие за ним, заволновались. Поднялся тихий говор, шум.

— Тихо, товарищи,— сказал председатель и продолжал:

— Обрабатываете сами?

— Сами... Есть и чайрикер.

— Работники тоже есть?

— Свой человек, родственник... Не работник!

— Ладно. Как зовут этого вашего родственника?

— Запоматовавал его имя...

Люди, окружившие плотным кольцом стол и стоявшие у входа, хором сказали:

— Ибрагим, сын Рахматуллы!

Ниязмат-хаджи побагровел, как человек, проигравший крупную ставку в азартной игре. Злясь и нервничая, он оглядел всех и, не находя, что сказать, вдруг накинулся на Юлчибая:

— Какой ты доносчик и сплетник, однако! Чего добиваешься своими доносами?.. Бог дает каждому, соразмерно с его характером и качествами. Зря ты так, братец!..

Многие прыснули, многие засмеялись. Достав из вороха бумаг анкету Ибрагима, сына Рахматуллы, Саиди вслух прочитал ее:

— Ибрагим, сын Рахматуллы... Батрак у бая Ниязмата-хаджи, сына Дусмата. Упомянутый бай в одном месте имеет двести семь танапов и в другом месте сто семьдесят три танапа земли...

— Всего — триста восемьдесят танапов,— с невинным видом подытожил Юлчибай, отворачиваясь в сторону.

По комнате прокатился такой хохот, словно где-то рядом свалили целую арбу гравия. Ниязмат-хаджи густо покраснел, лоб его покрылся капельками пота. Поднявшись с места, он что-то говорил, обращаясь к Юлчибаю. Среди взрывов смеха его голос был едва слышен:

— Эх, ты-ы!.. Босяк... бог у нас ведь один, пророк ведь один у нас...

---

\* Х а д ж и — человек, совершивший х а д ж — паломничество в Мекку.

— Так пусть и земля, и вода, и все богатства будут едины!— в тон ему быстро ответил Юлчибай, снова отворачивая лицо в сторону.

Новая волна смеха прокатилась по комнате, только Юлчибай сохранял серьезность.

...Так проходило время командировки. До возвращения в город остались считанные дни, но никто из тех, кто разъехался по кишлакам, не заговаривал об этом. Имена некоторых появлялись то под сведениями, присылаемыми из кишлаков в комиссию, то под газетными заметками о ходе земельной реформы. Уже заканчивался срок мобилизации, когда стало известно, что пребывание в кишлаке продлено на неделю. К собственному удивлению, Саиди при этом известии не испытал ни малейшего чувства протеста. Он почему-то не очень спешил вернуться в город.

Однажды Саиди довольно рано, еще в сумерках, вернулся с работы в общежитие. Было пусто, стояла нежилая тишина. Эту минуту нарушали, впрочем, треск и шипение сырых дров, горевших в печке. Зажигая лампу, Саиди вдруг услышал, что кто-то скребется в дверь, как кошка. Он быстро подошел к двери и распахнул ее.

— Ассалам алейкум, сын льва!— прозвучал старческий голос, и прежде обладателя этого голоса в комнату со стуком вползла палка. Саиди быстро посторонился.

Очень маленький человек, похожий на дикую морковку, взобравшись с помощью своего посоха на стул, вытащил из кармана какую-то бумагу и подал ее Саиди. Засветив, наконец, лампу, Саиди торопливо пробежал написанное. Письмо было странное, буквы шли вкривь и вкось. Кое-как Саиди все-таки разобрал следующее:

«Настоящим сообщаем вершителям земельной реформы о том, что мы, простые и бедные подданные, вечно молимся за наше правительство... Правительство проявляет столько заботы и милости к бедным и сирым, неимущим, и мы считаем своим долгом молиться за него... ибо жертвовать пищей, хлебом и одеждой бедным и неимущим велел сам господь бог, и того, кто так поступает, милует он же...

За сим поставил свою подпись имам\* Чинорлинского прихода

*мулла Мирбоки, сын Миршоди...*»

---

\* И м а м — мусульманский священник.

— Хорошо,— сказал Саиди пришельцу.— Это письмо я передам в комиссию.

— Сын льва,— заговорил имам хриплым и вместе с тем льстивым голосом, приложив обе руки к груди,— лучше бы в газету... Пусть бы знал весь народ... да исполнятся все ваши желанья!.. Да превратится горсть праха в вашей руке в золото...

Он долго хрипел, приводя изречения и хадиссы\* из корана, доказывающие пользу благотворительности. Чтобы скорее покончить с этим разговором, Саиди пообещал завтра же отправить письмо в редакцию газеты. Имам, все не умолкая, вышел из комнаты и напрямик отправился на хатми-коран\*\* . А там, глядя в глаза своим прихожанам, в том числе и Ниязмату-хаджи, не моргнув, соврал: «Только что меня вызывали власти и, приставив мне ко лбу пистолет, потребовали от меня признания земельной реформы делом богоугодным и заставили подписать это признание».

## XVII

Саиди, Рахимджан Саиди, не торопился уезжать из кишлака.

Вначале он здесь мучился, не умея войти в курс дел и приспособиться к новой для него обстановке. Но после того как приноровился, настроение у него резко изменилось. В голове созрели не один и даже не два рассказа, совершенно готовых: казалось, только взять и изложить их на бумаге. А потом все они, если их нанизать на одну нитку, обещали стать неплохим романом. Герой в этих рассказах один, хоть он и носит различные имена. А события не только связаны между собой, но порождают одно другое. Второе проистекает из первого и само становится причиной возникновения третьего...

За день до того, как вместе со всеми товарищами выехать в город, Саиди, возвращаясь в общежитие, встретил Мурадходжу-домлу. Встреча была настолько неожиданна для юноши, что он глазам своим не поверил. Но это был

---

\* Х а д и с с ы — к а н о н ы в к о р а н е.

\*\* Х а т м и - к о р а н — чтение корана во время уразы (му-сульманского поста).

действительно Мурадходжа-домла! Он шел в той же своей шубе с голубым верхом, в казахском тельпеке на голове, шел — переваливался своей утиной походочкой. Саиди сразу решил про себя, что, поравнявшись с домлою, он поклонится, но не знал, надо ли здороваться с этим почтенным человеком. Не задержит ли он домлу? Пока Саиди размышлял об этом, домла сам решительно подошел к нему и протянул руку. Лицо у него было приветливое, он казался очень вежливым, и слова его ни в малейшей степени не ущемляли самолюбия Саиди. «Видно, Салимхон толковал ему обо мне?» — подумал Саиди и несколько возвысился в собственном мнении. Не выпуская руки Саиди из своей, домла повел его в переулок. Саиди было неловко спросить, куда его ведут. Да и домла не давал ему говорить.

Рослый молодой дехканин, стоявший у небольшой неказистой на вид калитки в самом конце переуллка, почтительно поклонился шедшему несколько впереди домле и уступил ему дорогу. Он отвесил такой поклон и Саиди. Саиди ввели в темный тупичок между калиткой и двором. Где-то близко, по-видимому за стеной, заржала лошадь, чей-то голос сказал: «Ну!» Голос звучал глухо, словно исходил из подвала. Еще где-то крошили солому или клевер на резаке, слышалось размеренное: «кырт, кырт». Саиди ощупью шел за домлой. Дойдя до конца прохода, он увидел открытую дверь в хлев и заглянул туда. Из хлева пахло навозом и теплом, а внутри кто-то ходил среди множества овец с плоской в руках. Саиди вышел во двор, и в нос ему ударил свежий, морозный воздух.

В окне, обращенном на террасу, была видна низко припущенная висячая лампа. У входа домла посторонился, пропустив Саиди вперед. В передней стояло множество кавушей\*, из комнаты слышался гул голосов. Когда домла вступил в переднюю, гул утих, и средняя дверь растворилась. Показался человек средних лет с непомерно широким ртом, с покатым лбом, похожий на обезьяну. Поздоровавшись с Саиди, он почтительно пригласил его в комнату. Здесь около десятка людей, выстроившихся по обе стороны двери, так же церемонно поклонились Саиди, и указали ему на самое почетное место за сандалом. Никто

---

\* К а в у ш и — кожаные галоши.

из них не осмелился сесть до тех пор, пока домла не вошел в комнату и не уселся.

Саиди узнал только двоих: один из них был тот самый Ниязмат-хаджи, который несколько дней назад «запамятовал» имя своего родственника-батрака, а вторым оказался имам, который вчера приходил к нему. Оба они сейчас не осмеливались смотреть в глаза Саиди и все время избегали его взгляда. Имам сидел, зажатый в углу, и старался стать невидимым, а хаджи поспешил выйти из комнаты. Воцарилась тишина. Было слышно, как тикали часы у кого-то в кармане. Ниязмат-хаджи внес на блюде плов. Человек с обезьяньим лицом достал из ниши кувшин с вином, разлил его по пиалам, и лишь после этого за столом заговорили на разные темы.

Когда перевалило за полночь, Саиди попросил разрешения удалиться. Все посмотрели на Мурадходжу-домлу, ожидая его ответа.

— Что так?— сказал домла и поднялся.— Я приехал сюда, услышав, что вы находитесь здесь. Хотелось хоть несколько дней повеселиться, поговорить... Да вы бы остались лучше, поработали бы еще...

— Университет вызывает.

— Но если вы скажете, что считаете нужным поработать еще одну-другую недельку?..

Не отвечая, Саиди поклонился и направился к двери. Человек, похожий на обезьяну, проводил его до улицы и сказал, прощаясь:

— Я бы и до дома проводил вас, да сами знаете... в кишлаке у нас очень много всяких сплетников и доносчиков...

Поблагодарив его, Саиди вышел на улицу и, закутавшись поплотнее, направился в сторону базара.

В общежитии было темно, товарищи все уже спали, огонь в печке потух, и в комнате было холодно. Раздевшись в темноте, он забрался в холодную постель и обнял свои согнутые колени.

## XVIII

— Пойдем, Мунис, сходим на собрание интеллигенции,— сказал Саиди в один из январских дней, спускаясь по университетской лестнице.— Там будет интересный народ. Послушаем доклад председателя исполкома области.

Крупными и пушистыми хлопьями валил снег. Уткнув личико в меховой воротник своего пальто, Мунисхон протянула руку Саиди, чтобы тот помог перейти скользкий тротуар, но, услышав эти слова, отняла руку и остановилась на последней ступеньке лестницы, точно собираясь вернуться назад.

— О Саиди,— проговорила она,— всегда ты выдумашь что-нибудь немыслимое! Я с трудом высиживаю на собраниях, где наше присутствие обязательно. Не доставало, чтоб я еще своей волей ходила на собрания, да?..

— Вполне возможно, что на этом собрании будут разговоры по поводу моего выступления против Мурадходжи-домлы,— сказал Саиди и, поднявшись на ступеньку, взял ее под руку.

Мурадходжа-домла опубликовал в областной газете небольшую статью по поводу земельной реформы. Начав статью с истории области, Мурадходжа-домла все вопросы, от того, когда и с какой стороны поднимается ветер и кончая количеством выпадающих в горах осадков, связал с земельной реформой.

Вывод же, конечно, был таков, что для проведения этой реформы в условиях области нужны еще многие и многие годы.

Статья увидела свет только потому, что домла в этот период по совместительству пристроился в редакции газеты. В ответ на его выступление пришло четыре возмущенных и негодующих письма. Собственно это были даже не письма, а четыре законченных статьи. Авторы их, особенно Кенджа, единодушно обрушивались на домлу, обвиняя его в прямой контрреволюции. Ни одну из этих статей домла редактору не показал. Более того, он от имени редакции обратился в центральные газеты с официальной просьбой не распылять сил и не публиковать материалы, направленные против его выступления, если они поступят к ним, а присылать все в редакцию областной газеты, страницы которой открыты для широкого диспута и каждый отклик найдет-де подобающее ему место. Это письмо домла подсунул редактору среди множества других адресованных корреспондентам и селькорам писем с требованием слать побольше материалов о ходе земельной реформы, и редактор подмахнул его не читая.

В тот же день Аббасхон пригласил Саиди к себе домой. Он проявил удивительную осведомленность обо всех де-

лах Саиди и подробно рассказал ему о неприятных разговорах в ячейке факультета после поездки в кишлак. Мимоходом Аббасхон сказал: «Я вообще ревниво слежу за вами и всегда спрашиваю о вас».

По словам Аббасхона выходило, что после возвращения Саиди из кишлака бюро факультетской комсомольской ячейки специально обсуждало его работу на проведении земельной реформы и даже вынесло решение, в котором говорилось, что у Саиди очень мало качеств настоящего комсомольца. Не выступи от имени райкома комсомола Шариф в его защиту и не предложи он еще раз испытать его на конкретном поручении, Саиди бы уже лишился комсомольского билета. А главное, тут же нашлись любопытные, заинтересовавшиеся тем, каким путем Саиди попал в университет и каково его прошлое. Обо всем этом Аббасхон рассказал Саиди и вдруг, без всякого перехода, резко спросил, читал ли он, Саиди, статью Мурадходжидомлы. Оказалось, что Саиди статью читал.

— А не выступить ли вам против этой статьи?— прищурившись сказал Аббасхон.— По крайней мере, погасите все разговоры вокруг себя...

Саиди согласился.

План выступления составил сам Аббасхон. Когда пробило половину второго ночи, Саиди, поставив под статью псевдоним, протянул ее Аббасхону, лежавшему на диване с книгой в руках. Прочитав ее, тот выправил некоторые места и, зачеркнув псевдоним, поставил фамилию Саиди. Затем велел завтра же перебелить статью и вручить ее редактору в собственные руки. Через два дня статья Рахимджана Саиди под скромным заголовком появилась на четвертой полосе газеты.

С тех пор он не виделся с Мурадходжой-домлой. А сегодня Мунисхон показала ему на него на собрании интеллигенции. Домла сидел в середине. Он был багров, и пот лил с него, словно он только что вышел из бани; на скулах выступили желваки. Кенджа, с его плотной фигурой и густой шапкой очень черных волос, выглядел на трибуне весьма внушительно. Свое выступление он закончил так:

— Ошибку надо отличать от преступления. А тут мы имеем дело вовсе не с ошибкой и даже не с заблуждением, тут — прямое преступление, направленное против интересов крестьянской массы!

✓ Раздались бурные аплодисменты — речь Кенджи многим показалась вполне убедительной. Сам Мурадходжадомла то и дело поднимался с места и тут же садился. Каждый раз, поднимаясь, он махал руками, как тонущий и не умеющий плавать человек. В гуле голосов едва можно было различить его выкрики:

— Дайте мне слово!.. Дайте же слово!.. Кто смеет говорить, что я — не революционер?

Салимхон, который вел собрание и был достаточно опытным председателем, беспрерывно и тщетно звонил в колокольчик, чтобы успокоить зал. Наконец он вышел из-за стола и, подойдя к самому краю подмостков, поднял обе руки. Аплодисменты умолкли. Воспользовавшись паузой, домла снова поднялся с места и выкрикнул:

— Я — революционер... Прошу слова!..

И тотчас вновь загудел весь зал. Сквозь свист, хлопки и возгласы Салимхон отчетливо различал главное: зал требовал не давать слова Мурадходжедомле.

Внезапно из последнего ряда на кафедру протиснулся пожилой человек среднего роста, с остренькой бородкой и в халате, поверх которого лежал отложной воротник камзола.

— Люди добрые!— воскликнул он, энергично засучивая рукава халата до локтей.— Что есть земельная реформа? Земельная реформа есть не что иное, как результат Октября, его продолжение. Следовательно, земельная реформа тоже своего рода революция! Страна наша — страна земледелия. К примеру, байские хозяйства, составляющие всего три процента всех хозяйств в нашей области, владеют пятьюстами-шестьюстами танапов земли каждое! Остальные девяносто семь процентов хозяйств имеют ничтожные клочки земли или вовсе ничего не имеют! Это знает каждый из нас. Не хуже нас знает об этом и Мурадходжа. Кто же не понимает, что в результате проведения земельной реформы это соотношение круто изменится и экономика нашей страны резко поднимется! Как же можно выступать против земельной реформы?! Выступать против — это, знаете ли, просто нехорошо... Наоборот, мы, вся интеллигенция, должны, как выразился товарищ Кенджа, приветствовать подобное начинание коммунистической партии. Приветствовать и помогать! К примеру, приближаются зимние каникулы. К примеру, лично я выра-



О жаю готовность поработать пятнадцать-двадцать дней во время зимних каникул на пользу земельной реформы и от всей души выполню любое задание, которое сочтут нужным поручить мне.

Вновь вспыхнули шумные аплодисменты. Не обращая внимания на множество поднятых рук, председатель кивком головы предоставил слово Аббасхону. Аплодисменты, шум и гул голосов не утихали до тех пор, пока на кафедру не взобрался Аббасхон.

— ...Земельная реформа, безусловно, дело хорошее, — неторопливо и монотонно бубнил он. — А если найдутся такие, которые скажут, что реформа — дело плохое, то и пусть себе говорят. Народная мудрость утверждает, что истина рождается в споре. Если бы не было противников реформы, то и из хорошего дела ничего бы не вышло. Здесь многие выступили в защиту земельной реформы. Ну что же? И это полезно, ибо, если бы они не выступили, то кое-кто остался бы в неведении, а кое-кто унес бы отсюда сомнения. Но разберемся, что послужило причиной этих выступлений в защиту земельной реформы? Причиной послужила ошибочная статья Мурадходжи-домлы, то есть то, что он сказал: «Это плохо!» Конечно, Мурадходжа-домла мог попросту ошибиться, мог не понять сути земельной реформы! К чему же здесь разводить бесконечную болтовню о том, ошибка ли это, заблуждение или преступление?..

— Это не болтовня! — отчаянно крикнул кто-то из зала. — А вот вы, Аббасхон...

— Хорошо, допустим, — быстро, не давая крикнувшему закончить мысль, перебил Аббасхон. — Знай я автора ответной статьи, то есть будь я на месте Саиди, быть может, я быстрее, чем он, понял бы, что является ошибкой, а что — преступлением. Но как бы то ни было, а его статья — достойный ответ на выступление домлы. И надо помнить, что от животного человек отличается двумя свойствами. Одно из них — излагать свои мысли, другое — ошибаться. Там, где есть человек, там всегда есть и ошибка. Все дело лишь в том, как быстро исправить эту ошибку. Мы убеждены в том, что Мурадходжа-домла признает свою ошибку и вместе со всей красной интеллигенцией будет бороться за социалистическое общество.

Теперь весь зал смотрел на Мурадходжа-домлу, так долго и безуспешно просившего себе слова. Теперь домла

поднимался с места столь медленно, что каждая секунда грозила превратиться в вечность.

— Я понимаю,— сказал он,— ошибся я, но разве я говорил, чтоб не было земельной реформы? Докажите мне, что я сказал именно это. Я лишь сказал, что это дело трудное. Правда, в этом деле никак нельзя обойтись без помощи всех трудящихся, в том числе и интеллигенции... Я это понимаю и признаю. Когда я недавно ездил в кишлак, то там все время разъяснял членам Союза Кошки пользу реформы...

Саиди, боясь, что его призовут в свидетели, спрятался за спины людей. Домла продолжал:

— Как правильно сказал Салохитдин, скоро наступят зимние каникулы. Тогда, конечно, все мы пойдем по пути, указанному партией. Людям пожилым трудно подчас шагать в ногу с молодыми, ноги уже не те. Сорок лет—самая высшая точка, вершина в жизни человека; перевалив ее, человек начинает спускаться вниз, ко второму виду своего детства. Но можно ли с детей спрашивать, как со взрослых? К любой ошибке может привести наша темнота и слепота. Отныне я, конечно...

Последних слов домлы никто не расслышал. Впрочем, выступление его сыграло свою роль: разговор по этому поводу стих. Очередной оратор говорил уже о задачах интеллигенции в проведении земельной реформы, о которых предыдущий докладчик забыл упоминуть в своем докладе.

Мурадходжа-домла медленно вытер со лба пот, нагнулся, поднял с полу упавшую шубу и, не обращая внимания на окружающих, начал стряхивать с нее пыль. Тут он увидел Саиди. Саиди стоял рядом с Мунисхон, прислонясь к стене. Тихо и осторожно приблизившись к ним, домла своей мягкой и горячей рукой схватил руку Саиди. Саиди, внимательно слушавший оратора, от неожиданности вздрогнул.

— Почему вы не выступаете?— тихо спросил домла.

— А что я скажу?— возразил Саиди, не глядя на него.

— Ну, задайте хотя бы несколько вопросов. Вам надо показать себя именно на таких собраниях, где много приличных и порядочных людей. Это для вашей же пользы. Видели, как Кенджа выступает? То-то! Я напишу два вопроса, а вы передадите в президиум.

Саиди молча кивнул, и домла, отойдя в сторону, через минуту незаметно подал ему бумажку. На бумажке было написано:

«1. А может ли человек добровольно передать свою землю другому?»

2. Будут ли отобраны земли у городских учителей?»

Прочитав вопросы, Саиди прошептал домле на ухо:

— Очень сожалею, но сейчас у нас на факультете тоже начнется собрание. Я должен спешить...

Домла прошел на свое место и сел. Саиди, тихо подтолкнув Мунисхон, взглядом показал ей на выход. Мунисхон поняла. Выйдя на улицу, она остановилась под раскачивающейся на ветру сильной электрической лампой. Снег перестал, но ветер не унимался. Сметая снег с крыш, он бросался в стекла окон, бился о стены. *it*

Саиди подошел сзади и молча взял Мунисхон под руку. Долго шли они не разговаривая.

— Знаешь,— сказала вдруг Мунисхон,— тебе помогла эта твоя статья. Иначе тебя бы выгнали из факультета. Я не хотела говорить раньше, чтобы не огорчать тебя. Ты думаешь, нет комсомольцев, которые все еще косо смотрят на тебя?..

— Да вот хоть Кенджа! Ты слышала, он говорит, что эта статья хотя и написана против Мурадходжи-домлы, но на самом деле защищает его! Но, правда, он хорошо сказал.

Дойдя до своей махалли\*, до темной улицы, Мунисхон остановилась.

— Дальше ты не ходи, Рахимджан... Сам знаешь, если кто-нибудь из махаллинских увидит...

Не выпуская ее теплых и мягких рук из своих, Саиди обиженно упрекнул ее:

— Всегда ты вот так, Мунис... Ну, разреши, еще двадцать шагов, всего двадцать шагов...

Мунисхон согласилась, и, отсчитав еще двадцать шагов, они снова остановились.

— А теперь...— сказал он и, положив руки на плечи Мунисхон, потянул ее к себе.

— О, нет, нет...— она уперлась ладонями в его грудь.— Нет, Рахимджан... Не распускай себя...

---

\* Ма х а л л я — квартал.

Выскользнув из его объятий, она убежала, крикнув, что ожидает его завтра, к одиннадцати.

## ХІХ

На другой день, придя к Муниسخон в назначенное время, Саиди почувствовал себя очень неловко. Отворив дверь, он даже остановился: комната была полна народу. Салимхон, сидевший как раз напротив заложив ногу за ногу, встал и, пройдя сквозь сиреневый папиросный дым, приблизился к нему, поздоровался и потянул его в комнату. Саиди поклонился людям, которых знал понаслышке, и скромно уселся на стуле у двери. Молодой красивый человек, заведующий агитпунктом туменского парткома, сидевший у окна, закрыв руками рот и нос, словно защищаясь от неприятного запаха, кивком головы ответил на его поклон. На диване сидели двое, один из них был управляющий делами облисполкома, а второй — начальник водного хозяйства области. Остальных Саиди не знал даже в лицо.

Все они выглядели, как люди, пораженные общей бедой и не знающие, какой выход окажется наиболее надежным и гарантирует им спасение. Управляющий делами исполкома, не обращая внимания на свой испачканный пеплом костюм и выпуская углом рта тонкую струю дыма, выразительно поглядел на Салимхона, как бы говоря хозяину: «Если у этого человека есть к тебе дело, то кончай поскорее и пусть убирается отсюда». Саиди понял его взгляд раньше, чем Салимхон. Закурив от тлеющей папиросы новую, Салимхон громко представил Саиди своим гостям:

— Этот молодой человек — начинающий талантливый писатель, студент... комсомолец. Я слышал, будто вы начали весьма злободневный роман, — обратился Салимхон к Саиди, — скоро закончите?.. Отчего не показываетесь у нас?

Покраснев, Саиди опустил глаза.

— Саиди пишет роман на тему о земельной реформе, — сказал Салимхон спустя немного времени, перебивая одного из незнакомых Саиди гостей.

Тот жаловался на трусость и непринципиальность некоего писателя. Не обратив внимания на слова Салимхо-

на, он продолжал убеждать управляющего делами исполкома:

— Я сам проверял. Нашел людей, о которых писал автор. И нашел быстро, потому что мне было известно, кто в это время собирался выдавать насильно дочь замуж. А трусость писателя в том, что и этому человеку, и девушке, и будущему жениху он дал другие имена. Ну ладно, пусть так. Девушку, ее отца и жениха я вызвал к себе на допрос. Девушка обо всем подробно рассказала. На другой день вызываю того писателя. Вы бы только поглядели на него! Ничего не признает! Говорит: «Я совершенно не знаю этих людей и никогда ничего про них не писал». И еще сердится: «Это, мол, не фельетон, а рассказ!» Каково?! Так я ничего и не добился. Пришлось прекратить дело, но уж теперь меня никто не переубедит, что писатели самые трусливые из всех интеллигентов.

Салимхон засмеялся. Другие даже не обратили внимания на рассказ следователя. Саиди уже и раньше заметил, что среди гостей Салимхона сегодня царит странная и тревожная растерянность. Видя, что присутствующие не имеют особого желания продолжать беседу на эту тему, Саиди промолчал. Промолчать было тем труднее, что его буквально мучило желание объяснить следователю, хотя бы вкратце, основные принципы художественного творчества. Салимхон переглянулся с Саиди, усмехнулся и сказал: «Вышло, как видно, недоразумение». Следователь вопросительно посмотрел на него. Салимхон же, словно позабыв о только что сказанном, отвернулся и заспорил о чем-то с начальником водхоза. Следователь повернулся к Саиди.

— По-моему, в этом случае неправы вы, а прав тот писатель,— собравшись с духом, твердо сказал Саиди.— Расследуются газетные материалы, построенные на реальных фактах,— например, фельетоны. Но рассказы — никогда. Рассказ можно анализировать с позиций литературоведения, рассказ можно обсуждать с точки зрения типичности написанного, но не расследовать. Рассказ пишется не для показа хороших или плохих сторон одной какой-то личности. Тип, выведенный в удачно написанном рассказе, можно сотнями, тысячами найти в разных уголках страны...

Следователь нетерпеливо прервал его:

— Но ведь пишется о том, что было, что случилось, не так ли? Или все — выдумки?

— Пишется о явлениях, а не об отдельных случаях, Обобщенно, понимаете?

Следователь, однако, продолжал отстаивать свою точку зрения, и Саиди пришлось начинать сызнова. В спор вступил и управляющий делами исполкома, который взял сторону Саиди, но утверждал: «Литература неправильно отображает жизнь». Так и не поняв того, что втолковывал ему Саиди, следователь, громко зевая, растянулся на диване.

— К примеру, вот вы,— говорил управляющий делами исполкома усталым от спора голосом,— вы теперь пишете роман. В нем вы отобразите, как проводилась земельная реформа. Вы всю правду отобразите? Сомнительно!.. Потому что, если вы скажете: земельная реформа — дело плохое, то роман ваш наверняка не напечатают; если же скажете: дело хорошее, то правильность вашего мнения не потребует никакого доказательства. Не так ли?

Саиди покачал головой.

— До поездки в кишлак и я думал, что земельная реформа — «правда принуждения». Но там я все увидел своими глазами... Для тех, кто заинтересован в земельной реформе — а ведь их подавляющее большинство!— это дело доброе, а для тех, кто лишился земли... ну, конечно, чего уж хуже!

Управляющий делами хотел было что-то возразить, но тут вдруг распахнулась дверь, и он умолк. На пороге стоял Мурадходжа-домла, закутанный в свою знаменитую шубу из голубого сукна. Увидев большое общество, он несколько растерялся. Салимхон пригласил его войти и поздоровался так, словно давно с ним не виделся. Почти все присутствующие удивленно переглядывались друг с другом и все посматривали на Салимхона, точно спрашивая: «Что здесь надо этому человеку?» Салимхон так холодно встретил домлу, что Саиди почувствовал жалость к нему.

— Я пришел по такому делу,— сказал домла после неловкой паузы. — Один человек принес ко мне часть архива, оставшегося во дворце эмира бухарского после его бегства за границу. Разумеется, находка стоит немалых денег. Если отдел просвещения сочтет возможным приобрести обнаруженные документы для городской биб-

лиотеки, то я оставлю их у себя. Документы эти состоят из различных указов, повелений. Если вам угодно посмотреть их, то я их принесу к вам...

Салимхон был раздосадован тем, что Мурадходжа-домла пришел не вовремя и некстати, но когда тот так ловко нашелся, лицо его прояснилось. Домла выдвинул очень удачный повод, и Салимхон был вполне уверен, что если бы понадобилось, то домла непременно принес бы и самый архив.

Итак, Саиди не удалось продолжить спор.

Немного погодя появилась, наконец, Мунисхон, и Саиди потихоньку попросил ее увести его под каким-нибудь благовидным предлогом. Мунисхон отлично выполнила просьбу Саиди. Уже в соседней комнате, где они оказались вдвоем, Саиди с нервным возбуждением принялся рассказывать ей обо всем, что произошло там. Плотной прикрыв дверь, Мунисхон уселась напротив него и, близко наклонившись к нему, зашептала:

— Их семь человек, ответственных работников, и они собираются подать коллективное заявление в областной комитет партии с выражением протеста против земельной реформы. Они хотят привлечь к этому делу и моего брата. Но вчера приходил Аббасхон и просидел у брата до полуночи. Аббасхон против того, чтобы брат включился в эту группу: «Случись что-нибудь, — говорит Аббасхон, — немедленно исключат из партии. Лучше направлять других, а самому стоять в стороне, под любым предлогом откажись вступать в их группу». Но сам Аббасхон против реформы. Он говорит: «Реформа вырвет из наших рук село»... Наверно... хочет сказать, что будет плохо... Пока что брат держит себя нейтрально.

— Но в действительности-то он против реформы? — спросил Саиди, удивляясь тому, что так свободно говорит с Мунисхон о мужских делах.

— А ты?

— Понимаешь, я был против, пока не съездил в кишлак... Но теперь я за проведение реформы. Это справедливо.

— А мне все равно. Земли у нас нет никакой. Впрочем, у Аббасхона ведь тоже нет...

То, что Саиди услышал от Мунисхон, перевернуло ему душу. Такое двуличие! Ответственные работники, члены партии выступают против земельной реформы, а заведующий

агитпропом туменского комитета партии молчит! Саиди негодовал. Но печальнее всего было то, что он сразу остыл к начатому роману. Он представить уже не мог, как снова возьмется за эти листы, которые так любил еще сегодня утром.

А поверх всех его мыслей плавало, как пробка на поверхности воды, мрачное предсказание Мурадходжидомлы о том, что «земельная реформа приведет узбекские кишлаки к разрухе и разорению».

У Саиди защемило сердце, он чувствовал, что задыхается. Излить бы душу верному другу, да... ни друга такого, ни твердого убеждения...

Пораздумав, Саиди вдруг пришел к странной мысли: стоит ли придавать так много веры словам Мунистон? Девушка сболтнула невесть что... Но когда он под каким-то предлогом снова очутился среди гостей, то и с этой надеждой пришлось расстаться. Бедняга Саиди чуть не вскрикнул, услышав, о чем они говорили...

— Если партии угодно руководить правительством, то пусть себе руководит, сколько ей угодно, — говорил домла, — но критиковать ее действия имеет право даже любой беспартийный. Не могу я молчать, когда, игнорируя заслуги старых интеллигентов перед революцией, всех, кто против реформы, объявляют контрреволюционерами! Разве мало сделали старые интеллигенты для революции? Вот он, я. Кто был в первых рядах революции?! Не хватало теперь, чтобы мои революционные взгляды обсуждало такое ничтожество, как Кенджа!

Домла говорил с пафосом, не стесняясь ничьим присутствием. Но Саиди заметил, что когда он вошел, заведующий агитпропом устранился от беседы и уселся в сторонке, перелистывая какую-то книгу. Сделал он это столь демонстративно, что и остальные один за другим умолкли. Беседа была скомкана, Саиди, глубоко оскорбленный в душе, поднялся, чтобы уйти, и никто, кроме Салимхона, не обратил на это внимания. Да и тот лишь рассеянно помахал рукой.

Вернувшись в свою комнату, Саиди схватился за рукописи, которым было отдано столько бессонных ночей, столько сердца и мыслей. Обливаясь слезами, он перелистывал совсем еще свежие страницы. И никто не остановил его, никто не крикнул: «Чудак, зачем ты?», когда он начал судорожно рвать листы, засовывая их в печь и вороша ко-



чергой, чтобы скорее, скорей прогорев, они превратились в пепел.

Спустя неделю Саиди прочел в передовой статье центральной газеты: «...Перед большевиками Узбекистана продолжают стоять великие задачи, требующие как никогда единства партии. И в это серьезнейшее время нашлись в этой области ответственные работники, подавшие заявление с просьбой об освобождении их от занимаемых ими должностей. Они, эти работники, проявили страх перед твердой классовой политикой партии, страх, ни на чем не основанный. Заявление этих работников направлено против единства партии, они пытаются нарушить ее монолитность и свернуть с правильного пути. Но партия дала им достойный отпор. В рядах партии, ведущей трудящиеся массы от отсталой экономической системы через величайшие трудности к социализму, не должно быть места людям колеблющимся, людям, ставящим свои личные интересы выше интересов партии и народа...»

Выступление группы ответственных работников в течение многих недель оставалось предметом обсуждения на страницах всех газет. Но постепенно шум по этому поводу стал утихать. Появились новые заботы и новые лозунги, и в газетах запестрели новые заголовки: «Победное шествие земельной реформы», «Те, кто укрывают свои земли,— враги трудящихся», «Привет вам, герои земельной реформы».

## XX

Итак, Саиди стал постоянным гостем в доме Салимхона. Он так сблизился с хозяином, отношения их дышали такой сердечностью и непринужденностью, что Саиди уже не требовалось отыскивать поводы и предлоги для появления у Салимхона в любой день недели.

К тому же Саиди за зиму обзавелся новыми друзьями, и все они в свою очередь были приятелями или знакомыми Салимхона. Среди них насчитывалось немало ответственных лиц, были бывшие воспитатели и учителя Саиди, судебные работники, и, наконец, значительную часть этого пышного общества составляли видные поэты и журналисты. Почти все они без устали превозносили способности и успехи Саиди, предрекая ему большую будущность. Казалось,

некоторых пор скромный студент Рахимджан Саиди превратился в баловня и любимчика всей интеллигенции города; казалось, самые разные по характеру и положению люди души в нем не чают. И естественно, что Саиди, всегда неуверенного в себе, нелюдимого, болезненно-самолюбивого и в общем совершенно одинокого; с каждым днем все больше и больше засасывал этот мирок пустопорожних льстецов и краснобаев.

Новый рассказ Саиди «Юные годы мира», напечатанный вслед за «Каландаром», стал предметом безудержных восхвалений на каждой пирушке, а Мурадходжа-домла, не затрудняя себя изобретением новых острот, каждый раз повторял молодому автору одну и ту же шутку: «Теперь вам надо написать рассказ о сегодняшнем дне старого мира, о его дряхлости!»

На пятничных сборищах преобладали горячительные напитки. Как известно, первая рюмка оживляет беседу, вторая вызывает желание выпить по третьей, а третья и четвертая заставляют закинуть руку на чье-нибудь плечо и изливать душу, жалуются на несправедливости подлунного мира. Но тут почему-то обнаруживается, что все спиртное выпито. В таких случаях Саиди всегда оказывался рядом со своим бывшим учителем Махмуджаном-эфенди.

Длинный, невероятно худой, с лицом помятым, словно скомканный лист бумаги, с постоянно слезящимися подслеповатыми глазами, этот человек говорит долго, монотонно, пересыпая свою речь восклицанием: «Сумел ли я объяснить?»

— Человек получает от жизни лишь ничтожную частицу желаемого, а хочет он гораздо большего; человек несовершенен и требовать еще не умеет. Следовательно, живет он в состоянии постоянного раздражения, ибо жизнь далеко не удовлетворяет его. В результате эта неудовлетворенность рождает вражду и ненависть между людьми, дикость, возникают войны и тому подобные вещи. Вот именно с этой точки зрения я критикую Маркса. Сумел ли я объяснить? Маркс утверждает, что адские мучения одного порождают райские блаженства другого. Нет, тысячу раз нет! Человек далеко еще не совершенен, он даже не достиг еще зрелости. Если такое будет продолжаться, то человек останется великовозрастным ребенком. Но я уверен, что придет время, когда человек достигнет совершеннолетия и детские, наивные качества его останутся позади. Для этого требуется длительный покой. Да-с, покой, покой и покой! Но разделение

людей на классы — не это ли прежде всего нарушает заветный и желаемый покой? Сумел ли я объяснить свою мысль?

Даже Аббасхон, считавший себя марксистом, не обращает внимания на эти бессмысленные разглагольствования. И Саиди, относя своего бывшего учителя к людям ничтожным и жалким, старался не оскорблять его самолюбие. Иногда, когда Саиди случалось возразить ему, Махмуджан-эфенди мягко отвечал:

— Хотя наши убеждения и противоположны, тем не менее выслушайте меня до конца, а там будет видно.

Саиди не интересовался биографией своего бывшего учителя, иначе он узнал бы интересные подробности. Когда мир и покой, столь любимые Махмуджаном-эфенди, были нарушены революцией и она потрясла страну, отец его сорвался, как осенний лист, с вершины своих богатств, состоявших из большой типографии, нескольких гостиниц и другого недвижимого имущества. В то время Махмуджан-эфенди путешествовал за границей, а к его возвращению на родине уже обосновалось новое совершенно не похожее ни на одно из всех существовавших когда-либо Советское государство. О «Шуройи исламийи»\*, про которую он был наслышан, осталась только песня, сложенная народом:

Да сгинет Казы Камаль, благословивший войну!  
Да сгинет сей мракобес, сбивший народ с пути!  
Да сгинут навек скоты вступившие в подлый „шуро“,  
Да сгинет вместе с ними мерзейший Абдурашит.

Махмуджан-эфенди быстро оценил положение и вместе с жалкими остатками «Шуройи исламийи» предпочел забраться в глубокую нору. В таких норах существовали все же ходы и тропы, по которым, если идти осторожно и предусмотрительно, можно было рано или поздно выйти на свет божий. Как раз в это время Махмуджану протянул руку помощи некий турецкий офицер по имени Исхак-эфенди. Исхак-эфенди заведовал тогда областным отделом просвещения. Сотни детей, «сынов Туркестана», были отданы ему на воспитание. В дни, когда Исхак-эфенди покончил счеты с жизнью в каком-то дальнем кишлаке, Махмуджана-эфенди арестовали за растление малолетней. Ему гро-

---

\* Ш у р о й и и с л а м и я — реакционная панисламистская организация.

зила смертная казнь, но его спасли. Кто? Он и сам толком не знал — неизвестные друзья! Походив недолго на воле, он снова был арестован и снова выпущен. Двигалось вперед время, а он, как мусор на решете при просеивании зерна, все больше и больше скатывался к краю. Неизвестные друзья еще старались удержать его на самой середине жизни. Словом, его несло могучее течение, то погружая вглубь, то поднимая на поверхность.

Теперь Махмуджан-эфенди преподавал литературу и был крайне недоволен своими занятиями и своей жизнью. Человечка больше всего гнетет отсутствие надежд на будущее. Потерявшие надежду люди или сгибаются или становятся отъявленными богомолами. Махмуджан-эфенди не чурался ни первого ни второго.

В одну из пятниц на большую пирушку в доме Салимхона вместе с обычными гостями пришли и сотрудники литературного журнала — Ильхам и Якубджан. Якубджан пил мало и во весь вечер не вымолвил ни слова; следующий раз, когда выпито было очень много, он предупредил: «Не троньте меня, у меня кружится голова...» Словом, на этих сборищах, где все болтали безостановочно, Якубджан выглядел довольно странно. Но однажды, в четверг вечером, когда так же вот собрались на пирушку, Саиди случайно оказался рядом с ним и свою очередную рюмку предложил Якубджану. После этого они быстро сошлись во взглядах и настолько хорошо научились понимать друг друга, что, когда в очередную пятницу повстречались в гостинной Мурадходжи-домлы, Якубджан выложил между двумя рюмками своему новому другу Саиди все, что накопилось у него на сердце.

— Кенджа ужасно неприятный человек, — твердо объявил он. — Способен на все. Сам напакостит, а на других сваливает. И при этом смотрит вам в глаза! Вы что думаете, это я задерживал «Каландара»? Да по-моему «Каландар» уже давно должен был печататься! С рисунками! Я сам показал рассказ редактору, сам заказал рисунки к нему. Потом Кенджа зачем-то забрал его. Проходит день, проходит неделя. Нет рассказа! Замотал! Как-то смотрю, ваш рассказ лежит в архиве. Вытащил я его оттуда, снова заказал рисунки. Но Кенджа поджал хвост лишь тогда, когда редактор дал санкцию на печатание. А рисунки, уже готовые клише, он умышленно затерял. Умышленно! Об этом знают Ильхам и Аббасхон. Впрочем, вы сами можете судить о

нем. Слыханное ли дело — вписывать автору целую главу? Чему он вас учит? Куда ведет?

Якубджан опрокинул новую рюмку и умолк, а Ильхам с готовностью подтвердил все рассказанное. И Саиди...

Что ж, Саиди не потребовалось особых усилий, чтобы счесть этих людей своими друзьями и благодетелями.

И ведь действительно, Саиди стал подниматься по лестнице славы, лишь подружившись с этими людьми. Теперь его произведения почти безотказно принимались и печатались очень быстро. А одно стихотворение из его поэтической тетради настолько понравилось Ильхаму, что тот собственноручно списал его и опубликовал в журнале. И, главное, эти люди постоянно подсказывали Саиди темы для рассказов и стихов, постоянно предлагали свою помощь, готовы были даже писать за него, если он жаловался, что работа не ладится. Разве мог идти в сравнение с такими друзьями грубоватый и угловатый Кенджа, прямолинейность которого начала всерьез возмущать Саиди. Дошло до того, что Кенджа стал казаться Саиди просто ничтожеством, пустым местом. Но это «ничтожество» однажды вдруг встало на его пути. Они стали непримиримыми врагами.

Саиди очень импозировал тот круг благожелательных людей, среди которых он теперь вращался; он только и мечтал стать полезным для них и оправдать их благосклонность.

## XXI

Первую важную услугу Саиди оказал Ильхаму.

Однажды, когда Саиди вместе с Мунисхон спускался по лестнице со второго этажа университета, его окликнул по имени какой-то юноша и протянул ему руку. Саиди узнал его: это был Теша, соученик по начальной школе. Перед глазами его сразу встал мальчик, который всякий раз в дни уразы\*, когда поднимали ребят на сахарлик\*\*, засыпал за столом, и в ушах его зазвучал голос заведующего школой, турецкого офицера: «Очнись, Хади, не то обухом по голове ударю!»

\* У р а з а — мусульманский пост.

\*\* С а х а р л и к — обрядовая послеполуночная трапеза в дни поста.

— Какими судьбами?— спросил его Саиди.

— Вот... учусь на рабфаке...— ответил Теша, держась как можно скромнее перед студентом университета.

Они обменялись еще несколькими ничего не значащими фразами.

Мунисхон давно нетерпеливо ожидала Саиди у выхода на улицу. В сущности, Саиди не о чем было говорить с этим юношей, а все, что можно было спросить, уже было спрошено. Оставалось либо пригласить его к себе в гости, либо молча откланяться. Но как раз в это мгновение Теша сказал, что, часто встречая имя Саиди на страницах газет и журналов, ни разу не сумел повидаться с ним, Саиди скрепя сердце дал ему свой адрес.

Теша пришел вечером через два дня. Саиди встретил его очень приветливо. Немногословный, скромный, этот юноша так ему вдруг понравился, что они проговорили до глубокой ночи.

С тех пор Теша стал частым гостем Саиди. Он приходил сюда, не скрывая своих страстных надежд на обогащение новыми знаниями. Более того, он всячески подчеркивал, что только Саиди способен оправдать эти его надежды. После его ухода Саиди самодовольно думал: «Вот юноша, жаждущий моего опытного руководства!»

Однажды Теша пришел посоветоваться насчет статьи, которую он собирался написать. Давно ли сам Саиди искал таких советов? Но все в мире движется, и вот уже он, Рахимджан Саиди, становится опорой другим!

Обычно в беседах Теша молчаливо признавал свое ничтожество. Но в этот раз между ними вспыхнул настоящий спор. Теша, казалось, сначала во всем соглашался с Саиди; однако едва дело подходило к конечному результату, он принимался решительно мотать головой.

Наконец Саиди потерял терпение:

— Чего же вы хотите в конце концов?

— Ничего особенного не хочу, хочу только сказать, что мысли Ильхама-домлы неправильны! Вопрос этот мы решили обсудить на комсомольской ячейке. А вот эту статью я хочу отнести в редакцию.

— Ну и несите, ваше дело.

Это было сказано таким тоном, что Теша понял: дверь комнаты Саиди закрывалась для него навсегда. А Саиди в тот же день рассказал Салимхону о предстоящем обсуждении взглядов Ильхама и о готовящейся статье.

Через два дня Ильхам подал заявление на имя дирекции рабфака с просьбой освободить его от работы. Он ссылался на дальность расстояния рабфака от его дома, и просьбу удовлетворили.

Ильхам еще больше сблизился с Саиди.

— Вот вам сюжет для рассказа, — сказал он как-то в один из весенних вечеров, сидя в городском саду за бутылкой пива. — Бедная вдова с тремя малыми детьми на руках. Зима, стужа. Хозяйство такое, что если распродать, то вырученных денег не хватит даже на покупку фунта хлеба. Вечер. Морозный ветер. Чтобы не умереть с голоду, женщина выходит со своими детьми на улицу. Людской холод кажется ей сильнее холода зимнего. Она падает, дети лежат у тела. Женщина умирает. Ее засыпает снегом. Если хотите, можете умертвить и детей, или пусть уведет их какой-нибудь бездетный.

— Выйдет искусственно, — лениво сказал Саиди. — В жизни этого не бывает...

— Нет, отчего же?.. Я хочу сказать, что если всё это подать умело, то очень чувствительная картина может выйти. И вполне художественно...

Казалось, Саиди остался при своем мнении. Спустя неделю Ильхам принес ему план рассказа. По этому плану рассказ разделялся на три главы: жизнь вдовы со своими детьми, зимняя стужа и людской холод, и учреждение, ведающее делами социального обеспечения.

— Последняя глава не столь важна, — мельком сказал Ильхам, — она намечена лишь для политической окраски. Но зато надо постараться вложить свои силы и умение в первые две главы. Это будет чудесная новелла.

Аббасхон, по-прежнему сохранявший ореол законодателя литературной моды, одобрил эту тему.

— Если даже рассказ и подвергнется бы критике, радуйтесь! Это сделает вас популярным. Нетак уж легко создавать произведения, достойные критики. Пусть даже поругают вас за него, зато читателей приобретете.

Написав рассказ за неделю, Саиди дал его почитать Ильхаму, а через два дня увидел свое детище в руках Аббасхона уже готовым к набору. Третья глава, составляющая почти всю вторую половину рассказа, была вычеркнута: от нее остались только две строчки: «Дети нашли наконец учреждение социального обеспечения. Они знали, что это единственная их надежная защита».

Вышло уже три номера журнала, а рассказ все не появлялся, хотя Аббасхон обещал напечатать его в ближайшем номере. Саиди не столько огорчился, сколько злился. Он был уже избалован. Спрашивать Аббасхона не позволяло самолюбие. Наконец, от Мунисхон Саиди узнал, что между Кенджой и Аббасхоном произошла крупная ссора по поводу рассказа. Кенджа будто бы объявил, что только через его труп этот рассказ увидит свет. И ненависть Саиди к Кендже вспыхнула с новой силой.

## XXII

С тех пор как он перестал видаться с Тешой, Саиди, вспоминая об университете, каждый раз чувствовал неприятный холодок в груди. Он был уверен, что Теша доложил в ячейке об их споре. Несколько шагов от зала рабфака до лестницы восточного факультета буквально стоили ему здоровья. Иногда ему казалось, будто весь зал, люди, бродившие из угла в угол, даже скамьи и стулья показывают на него пальцем, приговаривая: «Вот это и есть тот самый Саиди...» Еще ему казалось, будто где-то неподалеку, может быть даже в одном из углов зала, собрались комсомольцы на свое общее собрание и какой-то голос зовет его: «А ну, товарищ Саиди, идите-ка сюда держать ответ!» Постепенно он стал чувствовать себя так же и на своем факультете. Университет становился его проклятием. Если бы нашелся человек, который тихо и без шума освободил бы его от этой муки и так же тихо вручил бы ему на руки его комсомольскую учетную карточку, он не задумываясь отдал бы этому человеку половину своей жизни.

Наступил июнь, преддверие летних экзаменов. И Саиди на свой риск и страх вдруг перестал посещать занятия. Всю первую неделю Мунисхон объясняла старосте курса, что Саиди отсутствует по болезни. Партийная ячейка выбрала комиссию для выяснения причин отставания и отсева студентов, а также для того, чтобы оказать нуждающимся практическую помощь. Председатель этой комиссии всякий раз, встречая Мунисхон, справлялся у нее о Саиди. Он так заботливо о нём расспрашивал, что



Муниسخон это в конце концов надоело и на очередной вопрос она резко ответила:

— Не знаю и никакого отношения к Саиди не имею! Понятно?

Председатель попятился от неожиданности, но с распросами приставать перестал.

Изредка Муниسخон еще заходила к Саиди и рассказывала ему университетские новости. Саиди, не то в шутку, не то всерьез, отвечал:

— У меня, Мунис, теперь почему-то всегда на душе муторно, словно вот-вот случится что-то неприятное. Но я совсем не уверен, что в этом виноваты факультет вместе с комсомольской ячейкой... Мне даже кажется, что надвигается нечто куда более страшное...

Но Муниسخон не слишком вникала в страхи Саиди.

— Я им все говорю, что ты лечишься, а то они готовы и врача прислать и даже в больницу тебя отправить... Хочешь в больницу?— весело спрашивала она и продолжала болтать:— Сейчас двоих со старших курсов прикрепили к тебе. Вот только ты поправишься, ка-ак на-ачнут, ка-ак начнут помогать, ка-ак возьмутся готовить тебя к экзаменам...

Но все друзья Саиди одобрили его решение уйти из университета. Когда Махмуджан-эфенди сказал было: «Ладно, обойдетесь и без университета!», его напрямик отругал Мурадходжа-домла. Аббасхон, пожурив Саиди, посоветовал ему не бросать учебу. Такого же мнения был и Салимхон. Саиди призадумался. Зачем, действительно поддаваться каким-то страхам, выдумывать себе небылицы. Подумаешь, поспорил с Тешой. Но как раз когда Саиди дошел в своих размышлениях до этого места, Аббасхон неожиданно смягчился:

— Если чувствуете такую уж большую необходимость бросить факультет — бросайте. А то в конце концов они еще сами исключат вас... Тогда будет хуже. Но в комсомоле, друг Саиди, вам надо стоять твердо! Помните о том, что придется вам переходить в партию.

В свое время веревочкой, накрепко привязавшей Саиди к университету, была Муниسخон. Факультет был тем шатким мостиком, который соединял их. Но теперь, если даже этот мостик и будет разрушен, то несомненно появится новый, надежный. Саиди придет к Муниسخон по мосту, опорами которого станут его слава, его положение

и его богатство. Вот уж тогда Муниسخон непременно встретит его с поклоном и почестями!

Раньше Саиди боялся даже самому себе признаться в том, что он любит, страстно любит Муниسخон и что исчезни она из его жизни — исчезнут для Рахимджана Саиди все женщины мира. Но если возможен новый, устойчивый и крепкий мост между ними, к чему цепляться за этот шаткий и неверный? Нет, будет новый, прочный мост и простоит он до самой их смерти.

О том, что между Саиди и Муниسخон протянулись нити любви, некоторым из его приятелей было известно. Часто Махмуджан-эфенди значительно и вместе с тем шутливо восклицал: «Двое прекрасных создадут третьего прекрасного... О, как будет облагорожена наша кровь!» Аббасхон по такому поводу не шутит; он лишь знаками и намеками дает понять Саиди, что и здесь не обойтись без всеильного Аббасхона. Саиди это понимает и каждый раз, когда Аббасхон намекает на будущее, благодарно склоняет голову. Да, да, и без университета Саиди может стать известнейшим писателем! А это кратчайший путь к жемчужине Муниسخон. Пока же, чтобы встречаться с прекрасной Мунис, вовсе необязательно заниматься совместно утомительным чтением учебников. Саиди вхож в дом своего друга Салимхона, как в собственный; сестра его друга всегда окажет ему внимание и уважение. И может быть, очень скоро настанет день, когда Аббасхон, положив ее руку в руки Саиди, поведет обоих к супружескому ложу...

Правда, Саиди еще не знает, какие шаги предпринимает Аббасхон в этом направлении, но он не сомневался в том, что какие-то шаги все-таки сделаны, потому что Аббасхон не из таких, которые отступают от своих решений. Аббасхон говорил Саиди: «Есть в тебе талант, есть, и я его открою!» — и он действительно открывает его. Со многими выдающимися людьми познакомился Саиди, беседовал и даже пил с ними. Разве не Аббасхон это устроил? Разве не с помощью Аббасхона сблизился он с такими людьми, которые еще совсем недавно оглушали его громкой своей славой? И если все это так, то почему бы Аббасхону не выполнить своего обещания относительно Мунис? Вполне может быть, что он давно уже переговорил обо всем с Салимхоном и получил — получил! — полное его согласие!..

Июльским утром Саиди, позавтракав, сидел за своим письменным столом и лениво перелистывал книгу. Вдруг кто-то взволнованным голосом крикнул в окно: «Рахимджан!» и, не останавливаясь, прошел к воротам. Саиди вскочил и, приподняв занавеску, выглянул в окно: тот, кто окликнул его, уже входил в ворота. Саиди увидел спину Эхсана, полузабытого друга, и ахнул. Вряд ли еще что-нибудь могло быть ему так нежелательно, как появление Эхсана. Встретиться теперь с Эхсаном куда труднее, чем пройти от зала рабфака до лестницы своего факультета.

Эхсан уже входил в комнату. Заключив Саиди в свои объятия, он долго не отпускал его. Саиди отвечал порывистыми рукопожатиями, что-то восклицая, хлопал Эхсана по плечу и громко смеялся. Но попытки продемонстрировать восторг не удавались, и Саиди чувствовал, что похож в эту минуту на неопытного и бесталанного актера, впервые играющего плохо выученную роль.

Неслыханное дело: Саиди не о чем говорить с Эхсаном! Стоило Эхсану умолкнуть на одну секунду, как Саиди принимался мысленно торопить его: «Ну, говори же, говори что-нибудь!»

Саиди промучился так до самого вечера. Спас положение сам Эхсан, спросивший Саиди о том, что же случилось из его горячий и внезапной любви к девушке. Встречаются ли они? Выяснились ли их отношения?

— Девушка эта — огонь, — сказал Саиди, когда они уже собрались ложиться спать. — Она — огонь, а я лишь кисея, которую держат на таком расстоянии, чтобы она тихо истлевала от жара. Сгореть не сгораю и живым в конце концов не останусь, так и истлею, видно, не вспыхнув. Не любит она меня! Но в<sup>1</sup>последний месяц некий человек заронил искру надежды в моем сердце. Впрочем, я не позволяю себе верить в это. Это лишь намек на обещание, а само обещание еще не высказано...

— Я не думаю, что она не любит тебя. Просто ты даже надеяться бзишься. А кто она такая, хоть одним глазом увидеть ее?..

— Завтра премьеры в театре. Если она придет, я покажу ее тебе.

На другой день вечером в легнем театре, во время ан-

тракта, Саиди, тихо взяв руку Эхсана, приложил ее к своему сердцу: оно билось сильными и частыми толчками. Саиди показал глазами на четырех девушек, входивших в это мгновение в буфет-павильон, стоявший посередине парка. Эхсан мигом все понял.

— Не видел ее целую неделю! — проговорил Саиди. — И всегда так со мной... Стоит лишь нечаянно услышать ее голос, тотчас же я теряюсь.

Когда они тоже вошли в павильон, девушки уже сидели вокруг стола и, смеясь чему-то, пили лимонад. Саиди и Эхсан заняли столик поближе к выходу. Улучив подходящую минуту, Саиди взглядом поздоровался с Мунисхон.

— Я ее знаю, видал, — сказал Эхсан, когда прозвучал третий звонок и девушки покинули павильон. — И даже знаком с нею. Она еще не была так хороша, как теперь, хотя и тогда показалась мне много красивее других девушек. А заметил ты ту, что с ней рядом? Нет? Ну конечно нет — она некрасивая, блеклая, унылая. Вечная женская хитрость! Иная красавица всегда таскает за собой некрасивых, почти уродливых подруг. Понимаешь, на таком фоне их собственная красота сверкает, как алмаз! Если белое поставить рядом с черным, то оно покажется ослепительным, не так ли?

— А где ты видел ее?

— У нее есть брат. Проездом в Крым они ненадолго останавливались в Москве. Недели на две. Я познакомился с ее братом. Он очень интересовался студентами, приехавшими туда из Узбекистана. Если не изменяет мне память, его зовут, кажется, Салимхон. Мы с ним даже поспорили. Я тебе потом расскажу про наш спор. Когда вернемся домой.

Саиди был очень заинтригован спором, происшедшим между Эхсаном и Салимхоном. Едва вернувшись домой, он зажег лампу и тотчас напомнил об этом, не сказав, что дружит с Салимхоном, не сказав даже, что знаком с ним.

— Как-то днем, — раздеваясь, начал рассказывать Эхсан, — Салимхон пригласил к себе в гости нескольких студентов-узбеков. Пришли мы к нему рано, было, кажется, воскресенье. Он жил в гостинице «Европа» вместе с сестрой и принял нас очень хорошо. Проговорили мы с ним до самого вечера. В основном, впрочем, говорил он. Разглагольствовал, пытался выдать себя чуть ли не за единственного защитника узбекского народа. Ну, бог с ним. Но когда разговор перешел на тему о нации, о

Востоке и Западе, о расе, тут я не утерпел и заспорил с ним. Понимаете, Саиди, буржуазные ученые носятся с такой якобы научной расовой теорией. Наверное, вы слышали о ней? Расисты утверждают, что народы желтой и черной расы — это люди низкого интеллекта, не способные дать миру ни умов, ни талантов, ни гениев. Салимхон, умалчивая о расистах и расовой теории, выдает весь этот бред за «взгляды Европы на Восток».

— Но это ведь правда!— воскликнул Саиди, лежа рядом с ним.

— Ну во-от, кажется, и Рахимджан наш?..— Эхсан не договорил.— Да в чем же правда? Нет никакого такого взгляда Европы на Восток, а есть лишь благословение некоторых буржуазных ученых на то, чтобы и впредь держать колониальные народы в темноте и невежестве!

— А все-таки...

— Подождите, послушайте меня. Существует еще одна теория, кое в чем похожая на эту, расовую. Но там речь идет о людях физического труда, которые будто бы стоят на самой низшей ступени человечества. По утверждению тех теоретиков, волосы и ногти в организме человека физического труда резко отличаются от волос и ногтей у людей умственного труда. Что вы на это скажете? Это, по-вашему, тоже взгляд Европы на Восток? Да здесь и не пахнет ни Европой, ни Востоком! Здесь есть только борьба классов, один из которых под свое господство пытается подвести псевдонаучную основу. Подобных теорий развелось очень много. Например, есть такая, которая определяет проституцию как наследственную болезнь, переходящую от поколения к поколению. А господин Салимхон пришел к этим теориям всю Европу, подразумевая под словом «Европа» территорию земного шара от Атлантического океана до Урала...

— Ну хорошо, чем же все-таки кончился ваш спор?

— Чем же он мог кончиться! К Салимхону примкнул один из наших земляков, из Бухары, недавно вернувшийся из Берлина, где он получил высшее образование. Я и с ним сцепился. Этого человека я всегда недолюбливал, а тут он мне просто стал противен. Когда я собрался уже уходить, сразу же за мной поднялись еще четверо студентов. Салимхон мягко и вежливо обратился к нам, стараясь сгладить взаимную досаду: «Не вздумайте на нас обижаться, товарищи студенты! Там, где собирается сту-

денчество, не обходится без споров», — говорил он, провозжая нас до полдороги.

До утра Саиди никак не мог уснуть. Ему все казалось, будто разговор между ним и Эхсаном приобрел колкий характер, что Эхсан видит его насквозь и он, Саиди, с головой выдал себя.

Заснув наконец, он спал чутко и тревожно, а проснулся раньше Эхсана. Но продолжал лежать молча, пока его не разбудил Эхсан. Лишь тогда, сладко потягиваясь и протирая кулаками глаза, он сделал вид, что наконец пробудился от сна. Он и сам не знал, для чего разыграл весь этот спектакль, но обойтись без него не мог. За завтраком, думал он, Эхсан непременно возобновит вчерашний разговор, надо быть во всеоружии. Но Эхсан и за завтраком и после него долго и с удовольствием рассказывал Саиди о своих новых друзьях.

Саиди же вовсе не был намерен рассказывать о своих друзьях, которыми обзавелся за время разлуки с Эхсаном. В сущности он ~~и сам не~~ знал толком, почему очутился в их среде, и если б не приехал Эхсан, то он наверняка не знал бы, что у него есть друзья, о которых не хочется рассказывать старому проверенному другу. Он бессознательно отделял Эхсана от всех остальных приятелей.

— Послезавтра я уезжаю в Багдан, Рахимджан, поэтому я непременно должен сегодня повидаться с Шарифом, Шафриным и другими старыми товарищами. Ты видишься с Шарифом? Шафрина ты всегда недолюбливал, это я знаю.

— Отчего же, я вижусь со всеми. Шафрин, правда, исчез куда-то, а Шариф... Шариф стал большим человеком... Откровенно сказать, я не совсем понимаю его. Во время проведения земельной реформы ячейка решила послать нас в кишлак, но у меня были веские причины, по которым я не мог ехать. Узнаю, что все эти дела находятся в ведении Шарифа, прихожу к нему и объясняю: так мол и так, прошу освободить меня от поездки. Знаешь, как он мне ответил? Ответил так, словно куплей-продажей занимался! Вот после этого-то у меня и сложилось определенное мнение о нем. Но вообрази, когда после моего возвращения из кишлака комсомольская ячейка вдруг выступила против меня по совершенно другому вопросу, то за меня вступился не кто иной, как Шариф.

Эхсан задумался.

— В сущности, дело вовсе не в этом,— сказал Саиди.— Конечно, быть руководителем орготдела райкома дело нелегкое.

— Руководителем чего? Орготдела?— перебил Эхсан удивленным тоном.

— Ну да!

— Да ведь скоро полгода, как Шариф секретарь райкома!

Саиди страшно смутился и, опустив глаза, тихо проговорил:

— Может быть...

— Скажи мне, Рахимджан, но только правду: ты состоишь в комсомоле или выбыл?

— А почему же я должен был выбыть из комсомола?

— Да разве можно быть комсомольцем и в течение целого полугодия не знать, кто у тебя секретарь райкома?

Саиди замялся.

Вечером Эхсан привел с собой Шарифа. Не успел Шариф переступить порог комнаты, как Саиди почувствовал себя чужим в собственном доме. Ему стало скучно и тоскливо, словно его по ошибке затащили к чужим и неприятным людям. Истомившись, он нашел временный выход: взял чайник и отправился в чайхану за горячим чаем. Его уходом тотчас воспользовался Шариф:

— Кажется, это я помог Саиди остаться в комсомоле,— сказал он Эхсану, словно продолжая разговор, прерванный незадолго.

— Не хвастай, мой друг, не хвастай!— возразил Эхсан.— Помочь-то, может быть, ты и помог ему, да вот вопрос: для чего? Он ведь настолько далек от комсомольской жизни, что даже не знает, бедняга, секретаря своего райкома! Сдается, ячейка отпустила его на все четыре стороны! Если все ячейки, которыми ты руководишь, так относятся к своим комсомольцам...

Вернулся Саиди с чаем. Но этим и ограничилось его участие в приеме гостя. Ни во время чаепития, ни после Саиди не вмешивался в беседу Шарифа с Эхсаном. Усевшись в сторонке и подремывая, он ждал лишь, чтобы Шариф скорее ушел. Но Шариф не торопился. Он просидел до полуночи, а затем Эхсан пошел его провожать и вернулся лишь через час. Саиди уже улегся, но еще не спал.

— Никак я не могу примириться с твоей нелюдимостью,— проговорил Эхсан, входя в комнату.— Шариф так долго сидел у нас и изо всех сил старался быть дружелюбным. Тебе тоже следовало бы держать себя с ним товарищески! Ну да ладно... Кстати, Шафрин только сегодня уехал в Хорезм. Просил передать тебе привет. Н-ну-с, а теперь давай отчитывайся передо мной. Помнишь, я писал, что как приеду, потребую отчета? Давай, давай, нечего!

Приподнявшись, Саиди облокотился о подушку и склонил голову, не зная, с чего начинать. Несомненно, Эхсан захочет узнать, как совершенствовал Саиди свое мастерство в литературе, как преуспел за это время в учении. Но если начать рассказывать о своей литературной деятельности, то волей-неволей придется рассказать и о новых друзьях-приятелях, а этого Саиди не хотелось. Об учении и вовсе нельзя заикнуться. Но надо же что-то говорить? Саиди вдруг придумал: он нагнулся, достал из-под кровати целую стопку журналов и положил ее перед Эхсаном. Тот долго и тщательно перелистывал все номера, увидел и те холодные ответы, которые давались когда-то Саиди, прочитал рассказ «Каландар» и за ним другие. Саиди видел, как серьезно относится Эхсан к его работе.

— Друг мой, Рахимджан,— чуть торжественно начал Эхсан.— Разумеется, открывать таланты не так уж просто, но в наших условиях есть все возможности для этого. Будь эти условия во времена Шекспира, то, я не сомневаюсь, в мире было бы больше Шекспиров. А ты, Рахимджан,— голос Эхсана зазвучал растроганно,— ты участвуешь в великом деле... Ведь вся задача — поднять узбекскую литературу на такую высоту, откуда она была бы видна всему миру,— зависит от мастеров и подмастерьев литературного дела. Прав я, Рахимджан? Прав, дорогой, прав! И ты, молодой писатель-узбек, ты просто обязан признать своею темой все, что укрепляет советскую власть, все, что окажет содействие построению социализма... Без этого нет современной литературы, Саиди, пойми меня!

Эхсан разволновался, говорил необычно страстно и громко. Саиди слушал его задумчиво, отвечал тихо, чуть брюзгливо:

— Ты многого требуешь, Эхсан, и все это не так просто, как выглядит со стороны. Современная литература



держится не на том, что вы напишете, а на том, кто вас поддержит. И сейчас есть люди, готовые растоптать молодые таланты. Ты сам видел стереотипные ответы, вроде: «Напечатано не будет». А ведь этот ответ, который меня чуть с ума не свел, я получал не потому, что мои рассказы не были достойны опубликования, а, наоборот, именно потому, что они были неплохи. Завистников, Эхсан, много... Один из них, например, низкопробный поэт, карьерист, двуличный человечиска по имени Кенджа...

— Это который Кенджа?— изумленно воскликнул Эхсан.— Не два же поэта в Узбекистане носят имя «Кенджа»? Если Кенджа один, то я его знаю. В Москве мы часто с ним видались. И право же, я не заметил ни одной из тех черт, которые ты приписываешь ему. Откуда ты взял такие черные краски?

Саиди пожал плечами.

— Из фактов!— холодно ответил он и рассказал Эхсану все, что слышал от молчаливого Якубджана по поводу своего рассказа «Каландар». Эхсан в свою очередь недоверчиво пожал плечами, но замолчал.

На следующий день он без особых затруднений разыскал Кенджу в том самом журнале и долго говорил с ним о Саиди. По словам Кенджи, Саиди оказался в кругу и под влиянием «некоей группы гнилых, идейно развращенных людей». Об этом же, но в несколько завуалированной форме, сказал Эхсану и Шариф. Оба назвали Салимхона как ближайшего друга Саиди. А между тем сам Саиди даже виду не подал, что знает Салимхона. Некоторое время Эхсан объяснял себе это тем, что Салимхон являлся для Саиди связующей нитью с Мунисхон. Много раз он пытался заговорить с Саиди откровенно и начистоту, чтобы избавиться от неприятного осадка в душе. Но Саиди всячески увиливал от нового душевного разговора. Так в их отношениях наступил холод.

В день отъезда Эхсана в Москву Саиди не пришел на вокзал проводить его, отговорившись чем-то очень важным, и Эхсан это с горечью запомнил.

## XXIV

Саиди, решив окончательно покинуть университет, неожиданно почувствовал себя как бы висящим в воздухе. Никакой устойчивости, ничего определенного в

жизни не оставалось. Литературная его деятельность была еще не настолько профессиональна, чтобы он мог жить, не терпя нужды. Приходилось, хотел он этого или не хотел, совершенствоваться в литературе.

Но это стремление теперь потеряло для него свой первоначальный смысл. Читать и читать, день и ночь читать, изучать, наблюдать — всего этого, оказалось, вовсе не требуется. А надо как можно чаще показываться на глаза сильным мира сего, надо на равной ноге бывать среди них. Как известно, бутылка лучше всего способствует сближению. Две-три бутылки, опорожненные кстати и вовремя, 12 приносили ему пользы гораздо больше, чем двадцать прочитанных книг.

И в этом смысле бутылки обещали ему многое. Во время одной из попок Аббасхон начал обращаться к нему на «ты». А как известно, человеку, которого царь зовет на «ты», вся страна кланяется в ноги.

Ни один четверг не обходится без попойки, и в каждый из этих четвергов Саиди знакомится с одним или несколькими светилами, или еще больше сближается с теми, с которыми был уже знаком. Аббасхон по обыкновению пьет мало. Он сидит с кем-нибудь их тех, кто пьет так же мало, как он, и тихо беседует с ним. Однако он слышит и подмечает все вокруг. Вот, скажем, Мурадходжа-домла. Он знает свою меру, но часто не соблюдает ее и тогда становится невыносим. Или Салимхон... Выпив, начинает петь и читать стихи. А Махмуджан-эфенди хватается первого, кто попадется, и принимается рассказывать: «Спросили: «Жив ли твой друг?» Отвечает: «Умер». Спросили: «В чем была причина его смерти?» Отвечает: «Жизнь», — и потом заплетающимся языком часами пытается толковать эту, остроумнейшую по его мнению, притчу. Аббасхон подмигивает Саиди, указывая ему на опьяневших гостей, и тихо посмеивается. Так как он обращается не к кому-нибудь, а только к нему, к Саиди, значит, Саиди он считает наиболее стойким и выдержанным из всех остальных. И Саиди гордится этим. Разве это плохо — обладать такой выдержкой, чтобы сохранить ясность мыслей, когда люди, более сильные физически и уж куда более авторитетные, чем он, совершенно опьянели и несут черт знает какой вздор? Иные, чтоб сохранить остатки рассудка, кусками глотают сливочное масло, пьют уксус... А Саиди, выпив рюмку, подчеркнуто не закусы-

ваet ee ничем, лишь отирает губы тыльной стороной руки.

Чем больше втягивался Саиди в круг своих приятелей, тем больше расширялся этот круг. И каждый чокался с ним, каждый называл «Друг мой!» или «Дорогой мой брат!» и запросто закидывал руку на его плечо. Даже следователь Мирза Мухитдин, славившийся своей чванливостью и высокомерием, который здесь же в доме Салимхона едва достаивал Саиди кивка головой, теперь называет его не иначе, как «друг мой, Рахимджан». И в литературе Саиди начал приобретать вес. Вездесущий Джамаль Карими, он же Ульфат, который не всегда подавал Саиди кончики пальцев, теперь тащил к нему на суд свои стихи.

Итак, Саиди успешно продвигался вперед, к осуществлению своей мечты, и этому немало способствовало вино. Оно лилось рекой, и Саиди так пристрастился к нему, что уже не чувствовал никакой потребности быть в трезвом состоянии.

Среди приятелей Саиди было немало таких же, как и он, которые меньше пить и не пьянеть считали высочайшей доблестью и хвастались этим. Но обычные четверги не всегда давали им возможность проявить всю свою лихость. В таких случаях устраивался грандиозный кутеж «в честь четверга», а для этой цели собирались уже в любой день недели. Несколько раз приняв участие в таких попойках, Саиди и сам стал устраивать их.

Этот круг, казавшийся вначале немногочисленным, с появлением Саиди значительно расширился. В него теперь входили люди разных степеней и положений, начиная от хозяйственных, банковых и иных работников, кончая чайханщиками, владельцами харчевен и питейных заведений. Саиди сидел рядом с ними, чокался с ними, потому что это были знакомые или близкие его собутыльников. Попойки эти в большинстве случаев происходили в домах этих лавочников и на их средства, но Саиди поначалу чувствовал некоторую неловкость и связанность: слишком уж многое разделяло его с хозяевами. Однако после двух-трех рюмок неловкость исчезала. Хозяева были в общем милые люди, куда приятнее, чем все те лавочники и содержатели харчевен, которых он видел в обычные дни. А после двух-трех попоек эти люди становились настолько «своими», что Саиди даже огорчался их отсутствием.

На одном из «пьяных четвергов» внимание Саиди привлек некий человек по имени Хайдар-хаджи. Саиди впервые встретил его на одной небольшой пирушке в доме следователя Мирзы Мухитдина. Хайдар-хаджи был человек лет сорока, среднего роста, шупленький и смуглый; одежда, которую он носил, придавала ему еще более неказистый вид. На голове хаджи носил тюбетейку, настолько грязную и засаленную, что она походила на круглый кусок черной кожи; камзол его, сшитый когда-то на манер европейских, не уступал по грязи его тюбетейке. Кушак он повязывал намного выше поясницы, поэтому казалось, что живот его начинается чуть ли не с груди. Увидев входившего Саиди, Хайдар-хаджи так ловко и быстро вскочил, с таким почтением и поклоном поздоровался, что в глазах Саиди он опустился очень низко.

Хайдар-хаджи только этого и добивался. Всем своим обликом, речью, повадками и поведением хаджи старался держаться скромнее тех, с кем он встречался; казалось, он был готов исполнить любое поручение или приказание любого человека, что он только и ждет этого. Но Мирза Мухитдин истрепанную и замызганную тюбетейку Хайдара-хаджи ставил выше всех корон мира.

— А Хайдар-хаджи ваш ничего,— сказал Саиди спустя несколько дней Мирзе Мухитдину.— Когда я увидел его впервые, мне смотреть на него было тошно. Но теперь замечаю, что он компанейский человек и есть у него что-то за душой...

Мухитдин, тонко улыбнувшись, сказал:

— Было, было за душой. До революции он владел собственной типографией, потом учительствовал. Но вы же знаете, сколько завистников окружает нас... Хайдару-хаджи пришлось покинуть работу на ниве просвещения и заняться торговлей. Впрочем, он и теперь пользуется большим авторитетом. В любом городе, куда он попадает, его встречают с большим почетом. Да вот беда, обложили его палогом в четырнадцать тысяч. И земельные угодья отобрали в реформу. Сначала ему удалось было сохранить немного земли путем фиктивной раздачи разным людям. Но тут нашлись доносчики, так что в конце концов землю все-таки всю отобрали. Впрочем, это бы еще полбеды. Появились еще подлецы, которые наговорили на него бог весть чего: он, дескать, доставляет басмачам оружие, обмундирование и тому подобное. Я был раз у

него в доме. У него изумительные книги — целая библиотека. Вам непременно надо будет зайти к нему...

Наконец-то Саиди был принят в кругу больших и известных писателей. Это случилось после того, как на одном из заседаний, обсуждая произведения начинающих, Центральная организация писателей дала хорошую оценку рассказам Саиди. Редакции некоторых газет обратились к нему с письмами, прося его принять участие в литературных страницах.

О своих литературных успехах Саиди большей частью узнавал на писательских собраниях. Теперь он не сидел, как бывало, где-нибудь в укромном уголке, одинокий, словно сирота. Теперь он сидел в первом ряду, среди известных поэтов, прозаиков и критиков, свободно переговариваясь и пересмеиваясь с ними, перемигиваясь с сидящими за столом президиума, посылая им веселые записки и получая такие же от них. Теперь он пользовался куда большим авторитетом, чем даже Кенджа, который уже годы считался известным поэтом.

## XXV

Как-то Мурадходжа-домла пригласил Саиди в гости, сообщив при этом, что из кишлака доставили ему мусаллас, настоенный на розовых лепестках. k

Саиди застал Мурадходжу-домлу в разгаре хозяйственной деятельности: он только-только вышел из ичкари\*, где разносил жену за то, что она не справляется с дойкой всего лишь четырех коров, теперь отчитывал работника за то, что тот не позволяет курам рыться в навозе. Увидев Саиди, входившего в ворота, домла позабыл и про работника, и про кур. Радужно приветствуя гостя, он повел его в гостиную.

На одной из дверей в длинном коридоре висела надпись: «Входите не вытирая ног, двери оставляйте открытыми». Увидев надпись, Саиди было засмеялся, но домла серьезно объяснил, что прибита она специально для Хайдара-хаджи и висит с прошлого года. u

Пересыпая свою речь шутками и прибаутками, Мурадходжа-домла ввел гостя в комнату, куда предлагалось

\* Ичкари — женская половина в доме.

входить, не вытирая ног. И в самом деле, рабочий кабинет домлы был оборудован просто и скромно. У окна, задернутого желтыми занавесками, стоял низкий стол на толстых, с затейливой резьбой, ножках; между ним и узкой, длинной нишей, заполненной газетами, помещалась черная двухъярусная этажерка. На верхней полочке ее стоял небольшой гипсовый бюст Ленина, внизу лежали разные журналы прошлых лет. На стене против окон висели портреты Бедилья\* и Нариманова\*\*, под ними фотографии развалин мечети Биби-Ханым\*\*\* и еще несколько снимков, изображающих послевоенный Коканд. Сам домла фотографировался очень редко. Собственно, у него сохранился всего один снимок, еще четырнадцатого года, когда он был в Уфе, но его он хранил в альбоме «Султаны Турции».

Вошел слуга и доложил, что дастархан\*\*\*\* готов. Мурадходжа-домла, потирая руки, повел Саиди в соседнюю комнату, которую он, подмигнув, отрекомендовал «комнатой удовольствий». Это была богато убранная роскошными коврами столовая с картинами, большей частью пейзажами в тяжелых золотых рамах. Все здесь напоминало ушедшие в вечность николаевские времена.

Наливая по третьему разу коньяк, домла говорил: — Знаете, я живу, имея перед собой одну лишь цель. Я людей знаю, разбираюсь в них, опытен... Я готов пожертвовать всею оставшейся жизнью ради того, чтобы из вас получился великий человек... Когда-то, еще во времена моего студенчества в Уфе, я слышал про одного американского газетчика по имени Херст. Говорили, будто у этого Херста был редактор, который ежедневно давал в газету материала всего лишь на одну колонку, а получал за это по двенадцать тысяч долларов золотом в год. Такова, видите ли, сила таланта! И вот я очень хочу, что бы вы тоже стали таким же великим человеком. Тогда я пришел бы к вам с поклоном, а вы, не допустив меня к себе, ответили бы мне через окно... Знаете, даже этому я был бы безгранично рад!

---

\* Бедиль (1644—1721) — великий таджикский философ.

\*\* Нариманов Нариман Нариманович (1870—1925) — зам. председателя ВЦИК.

\*\*\* Мечеть Биби-Ханым — мечеть в Самарканде.

\*\*\*\* Дастархан — скатерть, стол с угощением.

Льстивые речи хозяина сладким ядом проникали в душу Саиди.

— Я верю, что стану большим писателем, домла,— сказал он серьезно.— Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар!» И я переверну земной шар, уважаемый домла, если буду иметь точку опоры, если мне будут созданы нормальные условия.

Этот ответ так восхитил Мурадходжу-домла, что, радостно всплеснув руками, он опрокинул стоявшую перед ним пиалу с коньяком. Он поспешил заверить своего высокочтимого гостя в том, что никто в целом мире, кроме него, Мурадходжи-домлы, не в силах создать Саиди условия для творческой работы и что всю свою дальнейшую жизнь он отныне посвящает этому делу.

И гость, и хозяин расстались в восторге друг от друга.

И повелось, что если по какой-либо причине отменялись «пьяные четверги», Саиди шел к домле. И каждый раз, если ожидался приход Саиди, домла вставал спозаранку и с самого утра начинал деятельно готовиться к его приему. Жене заблаговременно приказывалось приготовить самые любимые и лакомые блюда, обдуманно домлой еще с ночи; потом домла уходил в город и отыскивал лучшие напитки для вечера. Вернувшись, он собственно-ручно убирал в своей рабочей комнате, тщательно проверял, так ли разложены на шелковом ковре пуховые подушки и шелковые курпача\*, все ли расставлено на белоснежном дастархане, разостланном посередине ковра. Покончив с торжественными приготовлениями, домла выпивал пиалу коньяка и садился ждать Саиди.

А когда Саиди приходил, основной темой разговоров неизменно было великое будущее Саиди. Приветливость домлы и его преданность Саиди были совершенно очевидны и искренни. Лучшим доказательством его расположения было то, что домла каждый раз приглашал Саиди не в обычную гостиную, а в одну из комнат ичкари.

До сих пор домла ценил в этом мире только две вещи — богатство, движимое и недвижимое, и собственную жизнь. Но с некоторых пор он ставил Саиди выше всех ценностей мира, даже выше собственного благополучия. Саиди был скакуном, на которого поставил азартный игрок — Мурадходжа-домла. Поставил куш целой жизни...

---

\* Курпача — тонкие и узкие ватные туфьяки.

Прошло лето. В конце сентября Саиди получил с факультета письмо, написанное от имени комсомольской тройки по изучению причин отставания студентов и отсева из университета. На письмо Саиди не ответил. Спустя неделю пришел человек и безмерно надоел ему, целый час расспрашивая, отчего да почему он из университета ушел. Только догадавшись соврать, что он поступил на литфак в Москве, Саиди избавился от своего гостя.

### XXXI

Мурадходжа-домла — полный, дородный человек, а дочь у него худа, как жердь. Будь Сорахон худа только по сравнению со своим отцом — куда ни шло! Она выглядела бы нормальной, как многие худощавые и не очень красивые девицы ее возраста. Но в том-то и дело, что Сорахон намного худее самых тощих своих ровесниц. Это делает ее невероятно длинной и внушает окружающим опасения, что она вот-вот переломится не менее как в четырех местах сразу. Как многие чересчур худые и высокие люди, она ходит несколько согнувшись и наклонившись всем корпусом вперед. Жилистые и костлявые ее ноги, торчащие из-под атласного платья, вечно отстают от туловища и спешат за ним, стараясь сохранить равновесие тела. Длинные руки если не висят беспомощно вдоль тела, то почему-то шевелятся на животе. Даже две черные косы, которые послужили бы украшением всякой другой девушке, у Сорахон напоминают хвосты породистых коров. Сорахон беспрестанно с ними воюет — косы сползают на грудь, а Сорахон нервно откидывает их назад.

Лицо Сорахон смугло и словно стянуто пружиной, потому что, смеясь, она не растягивает рот, как ее отец, а подбирает тонкие бескровные губы, чтобы скрыть кривой зуб. Лоб у Сорахон низкий, заросший волосами, глаза маленькие; в минуты раздражения одна бровь резко подымается вверх, а ноздри хрящеватого носа плотноядно шевелятся.

Увы, некрасива Сорахон — единственный отпрыск Мурадходжи-домлы, выращенный им за целую жизнь. Были у Сорахон семеро старших братьев и сестер и шестеро младших, но никто из них не выжил, а Сорахон росла как царица или, вернее, как маленький деспот, не зная слова «нельзя» и зная один закон: «хочу!»



Все ее недостатки и пороки домла считает достоинствами и добродетелями. В тот день, когда Сорахон исполнилось двенадцать лет, все в доме, и домла в том числе, начали обращаться к ней на «вы». Первым результатом этого был отказ Сорахон посещать школу. Надеясь на будущее, домла начал было обучать дочь немецкому языку. Но спустя несколько месяцев Сорахон отказалась учиться и немецкому, обидевшись за что-то на своего учителя. На том и закончилось ее образование. Домла бы и сейчас рад учить дочь; его мечта — дать ей широкое образование, но Сорахон уже вступила в возраст, когда девушки предпочитают учиться премудростям семейной жизни и материнства. И домла сам все больше и больше начинал задумываться над тем, как бы найти для дочери приличного жениха, взять его к себе в дом и затем уже обоим вместе дать широкое образование. *и*

*и* Но человек задумывает одно, а жизнь подстраивает совсем другое. Так и Мурадходжа-домла вместо молодого человека, нуждающегося в образовании, нашел способнейшего Саиди, которому надо было создать условия для свободной творческой работы. Саиди, размышлял домла, будет со дня на день расти, доходы его тоже будут расти изо дня в день, ибо источник этих доходов неиссякаем. И наступит день, когда домла сможет, глядя на Саиди, сказать каждому: «Вот — творение рук моих, вот гений, взращенный моими неусыпными трудами!» О, день великого торжества и гордости! Но, уносясь мечтами к тому далекому дню победы, домла, тревожась, прикидывал, какое огромное количество труда придется затратить хотя бы только для того, чтобы не выпустить этого жениха из рук.

Если бы все трудности, связанные с женитьбой Саиди на Сорахон, состояли лишь в том, чтобы действительно создать ему идеальные условия для работы, то это было бы полбеды! Настоящая трудность этого предприятия заключалась в том, что надо было отвратить Саиди от Мунисхон. Ломая голову над этим, домла впервые вынужден был самому себе признаться в том, что Сорахон уродлива.

На одной из пирушек совершенно опьяневший Саиди заговорил о Мунисхон:

— По-моему, нет на свете девушки, которая сравнилась бы с нею в изяществе и грации.

— Девушка?!— переспросил домла, усмехаясь...— Она носит в себе ребенка от Ильхама!..

Саиди привскочил. А домла сидел безразличный, словно то, что он сказал Саиди, было давно известным и не стоящим внимания пустяком. Саиди вдруг вспомнил, как Мунисхон однажды говорила ему об Ильхаме: «Он хороший парень...Один из самых близких друзей моего брата!..», вспомнил и то, что Ильхам приходил в дом в отсутствие Салимхона. Правда, Мунисхон тогда быстро спровадила Ильхама. Но разве тут же она не отправила и самого Саиди?! Ревности только дай поблажку, она заведет тебя в дремучие чащи.

Саиди, считавший домлу своим «бескорыстным благодетелем», не мог не прислушиваться к его словам. Но Мунисхон слишком глубоко, слишком давно властвовала над его сердцем. Разве выкинешь такое сразу? И бедняга Саиди старался только о том, чтобы эти два противоречивых чувства не сталкивались в его душе.

## XXVII

Отправив в набор только что написанную им передовую, редактор областной газеты внимательно посмотрел на сотрудников редакции, собравшихся вокруг него.

— Статью я назвал: «Выполнить с молниеносной быстротой!»,— сказал он, самодовольно улыбаясь.— И надо вам знать, что найти удачный заголовок — это большое искусство. В Америке хороший заголовок вдвое и втрое поднимает тираж газеты. Он может привести издателя к процветанию... или к краху.

• — Дети мои, учитесь находить заголовки!— многозначительно подытожил Мурадходжа-домла и, как бы невзначай, добавил:— Не было у нас редактора, который руководил бы так ровно, так умело нашей газетой в течение двух лет кряду... Я знал, конечно, что вы опытный редактор, но...

Домла метил точно: редактор очень гордился тем, что вот уже два года бессменно сидит в своем кресле. За эти два года он полностью перестроил свою жизнь: бросил пятерых детей и жену, с которой прожил пятнадцать лет. Он бросил ее потому, что теперь считал несовместимым со своим новым положением безграмотность и темноту этой женщины, которой никогда не позволял учиться. Он бросил ее и женился на другой — неглупой, образо-

ванной и во многих отношениях отвечающей его нынешним потребностям девушке. Они вместе обставляли дом, устраивая себе уютное гнездышко, где он неожиданно почувствовал себя неопытным цыпленком под теплым крылышком хлопотливой квочки. Он был весьма доволен своей новой жизнью. Она, эта жизнь, удовлетворяла его полностью, и хотя у него были возможности еще больше украсить и благоустроить жилье, они с женой воздерживались, боясь, как бы не переборщить, как бы не вызвать зависти, и считая, что самое главное — «не зарываться», тогда все будет в порядке. «Не терять чувства меры!» — повторяли они друг другу наивно и почти суеверно, видя в этом спасение от всех неприятностей.

В соседней комнате раздался громкий смех, и это несколько покорило редактора. Он хмуро взглянул на секретаря. Секретарь только поднялся, чтобы выйти в соседнюю комнату, как в дверях появился бедно одетый деревенского вида парень. Остановившись посредине комнаты и оглядев сидящих, молодой дехканин спросил:

— Кто здесь будет мухирдор\* газеты?

Редактор поручил переговорить с ним Мурадходжедомле.

— Я пришел получить свои деньги обратно, — сказал дехканин, обратившись к домле. — Из двенадцати месяцев прошло только четыре месяца и одна неделя. Так? Так! Вычтите за это время, я не возражаю. Но остальные верните. Не буду я больше читать вашу газету. И писать в ней больше не желаю.

— А-а-а... — промычал домла. — Значит, вы подписались на газету, четыре месяца получали, теперь не хотите получать и читать, так? Вы грамотный?

— Нет, я неграмотный. Мне читали ее. Когда в кишлак к нам приезжали корреспонденты, то я им рассказывал разные истории, подходящие для газеты.

— Отчего же теперь не хотите получать газету? Вы разве против советской газеты? — спросил домла посмеиваясь.

Но дехканин не был расположен к шуткам.

— Да разве эта газета советская? Советская власть говорит, чтобы бедные крестьяне, батраки не спали в

---

\* Неграмотный крестьянин делает забавную ошибку. Он говорит „м у х и р д о р“ (хранитель печати) вместо „м у х а р р и р“ (редактор).

байских конюшнях вместе со скотиной, советская власть старается, чтобы бедные крестьяне и батраки получили землю, обзавелись своими хозяйствами. Если газета советская, так почему же она выступает против этого?!

— Где и когда она выступила против?— хмуро спросил редактор, вытянув свою тонкую и длинную шею.

Вытащив из-за пазухи рваной рубахи свернутую и в местах сгиба потертую газету, дехканин молча положил ее на стол перед редактором.

— Можете сами читать, тут написано: против земельной реформы. Разве это советские слова, а?

Редактор, бледнея, взял газету. Он увидел, что номер — старый, но это было плохое утешение: и старая газета жила, ее читали, с нею спорили и к ней прислушивались. Попадись такой случай, как сегодняшнее появление дехканина, на язычок кому-нибудь из недоброжелателей, и — пиши пропало все на свете!

Мурадходжа-домла прочел эти мысли на лице редактора. На лице его появилась нервная улыбка. Редактор, еще выражая недоверие к словам дехканина, начал просматривать газету, но, увидев двусмысленные строки в статье Мурадходжи-домлы, подчеркнутые карандашом, затрясся.

— А вопросы у товарища, выходит, законные?— проговорил заведующий массовым отделом редакции Кенджа.

Если б это произнес любой другой человек! Мурадходжа-домла умел глотать и худшие оскорбления. Но Кендже он не мог спустить ничего. Один звук его голоса приводил домлу в неистовство. Это была ненависть лютая, ничего не прощающая, давно перешагнувшая личные отношения. Домла весь побагровел, на скулах у него выступили желваки. Потом, когда кровь медленно отлила от его лица, он хрипло выдавил, скривив рот:

— Вот как! Вы, значит, считаете, что вопросы законные?

Редактор, растерянный, как ребенок, внезапно понявший, что ссора родителей неизбежно поведет к разводу, сообразил, что скандала не миновать. Кое-как объяснив посетителю, что газета старая, а статья напечатана ошибочно и что на виновных уже было наложено строгое взыскание, он торопливо выпроводил молодого дехканина и сделал последнюю попытку погасить скандал. Но домла, уже не слыша ни его молений, ни увещаний, распалился все больше и больше.

— Хотя вы и называете себя поэтом, но вы не больше воробышка, еще не освободившегося от своего помета, — говорил он, с трудом изображая на своем лице некоторое подобие улыбки. — В то время, когда я уже был издателем газеты, когда я трудился в газете, ваша будущая мать была еще девочкой, мечтавшей стать матерью, и ходила, привязав к животу подушку!.. Так-то, братец мой!

Кенджа, наконец, внял просьбам редактора прекратить эту базарную ссору. Он только усмехнулся и, собирая свои бумаги, негромко проговорил:

— Удивляюсь, как этот человек ходит еще по земле, когда саван стоит всего рубль...

— Нет, ты сдохни! Чтоб тебя смерть взяла! — закричал домла истступленно. — Пусть передохнут все твои родственники, пусть сгинет весь твой род! А те, что уже мертвы, да превратятся в свиней!

Скандал кончился тем, что домле пришлось оставить редакцию. Редактор не мог поступить иначе и возмущенно жаловался, что нет новых кадров, что стало невыносимо трудно работать со старыми, и в конце концов взвинтил себя до настоящей ярости.

— Хватит! — заорал он, трахнув кулаком о стол. — Какого еще позора надо?! Советская печать выступает против революционных мероприятий советской власти!

В тот же день, отдав приказ об освобождении домлы от работы в редакции, редактор явился к нему домой с бесконечными извинениями, ибо считал его человеком ученым и опытным.

Спустя два дня редактор отправился на заседание Исполбюро обкома партии с докладом о работе газеты и с проектом чистки аппарата редакции. Исполбюро объявило ему выговор, а проект его одобрило. Благодаря судьбе, что отделался только [выговором, редактор тотчас же стал подыскивать новых сотрудников. Первой возникла кандидатура Саиди... Саиди — начинающий и явно растущий литератор. Он первым выступил против статьи Мурадходжи-домлы. Политически грамотный, с широким кругозором, чрезвычайно образованный человек. Все это было известно редактору, а о тех качествах Саиди, о которых он не знал, рассказали ему Салимхон, Аббасхон и другие добрые советчики.

Когда Саиди в первый раз пришел на работу в редакцию, молчаливый Якубджан давно уже сидел за большим

столом рядом с редактором, обложенный ворохом бумаг.

Обновив таким способом аппарат редакции, редактор вполне успокоился. В его представлении редакция теперь должна была действовать как машина: поверни ключ, и она, проглотив бумагу, после нескольких несложных операций выплюнет тебе свеженькую, хорошенькую газетку. Дело стало казаться редактору таким простым, что он уже нередко не являлся на работу, присылая свои передовые из дому с рассыльным. А те, кто рекомендовал Саиди и Якубджана, никогда не забывали восхищаться улучшением газеты, и редактор даже не пытался скрывать свою гордость.

Ответственный секретарь редакции Саиди практически вскоре стал исполнять и обязанности редактора. Нередко ему приходилось писать и передовые статьи, но главное было не в этом. Главное было в том, что редактор постоянно обращался к нему за советом и каждый свой шаг согласовывал с ним. Естественно, что это поднимало его авторитет в глазах всей редакции. Даже издательские работники знали, что решающее слово принадлежит Саиди. Впрочем, это знал и сам редактор. А по мере того как росло влияние Саиди, росли и его доходы. Однажды Мурадходжа-домла рассказал ему небезынтересную притчу.

— Мой отец в вашем возрасте, говорят, был крупным вельможей при хане, и дед мой учил его: «Эй, сынок, слушайся меня,—говорил он ему,—умножай свое богатство, копи его, приобретай земли, воздвигай для себя дома, собирай золото...» А отец мой, говорят, отвечал так: «Да разве сейчас я беден? Захочу — всегда успею скопить!» Вдруг, как снег на голову, приходят русские, и отец мой лишается своего положения. Прикинул он на счетах и видит: ничего он не прибавил к тому, что осталось ему от отца, то есть от моего деда... Вот так-то, Рахимджан! В молодости бывает, что богатство само гонится за человеком. Люди недалекие рассуждают так: «Не столь уж трудно, оказывается, зарабатывать деньги. Этак в любое время заработаю столько, сколько захочу»... Я все знаю, я опытный. Деньги нужно держать в руках и держать крепко... Счастье один лишь раз улыбается человеку. Захотите жениться, обзавестись домом, хозяйством — приобретайте имущество. Откладывайте каждую неделю,

каждый месяц понемногу, и придет день, когда они, деньги-то, накопившись, покажутся вам ниспосланными с неба. А если захотите, так те же деньги вам и процентов народят.

— Вы говорите о процентах в сберегательной кассе?

— Нужны они, эти несчастные гроши!— воскликнул домла, брезгливо отряхнув руки, словно к ним прилипло нечто мерзкое и грязное.

Мурадходжа-домла не отказался бы стать казначеем Саиди.

Было время, когда Саиди терпел острую нужду в деньгах, теперь он забыл, что такое безденежье. Каждодневная забота о копейке осталась далеко позади, он поднялся до той ступени, где уже не помнят горького вкуса нужды. Но, достигнув этого уровня достатка, он вдруг обнаружил впереди себя точку, куда более высокую и заманчивую, перед которой его настоящее положение выглядело откровенной бедностью. Именно теперь, с этой минуты, многие тысячи, проходившие через руки Саиди, начали казаться ему ничтожными медяками. Отчего бы не превратить их в десятки и сотни тысяч рублей? Неужели Саиди не нуждается в этом? Из многих газет и журналов етёкаются к нему гонорары, он получает изрядный оклад. А ежемесячный заработок по одной только своей редакции? Да он один куда больше всех гонораров, приходящих из других редакций! Но, опуская все это, скажем, в левый карман, Саиди чувствовал, что правый карман по-прежнему остается обидно пустым, он искал новые способы заработка. Вот совсем недавно Мурадходжа-домла, трижды обернув через какое-то постороннее лицо тысячу рублей из заработка Саиди, вернул ему эти деньги вместе с полутора тысячами прироста. Вещественное доказательство бескорыстия и благорасположения домлы!

Так проходили дни и месяцы.

Университет, когда-то казавшийся Саиди пропастью, где ему уготована неминуемая гибель, комсомольская ячейка, толкавшая его в эту пропасть, не играли больше никакой роли в его жизни. Казалось, это должно было принести Саиди облегчение. Но, едва освободившись от этой раздражавшей его тяжести, Саиди очень быстро столкнулся с новой, рожденной соприкосновением с Кенджой и его друзьями.

Каждое слово Кенджи приводило Саиди в бешенство.

— Товарищ Саиди,— как-то подошел к нему Кенджа после работы. — Обратите внимание, усилился поток жалоб от корреспондентов. Сказать по чести... кое-что я проверил. Действительно, вся газета состоит исключительно из материалов штатных сотрудников. Материалам извне, рабкоровским — места совсем не дают...

Саиди передернуло.

— Кенджа-ака,— ответил он, скривившись, словно от горького лекарства,— Кенджа-ака, за газету в первую голову отвечает редактор, затем — я. И я бы вам посоветовал заниматься своими стихами... Все рабкоровские материалы проходят через мои руки, я их сортирую на, так сказать, съедобные и несъедобные. Но коль скоро съедобных материалов пока что нет, не можем же мы прикрыть газету в их ожидании? К тому же, заметьте, за неделю в нашей газете появляется более ста различных подписей... Разве у нас сто штатных сотрудников?

Кенджа пожал плечами.

— Если содержание газеты измерять количеством подписей в ней, то ведь это количество можно довести и до тысячи!

— Что вы хотите сказать?

— А то, что один товарищ Саиди помещает свои материалы, прикрываясь семью подписями! А один Якубджан имеет пять псевдонимов! Надо ведь и честь знать! В одном только вчерашнем номере Якубджан поместил четыре свои вещи, подписав их четырьмя именами. А материалы корреспондентов лежат и лежат, их накопились горы. А сколько материалов, уже набранных, пришлось разобрать: устарели!

— Пишите и вы!..— нагло усмехнулся Саиди, берясь за портфель.

На следующий день заведующие другими отделами стали жаловаться, что набранные материалы лежат в типографии без движения, теряя свою злободневность. В конце концов эти разговоры достигли слуха редактора. Претензии Кенджи редактор нашел правильными, но упрекнул его в том, что Кенджа не сумел разрешить спор мирным и дружеским путем.

— В работе нужны единомыслие и сплоченность,— заключил он свою длинную речь.— Что есть наша работа?— Молоко. Какова форма нашей работы?— Горшок. Что есть условия нашей работы?— Телега. Куда мы



идем? — К социализму. Что такое спор в нашей работе? — Ухабы и колдобины. Следовательно, чем больше ухабов и колдобин на нашем пути, тем чаще и больше будет трястись наш воз, а чем больше будет трястись наш воз, тем больше будет расплескиваться молоко. Надо работать дружно. Избегать споров и ссор. С чем можно сравнить дружный коллектив? С хорошей семьей. В хорошей семье; когда муж раздражен — жена ему уступает, а когда жена раздражена, то должен уступить муж. Иначе дитя останется сиротой...

К удовольствию Саиди и Якубджана, сердитый спор, грозивший новым скандалом, разрядился смехом и шуткой, и между Кенджой и Саиди установились хотя и неискренние, но внешне дружелюбные отношения.

Якубджан, человек угрюмый и способный неделями не раскрывать рта, однажды утром встретил Саиди с улыбкой. Когда Саиди уселся за свой стол, Якубджан, осклабясь, подошел к нему и, приставив свой бескровный и холодный палец ко лбу Саиди, сказал:

— Вас застрелят. А стрелять будут вот в это место...

— Кто? За что? — спросил Саиди, сбрасывая со лба его ледяной палец.

— Впрочем, если я буду заинтересован экономически...

— В чем? В том, чтоб меня застрелили?

Якубджан втянул голову в плечи и захихикал. Затем крадучись, на цыпочках, чтобы никто не мог услышать, он подошел к печке и открыл маленькую дверцу. Куча золы красноречиво говорила о том, какое большое количество бумаги было сожжено здесь. Так же тихо и осторожно затворив дверцу печки, Якубджан подошел к своему столу, достал из ящика какую-то папку и положил ее перед Саиди.

— Вот эту папку передайте Кендже, пусть отберет годное из нее..

Саиди все понял, что-то в поступке Якубджана понравилось ему, а что то не понравилось, но продумывать это было лень, и он только кивнул головой.

Когда Саиди, следуя совету Якубджана, передал папку Кендже, последний от изумления даже не нашелся, что сказать. Теперь, если Якубджан, оставаясь после работы, распределял поступившие за день материалы по сделкам, Саиди с улыбкой грозил ему пальцем, показывая на печку и уходил, бросив на ходу: «Не довольно

ли? Оставьте что-нибудь на развод!» Якубджан с точностью выполнял просьбу Саиди: он сжигал только часть писем, но такую часть, что не прошло и месяца, как Кенджа снова взбунтовался:

— Если и дальше пойдет так — горе нашей газете! Что же это такое?! Почти в каждом номере долбаем не менее двадцати человек! Вся газета наполнена одними жалобами, и никому нет дела, что мы попираем авторитет советских учреждений! Скоро не останется ни одной организации, которую мы не ошельмовали бы! Кричим, кричим о пороках и недостатках, будто нет в нашей действительности ничего светлого...

Брови редактора взлетели вверх, он сидел, прикусив нижнюю губу. Это был такой удобный момент для выговора Кендже, что даже Якубджан и тот не вытерпел и пробормотал:

— Не напечатаем писем корреспондентов — мы плохи, печатаем их — опять плохи... Вам бы быть редактором!

Кенджа только собрался ответить, но его перебил редактор:

— Прежде всего, не надо бояться критики... Раз существует большевистская печать, значит существует и большевистская критика... Скрывать от общественности плохое — да это же контрреволюция! Но, я согласен, — надо показывать и хорошее. Мы малоповоротливы. Этот недостаток у нас, безусловно, есть. А почему он есть? — Потому что плохо работает наш отдел корреспондентской сети. А почему он плохо работает? — Потому плохо работает, что мало у нас корреспондентов грамотных, политически подкованных. А почему их у нас мало? — Потому, что мы только-только стали приобщаться к культуре. А почему мы только-только начинаем приобщаться к культуре? — Потому, что наша страна вчера еще переживала период колонизации...

Редактора хлебом не корми — дай поговорить. Особенно вот так: вопрос — ответ, вопрос — ответ.

Если бы Кенджа на прервал в этом месте редактора и не сказал то, что хотел сказать, редактор довел бы свои логические построения до сотворения мира. Но ловко остановленный на полном ходу, он от неожиданности одобрил предложение Кенджи и даже выразил радостное удивление, что такая мысль могла прийти в голову Кендже:

— Знаете, чувствуете, что на газетной работе вы растете!

Если бы не случайность, ничто не спасло бы зятя Саиди, Мухаммедраджаба. Можно сказать, что, не имея к тому никакого предрасположения, он довольно долго занимался сложной эквилибристикой, стоя одной ногой на земле, а другой — в своем магазине. Во время земельной реформы Мухаммедраджаба освободили от земли, конфисковав ее, и он очутился в крайне неустойчивой позе. Малейшее дуновение ветерка, производимое каждым проходившим мимо магазина, заставляло его трепетать как огонек свечи. А печальные воспоминания о былом богатстве ни в коем случае не способствовали укреплению нервной системы.

Вот в такое-то время его обложили налогом на сумму девять тысяч рублей. Прежде бывало так, что Мухаммедраджаб, боясь одной только возможности обложения налогом, различными способами успевал либо избавиться от него заранее, либо заранее же добивался резкого уменьшения суммы налога. Но теперь настали иные времена. Теперь найти способ снижения налога стало одной из основных и наиболее сложных глав науки о торговле.

Собственно, прежде подготовка Мухаммедраджаба к встрече с налогом состояла в раздаче довольно внушительных взяток людям, известным только ему одному. Почти все тайные и явные торговцы города поражались ловкости Мухаммедраджаба: он, как говорится, отлично знал все ходы и выходы. Многие торговцы, когда на них свалилась беда, приходили к нему за советом и получали от него добрые наставления. Случалось, Мухаммедраджаб и сам брался посредничать, за что получал мзду, значительно превышавшую его ежемесячные доходы.

Время от времени в организациях, с которыми был связан Мухаммедраджаб, происходили перемены; людей переставляли с места на место, иногда брали новых, к которым приходилось приспосабливаться. Но в конце концов «новые работники» оказывались ничуть не лучше старых, и все устраивалось.

На этот раз обложение Мухаммедраджаба налогом в девять тысяч рублей совпало с одной из таких перемен

Однако теперешняя перемена была какая-то странная; чем больше пытался в ней разобраться Мухаммедраджаб, тем меньше ему это удавалось. Друзья, которые обычно приходили ему на помощь в таких случаях, оказались бессильны. К кому бы из них он ни обращался, все отвечали одним лишь словом: «Выдвиженцы!», и хотя никто не объяснял смысла этого странного слова, Мухаммедраджабу почему-то делалось не по себе.

Нашелся, однако, один человек, инспектор по финансам, человек, с которым Мухаммедраджаб имел давнишние деловые связи, взявшийся скостить половину налога, и для начала попросил семьсот рублей за услуги, да раз побывал у него в гостях. Спустя неделю он пришел к Мухаммедраджабу, сообщил, что дело улажено, и выпросил еще сто рублей. А дней через десять Мухаммедраджаб узнал о его аресте.

Месяц или два Мухаммедраджаб чувствовал, что ходит по краю пропасти, и со дня на день ждал ареста. Но опасения его не оправдались. Через одного верного человека он узнал, что инспектор арестован по другому делу. Потом к Мухаммедраджабу пришел младший брат инспектора и, вручив ему книгу, сказал, что в книге находится записка брата, и показал, как прочитать эту записку. На каждой странице книги была подчеркнута одна буква, в совокупности же эти буквы составляли следующее:

«Налог снят полностью. На этой неделе выйду на свободу. Выдайте пока этому мальчику три или четыре сотни рублей».

Мухаммедраджаб обещал дать деньги завтра, а сам всю ночь провел в размышлениях. Утром он отнес юноше сто рублей.

Но прошло два месяца, а инспектор все еще оставался в тюрьме.

Старых, испытанных друзей давно уже нет. Без друзей — какая нынче торговля? Однако приобретение новых торговых связей становится настолько затруднительным, что неизвестно, с какого конца приступить к этому деликатному делу. Вдобавок ко всему, в руки властей попали сто двадцать три кипы бархата и семь ящиков черного чая, принадлежавшие Мухаммедраджабу пополам с другим торговцем. От всех этих бед Мухаммедраджаб до такой степени растерялся, что готов был — если бы это могло помочь — пойти на поклон к Рахимджану, про

которого не так давно говорил жене: «Если хоть раз увидишься со своим братцем, ты мне не жена!»

Весь запас товаров он в течение недели развез по родственникам и знакомым. Лавчонку, где хранились образцы, неделю продержал запертой. И всю эту неделю с утра до вечера ходил по старым приятелям, ища совета. Многие попросту отворачивались от него. Некоторые напрямик говорили: «Теперь такие времена, что один легко может потянуть за собой другого».

Тогда Мухаммедраджаб ринулся к адвокатам и составителям жалоб. Слушая их, он как будто несколько приходил в себя, ему начинала мерещиться надежда на спасение. Но когда вечером, усталый как собака, возвратившись домой, он мысленно подводил итог дню, оказывалось, что нет не только надежды, но и намек на нее. В один из таких вечеров жена напомнила ему про Рахимджана.

— Во всем виноваты вы сами. Будь сейчас с нами Рахимджан, неужели он не помог бы? Говорят, зарабатывает он теперь куда больше, чем прежде, и может, если захочет, обследовать работу любого учреждения... На очень высоком посту теперь Рахимджан...

— А что он может сделать?— небрежно спросил Мухаммедраджаб, силясь сохранить достоинство, но в душе страстно желая, чтобы жена подробнее рассказала о брате. Он уже решил мысленно, что если жена продолжит этот разговор, то он сдастся и снизойдет до того, что будет держать с ней совет о дальнейшем. Но жена пожала плечами и сказала, что это не ее женское дело. И уже не возобновляла этого разговора. Тогда Мухаммедраджаб, придравшись к ней за то, что она якобы не сменила вовремя воду в чилиме\*, избил ее до полусмерти и с досады ушел на улицу.

А на улице скверно. Вот уже целую неделю город не видит солнца. День и ночь не переставая идет то снег, то дождь, иногда и дождь и снег вместе. Свинцово-темное небо, кажется, опустилось до самых крыш. По мостовым бегут коричневые ручьи. В тесных и узеньких переулках ноги до колен утопают в грязном месиве. Дувалы намокли, иные лежат поваленные. Весь этот день с особенным упорством лил мелкий дождь, к вечеру превратившийся в

---

\* Чилим — кальян.

мокрый снег. Но снег оседал лишь на буграх, на мусорных кучах, на стрехах крыш. После наступления сумерек начала белеть и земля.

Мухаммедраджаб шел по переулку, осторожно выбирая, куда ступить, чтоб не провалиться по уши в грязь. Внезапно он увидел человека, идущего по другой стороне. Человек был пьян. Он шел, едва передвигая ноги, то и дело хватаясь за стены домов. Пока Мухаммедраджаб поравнялся с ним, пьяный успел несколько раз поскользнуться, а один раз даже опустился на колени, но все-таки чудом удержался в вертикальном положении. Мухаммедраджаб остановился, всматриваясь в пьянчугу, потом чиркнул спичкой и поднес к его лицу. Точно! Однажды он видел этого человека вместе с Рахимджаном в ресторанчике городского сада летом. Спутники Мухаммедраджаба говорили ему тогда, что человека этого зовут Мирзой Мухитдином и работает он следователем. Еще раз чиркнув спичкой, Мухаммедраджаб воскликнул: «Эфенди!» Пьяный качнулся, но удержался, ухватившись за стену, и выругался, потом попытался было поднять заскользившую ногу и снова поехал обеими ногами. Пока Мухаммедраджаб бросал сгоревшую до пальца спичку, пока зажигал новую — все было уже кончено: Мирзу Мухитдина надо было отыскивать где-то в море грязи. И если бы не лежал на поверхности грязи тонкий слой снега, то целой коробки спичек не хватило бы, чтобы обнаружить место, куда нырнул следователь. Но Мухаммедраджаб обошелся одним десятком спичек и, отыскав место внезапного исчезновения Мирзы Мухитдина, самоотверженно кинулся к нему, утопая в грязи. Сунув руку в мутную жижу и сразу же нащупав голову Мирзы Мухитдина, Мухаммедраджаб ловко очистил его лицо от грязи. Но вытащить следователя оказалось делом нелегким. Мухаммедраджаб не на шутку замучился, пока сдирал его задубевшую, набрякшую от грязи верхнюю одежду. И только раздев потерявшего сознание следователя, он на руках перетащил его к себе в дом.

Мирза Мухитдин пришел в себя довольно быстро, но долго лежал с закрытыми глазами. Тупо болели все суставы, и особенно ныла вся затылочная часть головы. Во рту пересохло, язык не шевелился, словно распух, губы слиплись. Потрогал себя руками и на пальцах увидел что-то темное; снова отколупнул с губ что-то и

размял в пальцах. Поняв, наконец, что это самая обыкновенная грязь, Мирза Мухитдин попытался восстановить в памяти все, что произошло накануне. Но происшедшее вспоминалось смутно и нестройно, как сон: ногой раздавив дутар\*, дядя Магруфа бойваччи\*\* за что-то дал оплеуху; до этого, а может и после — вспомнить невозможно! — со всеми вместе пел песни. Но кто эти все? Убей его гром, не знает... Какая-то женщина, бывшая с ним, дважды предложила ему свою рюмку. Потом внесли плов, это точно. Плов он помнит отлично. А что было после плова... Полный провал в памяти! Он долго лежал, удивленно соображая: откуда же на нем грязь? Приложил было руку ко лбу, — нет ли жара? — почувствовал, что волосы слиплись. Он быстро ощупал голову, волосы издавали какой-то отвратительный шуршащий звук. «Засохшая грязь, шапка засохшей грязи!» — наконец догадался он. Глаза раскрылись, он увидел свои руки — грязь покрывала их, как перчатки. Он попытался встать на ноги, чтобы осмотреть одежду, но голова закружилась, его замутило, и он рухнул обратно на кровать.

Он никогда в жизни не видал этой комнаты, вся обстановка которой состояла из одного сундука, потрепанного и рваного коврика на полу и деревянного топчана. Возможно ли, чтобы хозяин дома уложил его на ночь отдельно от других гостей, в этой убогой комнате? Мирза Мухитдин возмутился. Снова кое-как поднявшись, он оглядел всего себя: рубаха и кальсоны на нем чужие. Завернувшись в одеяло, он дотащился до двери и постучал. Кто-то вошел.

— Ах, мой эфенди, ну и проказник же вы!..

— А где же он? Где все остальные?.. Не найдется ли остуженного чая?

Мухаммедраджаб принес чай и, пока тот стыл, представился гостю, а затем рассказал о случившемся.

— Вот взгляните-ка на это, — сказал он, подавая Мухитдину его серебряный портсигар, — эта штучка была у вас во внутреннем кармане жилетки, но грязь проникла даже туда!.. После того как я передел вас в чистое белье и уложил на этом топчане, вы долго пролежали без движения. По правде говоря, я ужасно перепугался...

\* Дутар — струнный музыкальный инструмент.

\*\* Бойваччи — сын бая.

— А мое пальто? Там, в кармане...

— ...было оружие, я его спрятал, будьте спокойны..

Мирза Мухитдин вытянул полную пиалу тепловатого чая, который, словно водка, обжег все его внутренности.

— Но никто ничего не знает, — тихо журчал между тем Мухаммедраджаб. — Не упади вы, эфенди, и я бы не догадался, что вы опьянели. Вы очень крепко держитесь. Таков, кстати, и ваш друг Рахимджан! Одного не пойму: как же ваши друзья выпустили вас одного на улицу в таком состоянии? Не иначе, как и сами они были не лучше... А вам, видимо, захотелось пойтти домой. У нас с вами одинаковая, оказывается, привычка: я тоже никогда в жизни не оставался ночевать в чужом доме... Но ведь всякое случается... Я велел приготовить маставу\* с горьким перцем. Как только съедите одну касу\*\*, все у вас пройдет. А то не ликвидировать ли нам вашу головную боль тем же зельем? Только по одной рюмке?..

При этих словах лицо Мирзы Мухитдина сморщилось, он рыгнул и качнул головой.

Мирзу Мухитдина не привела в себя и мастава, каждая ложка которой обжигала его горло, как растопленное горячее масло. До вечера пролежал он у сандала. К этому времени боль в суставах несколько утихла, однако общее состояние разбитости усилилось. Он не мог говорить ни о чем, кроме того, как избавиться от удручающего и унижительного состояния; он был убит тем, что так и не смог вспомнить вчерашний вечер в подробностях. А все вместе делало его раздражительным и больным, так что Мухаммедраджаб никак не мог воспользоваться «счастливым» случаем и обратиться к спасенному Мухитдину со своим делом. Когда наступили сумерки, Мирза Мухитдин отправил Мухаммедраджаба за банщиком, у которого он кутил со своими дружками. Настроение Мирзы несколько улучшилось лишь после того, как прибежавший банщик заверил его, что он, Мирза Мухитдин, вел себя вчера вполне пристойно и достойно.

— Теперь я пойду, — сказал Мирза Мухитдин. — Положите всю мою одежду в какой-нибудь мешок...

— Нет, мой эфенди! Нижнее белье ваше я велел вытирать и выгладить. Оно уже готово. А костюм и пальто,

\* Мастава — острый рисовый суп.

\*\* Каса — большая фарфоровая чаша.



когда высохнут и очистятся, я принесу сам... Остаться у меня вы не хотите. Я бы проводил вас до вашего дома, да вы-то человек государственный, а в наше время мир полон сплетниками и доносчиками.

У ворот дожидался извозчик.

Поздно вечером следующего дня Мухаммедраджаб пришел к Мирзе Мухитдину и принес его брюки. У Мирзы Мухитдина настроение было отличное, хотя он все еще жаловался на боль в загылке. Несмотря на это, он долго не отпустил Мухаммедраджаба. В течение целого часа Мухаммедраджаб вновь и вновь рассказывал ему о том, как Мухитдин упал в грязь и в каком виде он оказался после этого, и как после всех злоключений он вдруг потребовал от Мухаммедраджаба немедленно найти и привести к нему женщину.

Но тут даже Мирзе Мухитдину стало неловко, и он поспешил переменить тему:

— Я рассказал всю историю Рахимджану и, когда сказал ему, что выручил меня его зять, он... Вы что, в ссоре? Он нехотя отвечал на мои расспросы...

— Да... было... и виноват я сам, знаете ли... Ну и он, конечно, молод, погорячился малость. [По совести говоря, давно пора бы помириться. Во всем виноват я один, но как сделаешь первый шаг?]

Спустя два дня Мухаммедраджаб снова явился к Мирзе Мухитдину, на этот раз с его отутюженным пиджаком в руках. Однако Мирза Мухитдин ничего не говорил про Саиди, поэтому Мухаммедраджабу самому пришлось спросить о здоровье Рахимджана и передать ему поклон. Так же поступил он и в другой раз, когда принес ботинки Мирзы Мухитдина. А в последний раз, когда принес пальто, Мухаммедраджаб наспешно уходил и просидел за разговором до самого вечера.

— Нехорошо так, — сказал вдруг Мирза Мухитдин, будто угадывая заветное желание Мухаммедраджаба. — Вам надо помириться со свояком. Как я понимаю, и ссориться-то было не из чего. Я скажу Рахимджану, я это дело так не оставлю. Если вы были виноваты, то вам и придется устроить небольшой «вечер извинения». А Рахимджана приведу я сам. Он мне никогда не откажет.

— С великой радостью, — ответил Мухаммедраджаб. — Вам остается только назначить день для этого «вечера извинения»...

Если бы не вмешался в это дело Джамаль Карими, то Мирзе Мухитдину едва ли удалось бы выгнать Саиди. Но поразмыслив над доводами Джамала Карими, Саиди пришел к таким выводам: во-первых, Мухаммедраджаб склонил голову, принеся повинную, во-вторых, за что же страдать безвинной сестре? Имеет ли право он, Саиди, из-за глупости Мухаммедраджаба отталкивать родную сестру?

Саиди даже упрекнул себя в бессердечии, признав свою вину перед сестрой.

Он не представлял себе, как будет организован этот вечер и как Мухаммедраджаб будет признавать себя виновником домашней ссоры.]

В четверг вечером Саиди, накупив племянникам игрушек и сластей, отправился вместе с Мирзой Мухитдином и Джамалем Карими в дом сестры. Мухаммедраджаб встретил их в начале переулка и, как ни в чем не бывало, будто бы от всего сердца, заключил Саиди в свои объятия. От него разило водкой и луком.

На вечере не чувствовалось, как боялся Саиди, ни неловкости, ни стесненности. Увидев его в дверях, сестра повисла у него на шее и, плача, увела его в кухню.

— Никогда я не думала, что ты можешь быть таким бессердечным... Бог, видно, сжалился надо мной... Кто же у меня есть, кроме тебя?..

От стенаний и упреков сестры на глазах Саиди навернулись слезы. Но, как истый мужчина, свою слабость он тотчас приписал женщине.

— Что же ты плачешь, дурная?— сказал Саиди, вытирая слезы.— Вот, пришел же...

Сестра пустилась в длинные излияния.

— Во всем виноват он, только он, чтоб ему пусто было,— говорила она, колотя кулаком по земляному полу.— Он сам устроил все это... Ведь дошел до того, что говорит мне: если хоть раз увидишься со своим Рахимджаном, то ты мне больше не жена!.. А когда свалилась беда, так он забегал, места себе не находил, небось... А я про себя думаю: так и надо тебе, поделом! Однажды приходит домой и говорит мне: твой Рахимджан, мол, любит сестру Салимхона. Я промолчала. И не знаю, откуда он это взял, может видел тебя с ней? А по правде, очень хотелось по-

бежать к тебе, братец, узнать, правда ли... Но если он разведется со мной, куда я денусь с тремя малыши детьми, подумай сам? Небо далеко, земля тверда. Ах, Рахимджан, голубчик, быть мужчиной куда лучше, чем женщиной! Даже без ног и рук мужчина — это человек, а женщина всегда безмозглая кошка... Но я всегда знала, что ему еще понадобится мой Рахимджан! И вот теперь, когда налог народил пени и надо платить уже десять тысяч пятьсот, ты ему позарез нужен. У-у-у, чтоб он сдох, этот болван!.. На днях приволок домой одного пьянчугу — говорит, что это твой друг, следовательно... А как проверить? Весь в грязи, я же своими руками его белье отстирывала, брюки и пиджак отчищала да гладила. Говорит, упал в переулке пьяный и будто твой близкий товарищ... Да, чуть не забыла: он очень расхваливал сестру Салимхона. Говорит: если Рахимджан надумает жениться на ней, то ничего, мол, не пожалею, распродам все свое имущество и устрою свадьбу. Он говорит, что непременно женит тебя на ней, что он придумал уже, как это сделать...

Эта откровенная болтовня сестры снова сблизила Саиди с семьей, которая успела стать для него чужой за два с лишним года разлуки.

Церемония извинений Мухаммедраджаба оказалась столь простой, что прошла незаметно даже для самого Саиди. Когда Мухаммедраджаб решил, что наступил подходящий момент, все уже были изрядно пьяны: Джамаль Карими сидел, обняв за шею Мирзу Мухитдина, и горько жаловался на отсутствие правды на земле, а Саиди уже сам был готов расспросить зятя о сумме налога и пообещать свою помощь.

Впрочем, о налоге не было сказано ни слова. Даже тогда, когда гости ушли и Саиди остался наедине с зятем, Мухаммедраджаб не стал говорить на столь неизменные темы.

Так прошел «вечер извинения».

Неделю спустя Мухаммедраджаб пригласил одного Рахимджана к себе на плов. Саиди не сомневался, что теперь-то Мухаммедраджаб заговорит о налоге. Но тот снова не заикнулся об этом. Он говорил только о Мунисхон, стараясь показать шурина, что иных дум и забот у него нет и не было. Наконец Саиди не вытерпел.

— Государство повело очень твердую политику в де-

лах торговли... — сказал он, глядя на огонек папиросы, которую держал в руке.

— Гм-гм... — промычал Мухаммедраджаб, пытаясь изобразить улыбку на сморщившемся от водки лице. — Твердая политика, ничего не скажешь! И землю отобрали. Выплатить бы этот проклятый налог, а потом на работу в какой-нибудь кооператив устроиться. Друзья мои, дай им бог здоровья, настойчиво советуют.

— А велик ли он, налог-то? — спросил Саиди.

— Там еще пени, понимаешь? Всего десять с половиной тысяч.. Ой, Рахимджан, где справедливость? Это ж могила для простого и бедного человека, как я..

— Не сумеете выплатить?

— Что значит — сумею, не сумею? Допустим, выплачу. Так ведь на этом не успокоятся, наоборот, скажут: «Ага, сумел уплатить?» да и обложат дополнительно. Что, неправда?.. Правда, Рахимджан. Я бы совсем закрыл магазин, лишь бы не платить этого налога... Может, государство согласится, а?

Саиди пожал плечами:

— Зачем государству ваш пустой магазин вместо налога? Нет, платить придется. Как-нибудь обернемся. И у меня найдется немного денег...

Мухаммедраджаб замахал обеими руками:

132 — О, что вы?! Неудобно! Ведь вам и самому понадобятся деньги. А позже и у меня они будут! Нет, Рахимджан, все мои думы, все мое внимание теперь приковала к себе Мунисхон...

Саиди покраснел и подчеркнuto поспешил переменить тему. Мухаммедраджаб, словно уступая капризу ребенка, с улыбкой ответил ему:

— Хорошо, хорошо. Тогда скажите мне имя этого вашего товарища, кажется, Мирза Мухитдин? — И, дождавшись утвердительного кивка Саиди, спросил вдруг вкрадчиво и серьезно — А не сможет ли он в делах с налогом указать какие-нибудь пути?

Крутой вираж от Мунисхон к Мухитдину не удивил Саиди.)

— Да Мирза же следовательно и к финансовым делам никакого отношения не имеет, — спокойно возразил он зятю.

Мухаммедраджаб так и остался с разинутым ртом, будто ожидал услышать нечто совсем иное. Затем, сделав

усилие, он заговорил о чем-то несущественном и закончил задумчивым замечанием:

— Государство — как дерево... Если пригнешь одну его ветку, то другие нагнутся сами!

На одном из «пьяных четвергов» Саиди напился до потери сознания, а на следующее утро к нему пришел Мирза Мухитдин.

— Теперь — баста, больше не пью! — мрачно объявил Саиди, показывая приятелю красную от крови слюну. — Поглядите на это. Как только выпью, десны начинают кровоточить. Если и буду пить, то очень понемногу...

Мирза Мухитдин засмеялся.

— Трудновато будет воздерживаться! И раньше-то было нелегко, а теперь ведь стало для вас одним питейным домом больше. Не думаю, чтобы зять отпускал вас, не угостив вволю! Да, кстати: я рассказал Аббасхону о вашем примирении с зятем, а он говорит: «Лучше бы Саиди держался подальше от этого человека». Вы и вчера у него пили?

— Э, да где там! Ему не до того! Ему, кажется, пришел конец!..

— Что так?

Саиди долго мямлил. Но когда он все-таки сказал о налоге, то Мирза Мухитдин, не задумываясь, заговорил на совершенно посторонние темы, никакого отношения к налогам не имеющие. Поняв это как окончательный отказ, Саиди решил больше не возвращаться к этому вопросу. Но в тот же день вечером этот вопрос был поднят самим Мирзой Мухитдином. Впрочем, о главном — можно ли помочь делу? — Мухитдин говорил не совсем членораздельно. Саиди передал этот ответ Мухаммедраджабу как отрицательный, а тот, улыбаясь, опустил глаза, словно и желая, и не смея сказать что-то такое, о чем не подозревает Саиди. Уловив улыбку зятя, Саиди подумал «Или хочет денег просить взаймы, или придумал какой-нибудь новый способ!» Но ему не хотелось слушать ни о том, ни о другом.

— Знаете ли вы Хайдара-хаджи? — вдруг спросил Мухаммедраджаб.

— А что? Немного знаю... Человек неплохой...

— Вчера вечером меня вызывали к себе Аббасхон-эфенди. Аббасхон-эфенди я не знал вовсе, был уверен, что и они не знают меня. Но, оказывается, они меня знали...

До полуночи просидели мы с эфенди за веселой беседой. Они ведь тоже... человек государственный, а жалованья, как я понял, им не хватает. Они мне предложили, между прочим, вести дела вместе с Хайдаром-хаджи, и я не стал спрашивать зачем. Они оказались человеком весьма чутким... Поняв мое состояние, только и сказали: «Все узнаете потом».

Но Саиди хотелось теперь же понять, какую цель преследовал Аббасхон своим предложением. После долгих раздумий он спросил:

— А про налог не говорили вы ему?

— Говорил, как же! Если я дам согласие начать вместе с Хайдаром-хаджи новое дело, то от налога я буду избавлен. Но тут есть одно условие: если я соглашусь вести дело с Хайдаром-хаджи, то мне надо будет переехать к нему. Я дал согласие. Пусть...

За два дня Мухаммедраджаб распродал остатки товара, имевшегося в амбаре, и, написав, как велел Мирза Мухитдин, соответствующее заявление, отнес его в Окружной финансовый отдел. Через людей, рекомендованных Мирзой Мухитдином, он получил заверенную нотариусом государственную запись, по которой значилось, что два года назад его дом переписан на имя жены. Присовокупив этот документ к бракоразводному свидетельству, оформленному, как значилось на этом свидетельстве, тоже полтора года назад, он вручил обе бумажки своей жене и, оставшись, по поговорке, гол как сокол, стал дожидаться окончания игры.

По расчетам Мирзы Мухитдина, Мухаммедраджаба за неуплату налога должны были привлечь к судебной ответственности. Следствие по этому делу предполагал вести сам Мирза Мухитдин, а уж суд должен был вынести подготовленное им решение о конфискации имущества Мухаммедраджаба, не подвергая того более суровому наказанию. Настала, наконец, неделя, в которую ожидалось судебное разбирательство; все было подготовлено, все на мази, как вдруг дело чуть не испортил председатель махаллинского комитета\*. Выход был срочно найден: в областной газете появился фельетон, в котором председатель махаллинского комитета Мавлянкулов обвинялся во взяточничестве. Участь его была предрешена: Мирза Мухитдин принял меры пресечения, заключив Мавлянкулова в тюрьму.

\* Махаллинский комитет — квартальный комитет.

Мурадходжа-домла измучился, пока получил согласие Саиди перебраться к нему на жительство. В дни, когда он уже готовился к встрече нового жильца и украшал свою гостиную, вдруг стало известно, что Саиди помирился с зятем, с которым долгое время был в ссоре. От этой радостной новости Мурадходжа-домла чуть не взвыл. Но когда он услышал о том, что Аббасхон предложил Мухаммедраджабу уехать в другой город и последний принял это предложение, Мурадходжа-домла вскрикнул от радости. Не довольствуясь своей формулой восхищения: «Вы — опытный, очень опытный!», он добрых полчаса восклицал: Вы — гений, Аббасхон, гений!»

В начале апреля уехал сам Мухаммедраджаб, а в конце мая выехала к нему и его семья. И как раз в эти дни в одной из центральных газет появилась статья, опубликования которой с острым нетерпением ожидал домла. Статья эта, указывая на некоторые ошибки Мурадходжи-домлы, признавала, однако, большие заслуги его в области языкознания и вызывала в читателях и уважение, и сочувствие к обиженному ученому.

Неделю спустя Кенджа принес в редакцию большую статью, написанную им в ответ на ту, в которой восхвалялись научные заслуги Мурадходжи-домлы. Прочитав ее, Саиди усмехнулся и сказал, что лучше не печатать ее совсем, чем напечатать за подписью Кенджи. Кенджа отнес статью редактору, но тот, ответив, что у него нет никакого желания впутываться в новый скандал, что проблема, поднятая на страницах одной газеты, и решаться должна на страницах той же газеты, целый час потом читал лекцию об элементарной журналистской этике. Затем он передал злополучную статью в руки Саиди, попросив отослать ее в центральную газету со специальным сопроводительным письмом. В присутствии Кенджи Саиди написал письмо в редакцию центральной газеты, и, прочитав его, Кенджа вложил в конверт. Однако это весьма лойяльное письмо в тот же вечер очутилось в руках Мурадходжи-домлы.

А вскоре Саиди переехал в дом домлы.

Гостиная, на убранство которой было затрачено столько сил и средств, теперь принадлежала Саиди. Захоти он, и может усесться на мягкий диван, обитый черным барха-

том; может часами любоваться на портреты великих писателей Запада и Востока, на пейзажи с закатом солнца и восходом луны — все стены были увешаны картинами в роскошных позолоченных рамах; захоти он, может достать из прекрасных шкафов любую из красиво расставленных книг и, улегшись в мягкую, из пуха и атласа, постель, читать, пока сон не сомкнет его глаз. Писчая бумага, стопкой уложенная на одной стороне массивного стола, серебряная фигурка обнаженной женщины, услужливо протягивающей чернильницу, — все это звало, манило трудиться. В комнате — тишина, шаги заглушает мягкий и пушистый шелковый ковер. В любую минуту можно нажать кнопку звонка, и тут же как из-под земли появится прислужница, готовая исполнить любое его желание. Но сделав все это, создав для Саиди этот рай на земле, домла почему-то стал побаиваться своего возлюбленного жильца. Входя к нему, он осторожно и робко опускается на краешек стула, стоящего у самой двери, и долго просит извинения за беспокойство. Однако не бывает дня, чтоб он не нашел какого-нибудь предлога заглянуть к Саиди и провести с ним несколько часов за беседой. И неизвестно, поводом или причиной для многочасовой беседы послужило однажды желание домлы, познакомить свою дочь Сорахон с Рахимджаном Саиди.

— Чего ты стыдишься, дуреха!.. — говорил домла еще в прихожей. — Ведь он тебе почти брат!..

Саиди, слышавший эти отцовские увещевания, встал и подошел к двери. Домла смелее обычного вошел, ведя свою дочь за руку и легонько подталкивая вперед.

— Познакомьтесь...

Прикрыв лицо длинными растопыренными пальцами и неуклюже извиваясь, Сорахон протянула другую руку Саиди. Рука была липкая от пота.

— Сколько дней твержу ей: зайди, познакомься со своим братом, а она стесняется. Чего стесняться?!

Сорахон сидела, широко расставив ноги и прикрыв обеими руками лицо.

— Ду ну вас, отец!.. — жеманно хихикнула она, отворачиваясь в сторону. Но после того, как Сорахон перестала закрываться перед Саиди, каждая его просьба стала восприниматься в семье домлы как повеление, а каждое требование — как приговор.



Между тем Мунисхон, с тех пор как Саиди поселился в доме домлы, при каждой встрече с ним едва удерживалась от того, чтобы не расхохотаться. Пожалуй, она даже не столько удерживалась от хохота, сколько делала вид, что удерживается. И однажды Саиди не стерпел: спросил, что означает такая ее веселость. Мунисхон в свою очередь ответила вопросом: «Показывается Сорахон с незакрытым лицом или нет?» Саиди растерялся: как объяснить ей, что закрытая или незакрытая Сорахон его совершенно не интересует! Все, что он говорил, звучало фальшиво, и Мунисхон с присущим ей лукавством высказала это. Саиди совсем умолк, решив доказать свое равнодушие к Сорахон в какой-нибудь более подходящий момент, но такой момент все не представлялся.

### XXXI

Однажды поздно вечером Аббасхон засиделся в гостях у домлы и, уже уходя домой, заглянул к Саиди на минутку. Но разговор с первых же слов повернулся так интересно, что они проговорили почти до рассвета. Аббасхон упрекнул Саиди в том, что тот перестал печататься. Саиди попытался объяснить, что занят созданием крупного полотна, но Аббасхон ответил:

— Прежде чем создавать большие полотна, надо за-  
воевать читателя малыми. Тем для рассказов больше чем надо, — говорил он, — есть очень много случаев и эпизодов чрезвычайно интересных. Кстати, вы читали последний рассказ Кенджи?

— Нет, — ответил Саиди, — зачем мне читать всякую дрянь?

— Этот ваш поэт призывает женщин, сбросивших паранджу, в промышленность! Хочет, видно, доказать, что свобода для женщин заключается не только в отречении от паранджи. Но теперь еще рано говорить об этом. Это — тема не сегодняшнего дня. По-моему, прежде всего надо бороться за сохранение невинности женщин, сбросивших с себя паранджу. И призывать их следует не к промышленности, а к целомудрию! А призывать к целомудрию — значит разоблачать испорченных женщин.

Аббасхон начертил Саиди план небольшого рассказа на такую тему, не пожалев для этого часа своего времени.

План заключался в следующем: одна некрасивая женщина, сбросившая паранджу, разводится с мужем из-за того, что муж не купил ей большого резинового мяча. После этого в течение одного только месяца кишлячные парни сбивают с пути и возвращают ее. Из-за нее многие попадают в тюрьму, из-за нее же происходит поножовщина, и, наконец, она уезжает в город.

Для того, чтобы создать такой образ, надо было обладать особой фантазией, но у Саиди он был перед глазами, оставалось лишь перенести его на бумагу. Сорахон с ее неуклюжими повадками и уродливыми выходками была превосходным прототипом.

Свой рассказ Саиди назвал «Влюбленные» и отправил, как советовал Аббасхон, в сельскохозяйственный журнал, но тут его вдруг охватили сомнения. Допустим, рассказ будет напечатан. Мурадходжа-домла, конечно, прочтет его. А что будет, если он узнает в героине свою дочь? Впрочем, Саиди довольно быстро успокоил себя, решив, что ему наплевать на все обиды домлы, лишь бы один раз, один только раз от души посмеялась Мунисхон! «Таким способом я лучше всего докажу Мунисхон мое отношение к этой уродине!» — думал он.

Говорят, черный жук свое дитя называет «светленьким», а ежика своего ёжика — «мягоньким». Рассказ был напечатан, но Мурадходжа-домла, прочитав его, не обнаружил в героине ни малейшего сходства со своей дочерью. Больше того! Домла сам прочитал этот рассказ Сорахон. Она спросила отца, где живет теперь эта женщина. Когда же домла объяснил ей, что все это — плод фантазии Саиди, что он просто выдумал такую историю, Сорахон, ткнув Саиди в лоб длинным и тонким пальцем, сказала: «Ничего, толк из вас выйдет».

Рассказ понравился всем товарищам и приятелям Саиди. Передавали, что даже Махмуджан-эфенди будто бы говорил Ильхаму: «Не ждал, не ждал от Саиди такой прелестной новеллы!»

Не понравился рассказ лишь одному Кендже. Но для Саиди это не играло никакой роли. Он был настолько уверен в недоброжелательном отношении Кенджи, что, по его мнению, Кенджа с удовольствием сделал бы ему саван из собственной кожи, а из костей своих сколотил бы для него гроб.

Но через несколько дней все-таки разыгрался скандал, невольной причиной которого оказался Мурадходжа-домла. И, конечно, дело не обошлось без Кенджи.

На одном из собраний писательской организации Мурадходжа-домла должен был выступить с докладом на тему: «Вопросы правописания в современной периодической печати». Предложение об этом, сделанное Аббасхоном, домла принял с удовольствием. Но когда в газету принесли объявление о докладе, редактор из каких-то соображений, известных одному ему, вычеркнул фамилию докладчика. Домла почувствовал себя оскорбленным и решил доклада не делать. «Если они гнушаются моим именем, так пусть и доклада не будет! А оскорблять себя я не позволю!» — рассуждал он.

Умышленно не сказав о своем решении никому, даже Саиди, домла на собрание не явился. Когда Аббасхон объявил об отмене вечера в связи с отсутствием докладчика, неожиданно выступил Кенджа. Он заявил, что, во-первых, жалеть о несостоявшемся докладе нечего, так как тема его вовсе не является важной и острой для сегодняшнего дня; и во-вторых, коль скоро этот ненужный доклад не состоится, то разумнее всего использовать время собравшихся товарищей. Мало ли есть тем для разговора? Большинство поддержало предложение Кенджи. Тогда Аббасхон обратился к собравшимся с просьбой предложить тему беседы, и несколько человек тотчас отозвались, предложив обсудить новый рассказ Саиди, напечатанный в сельскохозяйственном журнале. Саиди, бледнея, посмотрел на Аббасхона. Аббасхон успокоительно моргнул ему глазом. Но после краткой вступительной речи Кенджи в зале создалась такая накаленная атмосфера, что никакие успокоительные знаки Аббасхона уже не могли успокоить Саиди.

Кенджа говорил, что рассказ Саиди «Влюбленные» наносит явный удар политике советской власти в деле раскрепощения женщин, что рассказ этот служит подспорьем для антисоветских элементов в кишлаках, не только в их подпольной контрреволюционной пропаганде, но и прямо направляя черносотенцев на путь террора, и что не случайно, наконец, рассказ напечатан не в литературном, а в сельскохозяйственном журнале. После всех открытых обвинений сам Аббасхон нуждался в поддержке. Он поспешил как можно быстрее закрыть прения и выступить с заключительным словом.

Саиди и Аббасхон возвращались с собрания вместе.

— Видно, все было заранее организовано, — задумчиво сказал Саиди. — Это я понял по смелости, Кенджи, с какой он выступил. Если бы домла даже и явился бы на собрание, они все равно добились бы его отвода.

— Вы, кажется, обиделись? — спросил Аббасхон, кладя руку на плечо Саиди. — А я предвидел бурю еще тогда, когда предлагал вам эту тему. Если критика ограничится только этим, то я далеко не удовлетворен. Я хочу критики не только однократной и не только в одной лишь газете, я хочу критики многократной и чтоб критиковали вас все газеты, выходящие в республике...

— Это что же, вы хотите, чтобы меня прикончили одним ударом? — спросил Саиди.

Аббасхон, усмехнувшись, покачал головой.

— Нет, нет, успокойтесь... Но об остальном я вам расскажу после. Сейчас я слишком устал.

И Саиди поверил его словам, ибо не мог себе представить, что Аббасхон желает ему вреда.

### XXXII

Все мужчины мира, до последнего, выстроены в один нескончаемый ряд. С тех пор как она стала понимать, что такое пол, Мунисхон идет вдоль этого ряда. Прежде все мужчины представлялись ей, совершенно одинаковыми; потом стали различаться. Наконец, начали встречаться мужчины, которые нравились ей, и даже такие, которые заставляли ее обернуться, чтобы еще раз посмотреть на них. Теперь настало время, когда следовало бы отделить таких мужчин от всех остальных и составить из них новый порядок. И мужчину, нужного ей, Мунисхон найдет только в этом ряду, — неважно, где он находится: здесь ли, рядом с ней, или в другом конце земного шара. Во всяком случае, это будет синтез лучших качеств мужского пола, синтез, образующий совершенство.

Он и она — совершенны, но каждый из них часть, половинка другого. Поэтому потребность выбирать есть естественная и законная потребность каждого из полов. Пора, когда Мунисхон уже была готова к испытаниям на совер-

шеннолетие и зрелость, совпала со временем, когда высокая и неприступная стена, отделяющая ее и многие, многие тысячи девушек, подобных ей, от этой естественной и законной потребности, начала с грохотом рушиться. И Муниسخон всерьез поверила, что она имеет право выбирать.

После того как Салимхон возвратился из полумесячной командировки, Муниسخон услышала от матери чрезвычайно неприятную новость: брат решил выдать ее за некоего Мухтархона из Маргелана! Муниسخон несколько раз видела этого женственно-изнеженного, тшедушного человека. В честь его приезда обязательно устраивались пирушки до утра с участием Аббасхона, Мурадходжи-домлы, Махмуджана-эфенди и других. И всякий раз, выходя к гостям, Муниسخон заставляла Мухтархона говорящим. Стать женой этого хилого, болтливового и женоподобного человека? Муниسخон не на шутку испугалась. Не дожидаясь посредничества матери, не веря в ее серьезное заступничество, девушка решила сама переговорить с братом.

— Хороший человек!— сказал ей Салимхон. — Вежлив, сладкоречив, как девушка!..

«Сладкоречию» молодых людей, «подобных девушкам», Муниسخон предпочитала мужественность: по крайней мере, когда настоящий мужчина пожимает тебе руку, ты чувствуешь, что это действительно мужчина.

— А с моим желанием не станут считаться?— спросила она брата.

— А что, у тебя есть твой избранник? — спросил Салимхон улыбаясь.

— Нет, но...

Салимхон не дал ей договорить:

— Нет, сестрица, раньше, чем вообще говорить на эту тему, я должен сказать тебе нечто очень серьезное. И каждое свое слово, которым ты захочешь возразить мне, ты должна сто раз продумать в соответствии с тем, что я сейчас скажу. Я тебе брат, самый близкий тебе человек. Кроме того, всю свою отцовскую любовь и обязанности наш отец, уходя от нас, завещал мне. Независимо от того, хочешь ты или не хочешь, а я обязан сделать тебя счастливой! Поняла ты меня?

Муниسخон сидела, низко опустив голову, и упрямо молчала.

— Я знаю, о чем ты думаешь,—продолжал Салимхон.— Ты думаешь о «любви» и о «принуждении». Брак «по любви» ты, конечно, предпочитаешь браку «по принуждению». А если вдуматься, то разница между этими двумя видами брака очень невелика. И главное, часто бывает так, что брак «по принуждению» оказывается куда более удачным. Допустим на минуту, что я выдал тебя замуж насильно. Ты помучаешься до тех пор, пока не привыкнешь к своему мужу. Вот именно это и пугает тебя сейчас. Но женщина проходит через мучительный период привыкания даже и в том случае, если она вышла замуж по любви. Спросишь, почему? Да потому, что мужчина до брака показывает лишь свою лицевую, блестящую сторону. А его изнанку — иногда очень темную и даже подгнившую — ты увидишь только после брака, и тогда-то ты окажешься обязанной привыкать к этой оборотной стороне, глотая обиду разочарования. Теперь ответь мне: есть ли существенная разница между двумя видами брака?

Перед глазами Мунисхон встал Саиди, и она тотчас принялась мысленно отделять его «блестящую» сторону от темной изнанки.

— Это первое,— продолжал Салимхон.— Кроме того, что такое вообще женщина? Только лишь мать... Мать! А для того, чтобы стать матерью, по-моему, не обязательно отличать одного мужчину от другого.

— Да ведь и мужчина, в таком случае, только лишь отец! Отчего же ему можно отличать одну девушку от другой? — воскликнула Мунисхон со смелостью, которой даже не ожидала от себя.

— Нет... Конечно, он — отец, но... Я хочу сказать другое. Когда речь идет о любви, право на любовь надо оставить только за мужчиной! А женщина должна добиваться, чтобы ее полюбили...

— Вы хотите сказать, что женщина стоит ниже мужчины?

— Погоди, погоди... Природу ведь одними декретами не переделаешь. Вот сейчас я тебе докажу: женщина, пусть она даже будет замужем одновременно за двадцатью человеками, может в течение года родить только одного ребенка или вовсе не рождает. А если у мужчины одновременно двадцать жен, то он может за тот же год народить хоть двадцать сыновей. Поняла? И все двадцать будут его дети, будут похожи на него... Ясно?

Салимхон потерял нить [мыслей. Он хотел сказать: «Женщина безусловно ниже мужчины», но позабыл то, с чем хотел связать эту новую идею. Он решил было начать все сначала, но Мунихон прервала его:

— А что вы говорили в докладе, с которым выступили на собрании работников просвещения? Не говорили ли вы, что женщины получили полное равноправие и так далее и тому подобное?

— Сравнила! Мало ли что говорят с трибуны. Теперь ведь я не выступаю с докладом перед тобой!

В эту ночь, улегшись в постель и думая о Мухтархоне, Мунихон пришла к такому выводу: «Пожалуй, он не столь уж женоподобен. Может быть, просто молод еще?.. Изнежен? Да и это мне показалось, верно».

Через два дня, услышав от матери о неслыханных богатствах Мухтархона, она снова задумалась. Конечно же он со временем станет полным и представительным мужчиной; выстроит ей дворец, а за садом будет небольшой и интимный садик, — место уединения и раздумий. А в маленьком мраморном бассейне в центре сада будут плавать и резвиться золотые рыбки. Когда поднимется легкий ветер, листья и ветки деревьев будут издавать чарующие звуки... И тогда вдвоем с мужем...

— Нет, — вскрикнула вдруг Мунихон. — Нет, нет! Не хочу!

Отыскав где-то портрет Мухтархона, она долго смотрела на него и обнаружила в нем кое-что интересное: глаза его вовсе не такие круглые, как она думала, а руки не настолько тонки, чтоб казаться уродливыми. Просто ему нужно немного пополнить, и все будет нормально.

И еще как-то Салимхон решительно сказал ей:

«За тебя думаю я, тебе вовсе не надо трудиться думать и заботиться об этом». После этого Мунихон нашла еще некоторые положительные черты в своем суженом. Да, нашла, нашла и, если хорошенько поискать, то найдет еще немало хорошего в нем. Но оставаясь ночью наедине с самой собой, она горько плакала. Она чувствовала себя человеком, которого ведут в тюрьму и который не знает, совершенно не представляет себе, что такое тюрьма. Такому человеку кажется, что очень важно попасть в более или менее хорошую камеру, но чем от-

личается одна камера от другой — он понятия не имеет. И главное, в какую бы камеру он ни попал, а надо уже теперь, уже с этой минуты, привыкать к тому, что ты в тюрьме и не волен ни в себе, ни в других...

Все свое время в последние дни Мунисхон отдавала поискам пороков в Саиди и добродетелей в Мухтархоне. Все достоинства и добродетели Саиди она старалась разглядеть с неведомой ей «изнанки», а пороки Мухтархона наделяла блеском и очарованием... Эта трудная и изнурительная работа, продолжавшаяся несколько недель, настолько утомила ее, что Саиди, встретив ее на улице, сразу понял недоброе.

— Что с тобой, Мунис? Не больна ли ты?— спросил он, пристально глядя в глаза девушки.

Она уклонилась от его взгляда, передернув плечами:

— Никогда в жизни не была такой здоровой!

— Ты какая-то бледная...

— Но ты тоже...

Это было правдой: Саиди тоже казался бледным и поблекшим, потому что и он, подобно Мунисхон, вот уже несколько недель занимался только тем, что из ее достоинств создавал пороки. Впрочем, между ними была существенная разница. Мунисхон при этом ничуть не обманывала себя и в минуты искренности предавалась слезам и отчаянию. Саиди же верил всему, что сам придумывал, и с горя начинал пить.

После долгого молчания Саиди спросил:

— Можно поздравить тебя?

Эти слова он произнес как мог быстро и все-таки еле удержался от слез.

— Можно!— вызывающе ответила Мунисхон, сиюсь показать, что будущий жених любим ею и что она считает себя вполне счастливой. Саиди не совсем поверил ей, но тем не менее почувствовал, что за одну минуту жизнь его сократилась на годы.

И он взял ее руку в свою.

— Между нами...— начал было он, но Мунисхон прервала его:

— Не надо, Саиди, не надо! Мы были близкими, очень близкими товарищами, и почему все это так случилось... я и сама не пойму!

Саиди медленно выпустил ее руку из своей.



Свадьба Мунисхон была назначена на осень. В последние месяцы Саиди, устав перебирать добродетели и достоинства Мунисхон, нашел себе занятие менее сложное. Стоило теперь прийти ему в голову мысли об утраченном счастье, как он поспешно говорил себе: «Я вовсе и не собирался жениться на ней!» И тотчас подкреплял эту многозначительную формулу водкой.

Водки вообще ему хватало: «пьяные четверги», беседы с Аббасхоном, с Салимхоном, встречи с Мурадходжой-домлой — все это начиналось и кончалось рюмкой. Где бы Саиди ни бывал, куда бы он ни шел, всюду встречала его привычная бутылка.

Кроме привычки к бутылке, появилась еще одна привычка — Сорахон. С каких-то пор — Саиди не заметил с каких именно — она очень зачастила к нему и даже чай и еду стала приносить собственными руками. Случается, что и поздними вечерами Сорахон заходит в комнату Саиди, чтобы справиться, не хочет ли он выпить горячего чаю. Да что Сорахон? Недавно перед Саиди с открытым лицом явилась и сама жена домлы. Эта невысокого роста, худая, с каким-то позеленевшим лицом женщина, впервые увидев его, сказала: «Вы — мой сын, я так и буду называть вас!..» Во вторую встречу она с негодованием рассказала ему о сварливом и низком характере прислужницы. Она говорила с таким возмущением, будто виновница ее гнева сама стояла перед нею. Саиди подумал, что вот и ответ на недоуменные мысли о том, почему чай и еду приносят ему сами хозяйки дома.

Однажды, когда к нему пришла Сорахон, Саиди спросил ее:

— Неужели нельзя сменить такую скверную служанку, Сорахон?

Сорахон махнула рукой и, хихикнув, сказала:

— Знаете, у мамыши тоже не сладкий характер!

Саиди слегка покоробила такая неожиданная откровенность девушки, но он невольно подумал, что всякий раз, покидая комнату Саиди, мать Сорахон оставляла после себя такую отравленную атмосферу, словно здесь только что произошла ссора или перепалка.

Как-то вечером Саиди вернулся в несколько более трезвом, чем обычно, состоянии и, намереваясь еще

раз выйти на улицу, прилег на кровать, не раздеваясь. Неожиданно дверь тихо отворилась, вошла Сорахон с чайником в руках. Саиди лежал не двигаясь, прикинувшись спящим. Поставив чайник на небольшой столик у изголовья кровати, Сорахон начала будить Саиди. Тот все не просыпался. Тогда, решив, что он сильно пьян, она тихо и осторожно стянула с него ботинки и, прикрыв его одеялом, ушла.

Саиди встал и приоткрыл чайник. В чайнике оказался остуженный чай. Снять с пьяного человека обувь, прикрыть его одеялом — это может каждый. Но поставить чайник с остуженным чаем у изголовья пьяного человека, именно там, где протянутая рука легко достанет его,— до этого додумается далеко не каждый! А вот Сорахон додумалась! Значит, не так уж плоха она? Саиди долго лежал, глядя на потолок, и думал. Перед его взором одна за другой стали проходить девушки, виденные им до сих пор. На первом плане шла Сорахон с чайником в руках. И Саиди решил присмотреться к ней повнимательнее.

На другое утро Саиди хотел было выразить Сорахон свою признательность, но в доме, видно, что-то случилось, и утренний чай ему снова принесла прислужница. Не вышла Сорахон к нему и вечером и в продолжение еще трех дней. Лишь на четвертый день, выходя из дому вместе с Мирзой Мухитдином, Саиди повстречал ее у ворот. Сорахон в бархатной парандже стояла на другой стороне дороги и прощалась с какой-то девушкой, держа свой чиммат в руке. Саиди несколько отстал от Мирзы Мухитдина, чтобы поздороваться с нею. Прикрыв лицо чимматом\*\* и пропустив мимо себя Мирзу Мухитдина, она с необычной для нее легкостью повернулась к Саиди и шагнула к нему. Саиди протянул ей руку.

— Что же это такое, Сорахон, вы совсем перестали навещать меня?— произнес он, в упор глядя на нее блестящими от выпитого глазами.

Сорахон не выдержала его взгляда и опустила глаза:

— Я уезжала на кавун-сайиль\*...— она протянула руку и сняла с белой шелковой его рубахи прилипшую красную нитку.

\* К а в у н - с а й и л ь — гуляние, устраиваемое во время поспевания дынь и арбузов (к а в у н — дыня).

\*\* Ч и м м а т — то же что и чачван (сетка из конского волоса).

Если чайник с остуженным чаем выделил Сорахон среди всех мыслимых девушек, то эта красная нитка, снятая с его рубахи, резко приблизила ее к Саиди. Саиди рассуждал так: красная нить, приставшая к белой рубахе,— это, конечно, недостаток. Всякий ваш недостаток бросается в глаза скорее тому, кто хочет, чтобы вы были лучше всех. Следовательно, Сорахон заинтересована в том, чтобы у Саиди не было никаких недостатков!

Прощаясь, Саиди попросил Сорахон заходить к нему почаще и сделал это не потому, что не знал, как закончить разговор. Впрочем, он и сам не смог бы объяснить толком, с какой именно целью приглашал девушку. Можно, однако, добавить, что только сейчас Саиди сделал одно открытие: глаза Сорахон оказались черными, а ресницы ее были длиннее всех ресниц, виденных им когда бы то ни было.

Начиная с этого дня каждый раз, когда Сорахон приходила к Саиди, он открывал в ней что-нибудь новое... Наконец он пришел к заключению, что «Сорахон некрасива, это правда, но она симпатична», а через неделю к этому его заключению прибавилось новое: «Бывают девушки очень красивые, но далеко не симпатичные. Не красота важна человеку, а притягательная сила».

— Что такое любовь?— обратился однажды Саиди к Джамалю Карими, со стуком ставя пустую рюмку на стол.— Любовь — это приукрашенное цветами животное влечение. Когда же эти цветы увянут и опадут, останется только голая животная потребность. Следовательно, для брака любовь не обязательна. И нет никакого смысла в словах: «Эта женщина красива, а та уродлива».

Саиди так увлекся своими разглагольствованиями, так разболтался, что Джамаль Карими внезапно забеспокоился: «Уж не собирается ли Саиди отбить у меня любимую девушку?» Поэтому он сказал:

— Существует любовь или нет, хороша ли для брака красивая женщина или лучше уродливая,— независимо от всего этого я женюсь только на своей избраннице!

Для Саиди было все равно, на ком женится Джамаль Карими, лишь бы он покорно выслушивал его рассуждения о том, что любви не существует вовсе и что уродливая женщина во много раз лучше красивой.

Однажды Саиди не пошел в редакцию с тем, чтобы дома, в спокойной обстановке, подготовить срочный и ответственный материал для очередного номера газеты. Если не считать послеобеденного часа, который он все-таки посвятил отдыху, Саиди проработал с утра до самого вечера и очень утомился. Он встал, сладко потянулся и вдруг почувствовал, что в глазах у него потемнело, закружилась голова, в ушах загудело. Он медленно выбрался на улицу. Дождь только что перестал, плотно прибив пыль, поднятую дневной суетой. Воздух был чист. Листья на деревьях, омытые дождем, ярко зеленели, и капли, осевшие на них, искрились в лучах заходящего солнца. Саиди долго прохаживался, заложив сцепленные руки на затылке. Он был настолько погружен в свои мысли, что не замечал окружающего. Забыв вытереть ноги, он наследил по всей комнате, но обнаружил это, лишь подойдя к столу и обернувшись назад. На недавно покрашенном полу остались грязные следы, а около самого порога лежал комок глины. Саиди вернулся к двери, вытер ноги, подошел к столу и снова уселся за работу. Он пороработал до самых сумерек, но как только засветил лампу, ему стала видна грязь у порога. Это до такой степени мешало ему и раздражало, что он принес веник и только было нагнулся, чтобы вымести грязь, как вдруг вошла Сорахон.

— Ах, горе мое!— сказала она, вырывая веник из его рук.— Я не велела мыть полы из-за того, что вы работаете. Не надо, не делайте этого. Знаете примету: кто к вечеру метет в комнате, тому будет худо...

— Я только чуточку...— сказал Саиди, увернувшись от нее с веником. — Вот только эту грязь вымету...

Сорахон вырвала наконец из его рук веник и вымела всю комнату.

Саиди продолжал оправдываться.

— Так задумался, что даже ноги забыл вытереть. А этот ком так и лезет в глаза.

Сорахон принесла тряпку, лежавшую у входа, вытерла следы. Пока она занималась этим, Саиди успел сделать еще несколько открытий, касавшихся ее женских качеств. Он даже сказал самому себе: «Когда станет женщиной, она, вероятно, пополнеет, а это украсит ее...»

— Много вам еще работать?— спросила она, усевшись в кресло, стоявшее у окна.— Скоро ужин...

В ушах Саиди, глядевшего на ее груди, трепетавшие под шелковым платьем, этот голос зазвучал нежно и приятно.

— Ну, работа не волк, в лес не убежит, да вот аппетита нет... Уж и не знаю, отчего это... быть может, потому, что весь день просидел за столом...

— А я? Весь день бегала, не присела, но аппетита нет и нет! Это не оттого, что просидели весь день. Когда начался дождь, я очень обрадовалась: вот, думаю, станет прохладнее...

Прервав самое себя, она подошла к столу, за которым сидел Саиди. Саиди хотелось, чтобы она подошла еще ближе, но Сорахон остановилась на некотором расстоянии от него. Опираясь обоими локтями на поручни кресла, он сам передвинулся к ней.

— Значит, вы, как и я, не любите жару?— спросил он, беря руку Сорахон в свою.

Руки Сорахон коснулась рука мужчины... Она пугливо дернулась. Саиди быстро отнял свою руку, но, стараясь не терять удобного момента, сказал, оттягивая кожу на собственном локте:

— Видите, я должен поправиться вот настолько... А вы?

Сорахон посмотрела на свой локоть. Саиди попытался и на ее локте немножко оттянуть кожу, делая это с таким видом, будто трогает не девичью руку, а какой-то неодушевленный предмет, лежащий у него на столе. Но Сорахон спрятала руку за спину и, смеясь, отбежала. Этот смех как бы открыл дорогу новой игре. Схватив за оба локтя Сорахон, Саиди потянул ее к себе, мысленно говоря: «Сначала я поцелую ее, а там будет видно, что дальше...»

### XXXIV

То ли Сорахон всерьез не хотела поддаться, то ли Саиди боялся, что кто-нибудь может внезапно зайти, так они в тот день и не продвинулись дальше и даже поцеловать девушку он не сумел.

Сорахон не показывалась два дня. Только на третий день вечером она появилась, робкая как напуганная лошадка. Саиди решил не отступать с завоеванных по-

зиций и снова ухватил ее за руку, но опять случилось что-то непонятное, и ему не удалось поцеловать ее так, как хотелось.

И вот идет день за днем. Почти ежедневно Сорахон заходит к Саиди, и Саиди действует точно так, как наметил накануне, а для исполнения его желаний все еще не хватает чего-то. Чего? Он тщетно ломает голову, он рассуждает сам с собою и, наконец, выносит глубокомысленное заключение, что «для того, чтобы получилось так, как хочется, надо, чтобы обе стороны стремились к одному и тому же». Опять идет день за днем, и спустя три недели новое условие осуществляется. Обе стороны стремятся к одному и тому же. Но Саиди все еще чем-то недоволен. Он на разные лады, методически и долго анализирует свои желания и приходит к выводу, что «любить красивых девушек и страдать из-за них, морочить головы уродливым девушкам и забавляться ими — все это болезни молодого возраста».

Конечно же это забава. Разве, поцеловав Сорахон, можно уменьшить жажду любви? Ибо, сколько ни старался Саиди убедить себя и других в том, что для брака уродливая девушка лучше красивой, что любовь есть не что иное, как животная потребность, украшенная цветами, сколько он ни превращал достоинства Муниسخон в ее пороки, Муниسخон оставалась тою же прелестной и неповторимой Муниسخон. Одно только воспоминание о первой встрече с ней сводило на нет все его рассуждения.

Ведь для чего Саиди поступал в университет?! Чтобы очутиться в одном ряду с мужчинами, которых Муниسخон считала достойными своего внимания. А отчего затем Саиди стремился к богатству, к славе? Богатство и слава должны были выделить его из этого ряда мужчин и поднять на такой пьедестал, чтобы только он один привлекал внимание Муниسخон.

Но Саиди опоздал. Пока он поднимался по лестнице славы, добираясь до самой верхней ступени, нашелся неизвестный ему мужчина по имени Мухтархон, который обогнал Саиди и накрепко привязал к себе Муниسخон на веки-вечные.

И все же Саиди надеялся, что он не совсем опоздал. Казалось, ему остается всего один шаг для того, чтобы это совершилось, достаточно только одной большой шу-

михи вокруг его имени на страницах республиканской газеты.

Но газеты не поднимали шума. Не трубили они во весь голос словами Аббасхона: «Саиди — будущая гордость узбекской литературы!» А ведь это предвещает не только Аббасхон, об этом говорят все! Мурадходжадомла, лучший знаток талантов, не пожалел многих тысяч рублей своих денег во имя славного будущего Саиди. Махмуджан-эфенди, сравнивая Саиди с теми писателями, которых встречал в Турции, твердил: «Путь, который проходят самые крупные таланты, измеряется годами. У Саиди — неделями».

На самом же деле Саиди был еще так же далек от настоящей славы, как и в первые дни литературной деятельности. Собственно, у него и было-то всего два-три самостоятельных рассказа да столько же стихотворений, опубликованных в журнале, но зато всевозможных «теоретических» рассуждений, всяких, якобы мудрых, философских изысканий было у Саиди очень много. Так, пытаясь проникнуть в тайну возвышения своих собратьев по профессии, среди которых он вращался, Саиди неожиданно для себя открыл теорию «испорченности мира» и решительно провозгласил, что «мир все еще продолжает портиться!» Слывший когда-то более молчаливым, чем даже Якубджан, Саиди теперь, когда ему удавалось завести речь о порочности мира, становился более многословным, чем Махмуджан-эфенди. Литературная его деятельность теперь сводилась к бесконечным разглагольствованиям с людьми, признающими «порочность мира», и в разъяснении «порочности мира», людям, не признававшим этого до сих пор. Тех, кто не согласен с ним, он откровенно презирует и мельком поясняет приятелям, что «в головном механизме этих товарищей недостает одного важного винтика». А у таких людей, как Кенджа и Теша, по мнению Саиди, не хватает уже целой вращающейся лопасти.

А вот Ильхама Саиди считал одним из тех, у кого головной механизм скомплектован полностью. Ильхам с полуслова понимал Саиди, даже намеренья его угадывал по одному намеку. Понадобилось как-то Саиди сказать Ильхаму: «Политика у нас никудышная», и он попробовал выразить это мимикой. Ильхам понял мгновенно и ответил так, что у Саиди не осталось никаких

сомнений в понятливости друга. «На свете есть только два по-настоящему умных человека, — говорил себе Саиди, — один из них — я сам, второй — Ильхам».

Впрочем, большинство людей своего круга Саиди считал людьми умными; он был убежден, что головные механизмы у всех них сработаны добротной, и объединял их одним общим определением: «Это — понимающие, толковые товарищи».

— Я думаю, мы не какие-нибудь прокаженные, — сказал ему однажды Якубджан в типографии, толкнув его в бок. — А если прокаженные, то так и объявите...

— Что такое? — не понял Саиди, промеривая оттиски, которые держал в руке.

Якубджан, не отвечая, направился к прессу, чтобы оттиснуть небольшой текст, набранный им самим. Он только что хотел вернуться и объяснить смысл своих слов, но тут к нему подошел метранпаж и, сказав, что без разрешения набирать ничего нельзя, помешал сделать оттиск. Якубджан промолчал до самого окончания верстки, разбирая свой набор. Замечание метранпажа задело и Саиди, потому что и он иногда упражнялся в искусстве ручного набора.

— Мы абсолютно не прокаженные, — сказал он, когда вышли на улицу. — Ну, что такое случилось?

— Отчего это все могут устраивать гап\*, а мы не можем? Гап — украшение и краса осени... — ответил Якубджан.

Саиди с охотой согласился участвовать в гапе, если для компании найдутся люди толковые и надежные. На следующий день Якубджан перечислил ему по именам всех людей, готовых принять участие в гапе. Среди них были знакомые, вроде Закирхона, бывшего управляющего делами облисполкома, а ныне директора техникума. Саиди познакомился с ним давно, в доме Салимхона, когда следователь Мирза Мухитдин еще рассказывал о расследовании произведений художественной литературы и жаловался на трусость писателей.

Во время земельной реформы Закирхон вместе с несколькими ответственными работниками подал заявление протеста в областной комитет партии. Группа была

---

\* Гап — вечера с угощением, устраиваемые (обычно осенью) по очереди у каждого члена компании.



разгромлена; некоторые участники ее были исключены из партии, некоторые раскаялись и искренность своего раскаяния доказали, приняв деятельное участие в реформе. Закирхон принадлежал к числу раскаявшихся, но спустя несколько месяцев не кто другой как он организовал новую группу, действующую против обкома партии. Была разгромлена и эта группа. Среди жалких ее остатков оказались сам Закирхон да еще один его единомышленник. Подобно тому как азартный игрок ищет и находит всякие пути для удовлетворения своей страсти, Закирхон вскоре прославился как «заядлый группировщик», который только и делает, что организует новые группы. Это повторялось так много раз, что в городе на него пальцем показывали. Увидев Закирхона на улице с маленьким чемоданчиком в руках, все знали: Закирхон снова натворил что-то и теперь едет в центр с покаянным заявлением. Наконец Закирхон так устал в этой бесплодной борьбе, что не гнушался протягивать руку всякому, не глядя в лицо тому, кто предлагал ему поддержку. Он по-прежнему был недоволен подлунным миром, так недоволен, что на первом же гапе очень понравился Саиди, и они быстро сблизились.

Компания, состоявшая вначале из пяти человек, в конце месяца разрослась до девяти и от всех Саиди был в одинаковом восторге.

— Гап — это святая святых, наша кааба. Можно грешить сколько угодно, эти грехи не будут вписаны в книгу грехов, но есть одно условие: все, что будет происходить на гапе, — должно остаться тайной для всего остального мира, — сказал Якубджан однажды, обглядывая увесистый мосол.

Закирхон засмеялся.

— Не хватало, чтобы и здесь занимались вопросом личной идеологии! Здесь вам не съезд интеллигенции!..

Слова, считавшиеся вначале на гапах неосторожными, быстро привились и перестали удивлять кого бы то ни было. Саиди казалось, что весь мир поголовно испорчен, некуда ступить честному человеку; единственным местом, где можно не кривляться, не носить маски, не опасаться соседа — являются эти гапы, поэтому только на них он чувствовал себя свободным и счастливым.

Однажды один учитель с тонким, как у Махмуджана-эфенди, голоском, выпив лишнее, начал бить себя в грудь.

— Я живу в достатке, каждый день ем плов и казы\*, но вся эта сытая жизнь отравлена для меня! На съезде интеллигенции меня ругали. Пусть! Пусть ругают меня!! Но я хотел бы знать, что молодежь будет избавлена от этих ужасов...

Джамаль Карими посмотрел на Закирхона, тот — на Саиди, а Саиди опустил глаза.

— Что делать? Что делать, люди добрые? Научите! — выкрикивал учитель.

— Организоваться...— ответил ему Закирхон усмехаясь.

О том, для чего надо организоваться, знали все.

Якубджан, облизывая жирные губы, словно кот, только что разделавшийся с украденным куском мяса, исподлобья поглядывал на всех.

---

\* К а з ы — особого приготовления острая конская колбаса.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Саиди впервые увидел Мухтархона на свадебной неделе. Увидел и поразился. Бог мой, что же в нем есть? Слишком растянутый книзу лоб, похожие на упавшие в грязь бусинки глаза. Торчащие скулы да уши, как два распущенные веера. Седина в волосах и бороде. Неужели Мунис погналась за его богатством?! Нет, наверное, тут есть еще что-нибудь. Есть, есть! Не случайно же этого Мухтархона, человека как будто заурядного, простого преподавателя из школы первой ступени, уважают и почитают все, начиная от Аббасхона и кончая Махмуджаном-эфенди. Махмуджан-эфенди, обмениваясь с Мухтархоном обычно рукопожатием, клянется так низко, что издали кажется, будто он целует руку. Мухтархон запросто разговаривал, шутил и смеялся с главным следователем вилайетского суда, называя его на «ты». Саиди собственными ушами слышал такой разговор и окончательно уверовал, что у этого человека есть какая-то тайна. Или, может быть, он держит в своих руках ключ какой-нибудь чужой тайны?

Когда-то Саиди, тщетно пытаясь представить себе дом, в котором живет Мунисхон, вот так же награждал ее обиталище всяческой таинственной прелестью. Теперь, сидя напротив Мухтархона, он по-детски ожидал всевозможных чудес.

— Ах, да, чуть не запамятовал! Вам поклон от вашего зятя,— рассеянно сказал Мухтархон, он играл в шахматы с Мирзой Мухитдином.

— Да будет и он здоров, спасибо,— поспешно ответил Саиди.— Вы знакомы с ним? Давно от него нет писем.

В эту минуту Мирза Мухитдин неожиданно атаковал короля Мухтархона. Думая над тем, куда передвинуть своего короля, Мухтархон машинально сказал:

— Гм... Не надо особенно увлекаться перепиской...

Саиди удивился этим словам и понял только одно: несомненно Мухаммедраджаба преследуют.

— Где он теперь находится?

— Гарде!— воскликнул Мухтархон и только было собрался ответить Саиди, как Мирза Мухитдин, передвинув пешку, вернул его в неприятное положение. Мухтархон снова увлекся обороной и рассеянно сказал:

— Гм... В Узгенте он... Шах! Гм-м... Да, он в Узгенте... Нет, нет, ваш король под ударом. В Уз-ген-те...

— А что же он делает в Узгенте?— хмуро спросил Саиди.

Аббасхон засмеялся. Торопясь дать мат Мирзе Мухитдину, Мухтархон пропустил мимо ушей вопрос Саиди. Подойдя к Саиди, Аббасхон положил руку ему на плечо и снова засмеялся.

— Вы не хотите, чтобы ваш зять жил в Узгенте?

— Да что ему там делать? — заподозрив в смехе Аббасхона что-то недоброе, спросил Саиди. — И точно ли он в Узгенте?

— Н-не знаю... Послушай, Мухтар, где сейчас Мухаммедраджаб?

Мухтархон не ответил. Аббасхон увлек Саиди к дивану.

— Откуда этот человек знает Мухаммедраджаба?

— Послушай, Мухтар,— обратился Аббасхон к Мухтархону, все еще загадочно улыбаясь,— скажи, откуда ты знаешь Мухаммедраджаба?

Но Мухтархон был по-прежнему поглощен шахматами:

— Шах... Еще раз!.. Мы всех знаем... да... Мы знаем... Шах!.. всех... Только вы нас не знаете... да... Шах и... мат!

От гордости Мухтархон даже покраснел.

— Это вы нас не знаете. А мы вас хорошо знаем! Мы вас очень хорошо знаем, Рахимджан Саиди! — сказал он, снова расставляя фигуры.

Аббасхон успокоил Саиди, подтвердив, что Мухаммедраджаб действительно уехал в Узгент, но объяснение по этому вопросу отложил на другой раз.

В этот вечер что-то такое в Мухтархоне очень понравилось Саиди: настолько понравилось, что на следующий день он сказал Якубджану: «Видно, Мухтархон

очень толковый человек». Якубджан необычно горячо согласился с этой оценкой и даже довольно подробно написал Мухтархона. По его словам получалось, что на всем белом свете есть лишь один человек с совершенным головным механизмом, и этот человек — Мухтархон.

— Многое видел он в жизни, у него колоссальный опыт,— говорил Якубджан.— Он все может. Я с ним близко не знаком, но поверьте мне — знаю, что говорю.

— Он заинтересован и... в наших делах?

— Это покажет будущее. Во всяком случае, он никогда не донесет, можете быть спокойны.

Но хорошие стороны характера Мухтархона, даже проявившиеся в его взаимоотношениях с Саиди, еще не давали Мухтархону, по мнению того же Саиди, достаточных оснований, чтобы стать женихом Мунисхон. Как Мунисхон могла полюбить этого человека, чем завоевал он ее и Салимхона — этого Саиди не понимал и понять не мог.

В день свадьбы Мунисхон и Мухтархона Саиди, запершись с самого утра в своей комнате, начал пить. И чем больше он пил, тем больше хотелось ему пить. На свадьбу он так и не пошел, а подробности торжества на следующий день рассказала ему Сорахон: Мунисхон плакала, говорила она, Салимхон избил ее. В ичкари было еще много неприятного, горького и печального.

## II

— Вы, оказывается, были влюблены в мою подружку Мунисхон? Мне недавно рассказывали...— сказала однажды вечером Сорахон, когда сидела у Саиди.

Саиди стоял у книжного шкафа и молчаливо любовался гранями бемского стекла, которые в лучах электрического света отливали всеми цветами радуги. Но спокойствию его мгновенно пришел конец, едва он услышал вопрос Сорахон. Так и не достав книгу, он обернулся, еще не зная, как вести себя.

— Ходить вместе — значит обязательно влюбляться? Да, мы много бывали вместе, но только по-товарищески.

— Ах, господи... по-товарищески! Юноша и девушка целыми днями вместе, вдвоем, и все... по-товарищески?

— Отчего же нет? Ведь вот мы с вами бываем одни, и очень часто! Даже и сейчас, сидим просто разговариваем.

— А целовались мы с вами, обнимались, разве это тоже просто «по-товарищески... по-товарищески»?!

Саиди, давно позабыв, зачем подходил к шкафу, смущенно вернулся на свое место у стола. Теперь он раскаивался в необдуманных словах, вырвавшихся у него.

Несколько месяцев назад домла, представляя Саиди гостю, приехавшему из Киргизии, назвал его «своим зятем». С некоторых пор повелось так, что Саиди садился за стол вместе со всеми членами семьи, в ичкари; его стали считать правой рукой Мурадходжи-домлы в семье. А однажды домла, сидя с Саиди за бутылкой коньяка, как бы между прочим сказал: «Вы не очень балуйте с Сорахон, Рахимджан... Всему свое время... Разговение, знаете ли, должно происходить за дастарханом, с щепоткою соли, как это полагается!» Если дело дошло до этого, то как он смел сказать Сорахон, что они разговаривают «по-товарищески»? Молодец еще Сорахон, что не расплакалась, не раскричалась. Испытывая угрызения совести, Саиди с этого момента старался доставлять Сорахон приятные минуты. Впервые он дал себе отчет в своих поступках и понял, куда несет его течение. Махнув рукой он сказал самому себе: «Что будет, то будет!..»

В общем, это была переломная минута в жизни Саиди. Примирившись с тем, что не миновать ему брака с Сорахон, Саиди повел себя, как настоящий и, главное, желанный жених в доме Мурадходжи-домлы.

Об отношениях между Саиди и Сорахон знала вся многочисленная родня Сорахон с отцовской и с материнской стороны, знали все знакомые; мать Сорахон всем и каждому повторяла с гордостью: «Уж как я хотела, как хотела найти хорошего жениха для моей единственной ненаглядной дочери!.. Бог милостив, он услышал мои мольбы...»

Доволен был и Мурадходжа-домла. Он вышел из игры победителем. Поселив Саиди в своей гостиной, он теперь входил к нему не столько как благодетель, сколько как любезный его сердцу тесть.

Соглашаясь стать мужем Сорахон, Саиди не мог не думать о том, что скорый брак должен вручить ему ключи от всех богатств домлы. Домле не стоило большого труда направить мысли Саиди в эту сторону. Недаром же он постоянно советовался с будущим зятем по поводу налога, которым обложили его имущество, или о том, каких быков

посылать на пахоту. В такие минуты Саиди чувствовал себя столь же равноправным хозяином всех богатств домлы, как и сам Мурадходжа. А в последнее время домла уже и не советовался, но прямо испрашивал у Саиди разрешения поступить так или этак. Слово Саиди стало для него законом.

Саиди и его супруга, «хоть и некрасивая, но довольно симпатичная», — наследники Мурадходжи-домлы. Когда домла говорил об этом, то Саиди казалось, что домла умрет не раньше, чем во много раз приумножит и без того богатое наследство.

Земельные угодья, дом, радениями нескольких поколений превращенный чуть ли не в сказочный дворец со своим «райским садом», — все это принадлежит теперь Саиди. Начиная от соломинки, валявшейся на земле, и кончая иглой на куполе крыши, — все, все теперь принадлежит Саиди. Он стал входить во все мелочи хозяйства, они привлекали его. И часто даже являлись источником раздражения.

Иногда лежа с открытыми глазами, Саиди видит сны. Он знаменитый и всеми уважаемый писатель; он, как тот американец, уже получает двенадцать тысяч золотом за одну колонку газетного текста; из многих стран рекой текут к нему франки, доллары, рупии... Ему уже тесно в этом суетливом и огорчительном городишке, где начиналась его слава. Подобно американскому поэту Торо, он хочет поселиться где-нибудь в нетронutom уголке природы; он будет сидеть в своем дворце, построенном для него в самом восхитительном месте долины, и, слушая дивную музыку, будет любоваться всей долиной, раскинувшейся пред окнами его дворца. Отары овец и овечек, пасущихся в этой долине, заросли фисташек, ели, покрывающие косогоры, зеленые массивы трав, арыки, серебряными лентами выющиеся меж ними, — вся эта благодать существует лишь для того, чтоб радовать глаз Саиди. За его дворцом раскинется громадный парк, в котором можно будет найти все фруктовые деревья, населяющие земной шар. Силой золота Саиди будет выращивать в этом саду лотосы, финиковые пальмы, ананасы...

Саиди так ясно представлял себе все это, что, кажется мог бы показать на карте и свою долину и даже сказочный дворец.

Однако пока что все это — только фантазия, мечта, которую надо превратить в действительность. Переселение

в гостиную Мурадходжи-домлы было лишь первым шагом по пути к обетованной долине с ее сказочным дворцом и небесной Ариадной, у ножек которой воркуют голубки и пчелы пьют нектар благоуханных цветов.

И, случалось, Саиди задавал самому себе вопрос: «Да возможна ли в наше время подобная красота?» Вопрос этот вызывал раздражение, был слишком реален для непрочного мира фантазии. Но в той долине, во дворце, понадобятся люди, которые должны возделывать почву и собирать урожай — не для себя, а для Саиди. Кто будет там, в долине, сажать цветы для пчел, убирать помет голубей в райском саду, протирать стекла и ступени в сказочном дворце и вообще делать всю ту низменную черную работу, которой никто не любит и без которой не существует ни дворцов, ни садов... Современные женщины ежедневно, ежечасно кричат, во весь голос кричат: «Не хотим быть рабынями!» Ни острый нож, ни топор, ни веревка, ни даже «адские муки» не в силах уже спасти паранджу, этот символ рабства. Население кишлаков, как говорит домла, враждует между собой. И эта вражда обостряется с каждым днем все больше и больше.

Когда Саиди задумывался над всем происходящим, он начинал задыхаться, даже если сидел на открытом воздухе. Да, прежде чем воздвигать дворец в долине, надо обзавестись хотя бы верными рабами и рабынями, а для одного этого необходимо в корне менять условия жизни, заставить время повернуть вспять. Но чем, какими путями можно достигнуть этого? На такие вопросы Саиди получал ответы на сборищах-гапах.

Вернуть мир в его первоначальное состояние! Не так-то просто вновь склепать раскованные народом цепи. Не так-то просто превратиться в кузнеца во имя восстановления проклятых народом цепей. Но старые цепи стали уже необходимы Саиди не только затем, чтобы мечты свои превратить в действительность, но и затем, чтобы сохранить богатое наследство Мурадходжи-домлы.

Во время интимных бесед с Мурадходжой-домлой Саиди казалось, что весь народ, населяющий страну, только о том и мечтает, как бы возратить ушедшие навек времена. Ему казалось также, что если мир вновь приобретет свой старый облик, то все и вся, от старых дувалов до сказочного дворца в несуществующей долине, будет спасено от грядущей гибели.



Но кто же все-таки они, эти будущие рабыни и батраки, которые захотят трудиться во дворце Саиди, в его садах, на его землях? Почему их, этих рабынь и батраков, устроит переделка мира на старый образец? Ответ Саиди нашел, неожиданно для самого себя, у философа Оммона, которого он за последнее время очень полюбил.

«Результатом естественного течения жизни современного общества,— утверждал Оммон,— явится то, что каждый индивидуум найдет место в жизни в соответствии со своими способностями...»

Саиди показал изречение Мурадходже-домле, и тот очень одобрил находку.

Даже Сорахон понимала, что новый строй плох. Однажды домла заговорил о свадьбе, а потом съехал на обвинения в адрес советской власти. В комнату вошла Сорахон. Она прислушалась, потом язвительно сказала: «Мужчины! На что вы способны?! Болтать, только болтать! Напишите хоть объявление о том, что власть плоха, и я сама расклею его на улицах!..» Эта минута так сблизила Саиди с Сорахон, что за одно только мгновение он нашел в ее лице миллион новых прекрасных черт.

### III

Председатель махаллинской комиссии Мавлянкулов, арест которого был необходим для благополучного и спокойного отъезда Мухаммедраджаба, просидел в тюрьме больше года, пока следователь Мирза Мухитдин нашел нужным заняться его делом. Неизвестно, очень ли долгим оказался этот срок самому арестованному, но для его жены, оставшейся с шестимесячным сынишкой, время перестало двигаться.

До того, как мужа посадили, они кое-как перебивались, но уже через неделю после его ареста жена начала распродавать понемногу имущество. А через два месяца и продавать уже стало нечего. В таких случаях говорят: «Для женщин ичкари небо стало далеким, земля твердой». Оно и понятно! Не могут же родственники кормить таких несчастных всю жизнь! А что может сделать она сама? Даже грамоты не знает... А если б и знала? Нельзя же сидеть за письменным столом в парандже! Ладно, пусть бы не за столом работать, пусть хоть носилки таскать! Но и для этого необходимы открытое лицо и свободные руки.

Через восемь месяцев активисты махалли и товарищи Мавлянкулова по работе подали коллективное заявление с просьбой отпустить его на поруки. Но следователь Мирза Мухитдин ~~заявил~~, что арестованного Мавлянкулова на поруки ~~выдать~~ нельзя.

155  
Тем временем на Мавлянкулова, обвиненного первоначально во взяточничестве, сыпались все новые и новые обвинения: он и взяточник, он и развратник, он и противник раскрепощения женщин. Затем неизвестно каким образом к делу был припутан дед Мавлянкулова, который когда-то был табибом\* и во время операции, по слухам, ~~зарезал~~ кого-то, а затем присвоил корову своего неудачливого пациента. И из этой темной стародавней истории тоже почему-то следовало, что внук табиба арестованный штукатур Мавлянкулов — человек во всех отношениях дурной и опасный. Словом, если бы нашелся на свете какой-нибудь чудак, задумавший провести перепись всех негодяев земного шара, то возглавить его список должен был бы несомненно штукатур Мавлянкулов. Он обвинялся почти во всех грехах, предусмотренных статьями уголовного кодекса. Так и объявил следователь Мирза Мухитдин тем, кто пришел к нему с просьбой выдать заключенного на поруки.

Поскольку от надежды взять Мавлянкулова на поруки пришлось отказаться, оставалось только одно: ускорить суд. Кто-то из активистов махалли написал заявление о тяжком положении семьи арестованного штукатура и вручил это заявление его жене, с тем чтобы она сама пошла к следователю Мирзе Мухитдину.

Женщине, в жизни не переступавшей порога учреждения, подать заявление официальному лицу было так же трудно, как человеку, не умеющему плавать, с размаха броситься в самую середину реки. Жена Мавлянкулова понятия не имела, что такое суд и что там делают, от страха ее бросало то в жар, то в холод. Но что же делать: когда иного выхода нет, надо попытаться и поплыть и взлететь.

Суд оказался вовсе не таким, как она представляла себе. Обыкновенный дом и люди как люди. Весь суд она запомнила таким: огромный стол, заваленный грудями бумаги. Когда она очутилась перед дверью кабинета Мирзы Мухитдина, ее снова взяла оторопь. Кабинет был

\* Т а б и б — врач, знахарь.

украшен красными знаменами, на стенах висели портреты вождей. Мирза Мухитдин, восседавший за большим столом, покрытым красным сукном, взяв заявление, кивком головы указал ей стул. Прочитав заявление, он нахмурил свои тонкие и черные брови и, засунув одну руку в карман галифе, другой довольно небрежно отбросил заявление на стол.

Заявление было ясное и простое, перечитывать его не стоило. Но надо же было показать тяжелое раздумье, в которое вверг Мухитдина этот листок бумаги. Встав из-за стола, следователь вышел на середину кабинета и принялся вышагивать по диагонали — взад и вперед, взад и вперед. Затем он снова задумчиво уставился на заявление и, изобразив на лице гнев, возмущенно надул щеки.

Беленькая рука, протянувшая ему заявление, чуть выглядывала из-под чиммата.

— Кем приходится вам Мавлянкулов?

Женщина сквозь слезы ответила:

— Муж он мне...

Глаза Мирзы Мухитдина впились в белые дрожащие руки.

— Советские законы строго карают взяточников. Взяточники — враги советской власти. Ваш муж — враг советской власти...

Женщина, горько зарыдав, прервала его:

— Ах, боже мой, боже мой... Это все наговор!.. Он бедный штукатур... И никогда не шел против власти. Наоборот, он всем разъяснял...

— Да ведь видно же, что он был против! Вот и вы, его жена, тоже против власти! Если вы за советскую власть, то почему до сих пор не сбросите паранджу? Разве это не доказывает, что и вы против власти? Вы разве не слышали, что власть говорит? Власть говорит: долой паранджу!

Женщина испуганно пробормотала что-то. Она была готова сейчас же скинуть с себя паранджу, но ей было неловко сказать об этом.

— Или паранджу надели только теперь, идя сюда? — спросил Мирза Мухитдин, заметив ее смущение.

— Нет... да... стеснялась я... — ответила женщина и сняла с лица чиммат.

У Мирзы Мухитдина заблестели глаза, когда он увидел чистое, хотя и несколько поблекшее из-за житейских невзгод лицо, губы, похожие на бутон пунцовой розы, длинные ресницы, на которых повисли слезинки. Ничем не выдавая охватившего его волнения, он, все еще хмурая брови, в третий раз просмотрел заявление.

— Ну хорошо, вы говорите, что он штукатур? Какой он штукатур: богатый или бедный?

— Мы сами живем у людей... Ничего у нас нет...

— Хорошо. Я сейчас прикажу. Я потребую дело. Но завтра я выезжаю в центр и, вероятно, там пробуду больше месяца... Так что вечером вам надо будет прийти ко мне на дом — получите ответ на свое заявление...

И Мирза Мухитдин записал ей свой адрес.

— Ладно,— сказала она, взяв бумагу с адресом.

Мирза Мухитдин, потягиваясь, протянул руку к телефону.

Из всего разговора Мавлянкулова твердо усвоила только одно: если она сегодня же не пойдет к следователю, то завтра он уедет, и она ничего не узнает о судьбе мужа.

Выйдя из здания суда, женщина, чтобы пораньше быть на месте, отправилась по адресу.

Вечером, перед закатом, через площадь проследовал пароконный роскошный фэтон и остановился у въезда в переулок. Из экипажа вышел Мирза Мухитдин и, не глядя по сторонам, скрылся за калиткой углового дома.

✓ Когда спустя полчаса женщина вошла во двор, ее встретил всеобщий приятель Джамаль Карими и провел в гостиную. Она вошла в комнату, держа чиммат в руке, и увидела Мирзу Мухитдина, возлежащего на шелковых курпача, облокотившись на пуховые подушки, и курившего. Перешагнув через порог и сделав два шага, женщина хотела было опуститься на пол, но Мирза Мухитдин пригласил ее присесть на курпача. Сузившиеся глаза его были красны, голос звучал вкрадчиво и назойливо. Бросив паранджу и чиммат под стол, стоявший у окна, женщина опасливо, словно ступая по тонкому льду, прошла по комнате и осторожно уселась. Еще не отдав себе отчета, почему ее охватывает дрожь, она пугливо молчала. Лицо ее, истомленное заботами и невзгодами, было мертвенно-бледно. В наступившей тишине было слышно, как где-то бьется в предсмертном испуге попавшая в паутину муха.

— Да сядьте же как следует!— сказал Мирза Мухитдин,

неотрывно глядя своими сузившимися кошачьими глазами на женщину.

— Чувствуйте себя свободней, здесь не учреждение...

— Я и так хорошо сижу...

— Ну разве это хорошо? Устраивайтесь удобней!

Серьезный, настойчивый тон, которым он усаживал свою гостью, вдруг сменился нагловатым смешком, когда Мирза Мухитдин вздумал измерить расстояние, отделявшее его от посетительницы. Увидев ее испуг, он снова заговорил серьезно.

— Дело я просмотрел,— бормотал он, перекладывая подушку в сторону женщины.— Оно очень серьезное, очень...

Он облокотился на подушку, один край которой теперь соприкасался с коленями женщины, и мерзко усмехнулся. Женщина попыталась незаметно отодвинуться, но Мирза Мухитдин, решив, что подготовке отдано достаточно времени, закинул руку на тонкую слабую шею и с силой потянул женщину к себе. В эту короткую минуту Мавлянкулова решала свою судьбу. Одна за другой в голове ее мелькали мысли противоречивые и быстрые. Отказаться от заявления? Плюнуть в приближающееся к ней, искаженное вожделем лицо? Пригрозить, что будет жаловаться на него? Закричать? Или заплакать, горько заплакать, прикрыв лицо руками? Последнее было легче всего. И Мавлянкулова, не успев даже понять, почему она делает так, а не иначе, зарыдала навзрыд, пряча свое опозоренное лицо в подушки.

— Не сердитесь, не надо сердиться,— сказал он ей, оборачиваясь к двери, в которую Джамаль Карими вносил в это мгновение дастархан и бутылки с вином.— Следствие давно бы закончилось, но добавляются все новые и новые обстоятельства... Ну, не отчаивайтесь, что-нибудь да сделаем...

Джамаль Карими, разлив вино по рюмкам, одну протянул женщине.

— Выпейте-ка с горя!

Вытерев глаза, женщина отрицательно покачала головой. После тщетных попыток уговорить ее хотя бы пригубить рюмку, Джамаль Карими передал рюмку Мирзе Мухитдину. Мирза Мухитдин опустил перед ней на корточки и, посулив немедленно передать дело в суд, заставил ее выпить вино.

И действительно, не прошло и двух дней, как дело было передано в народный суд.

Двое суток мучились члены суда над выяснением сути дела, да так и не выяснили. «В чем же главное преступление обвиняемого?» — на этот вопрос никто не мог получить ясного ответа. На третий день судья отправился с делом к главному следователю.

Выслушав мнение судьи, главный следователь вызвал к себе Мирзу Мухитдина и сказал.

— От каждой страницы этого дела пахнет откровенной предвзятостью!

Мирза Мухитдин, делая вид, что не знаком с этим делом, взял папку в руки, перелистал и мотнул головой: дескать да, теперь вспомнил.

— В чем же здесь предвзятость?

— Человек обвиняется во взяточничестве, а доказательств—ни единого. Говорится о том, что он против раскрепощения женщин, а в деле ни единого документа, подтверждающего это. Наконец говорится, что он насильствовал женщин и убивал людей. Пустяковое обвинение, а? Но кто эти изнасилованные и убитые? Их имена? Адреса? Имена их близких? Нет! Даже истцов нет! Так в чем же его обвиняют все-таки? Восемь лет работаю в судебных органах, но убей меня бог, если я видел дело более беспринципное и неосновательное!

Мирза Мухитдин, задумавшись, усиленно скреб голову. Сдув с бумаг насыпавшуюся на них перхоть, он снова перелистал папку и показал на вырезку из газеты:

— Все дело, дорогой товарищ, вот в этом.. В сохранении престижа и авторитета газеты, то есть партийной печати... Газета обвиняет его во взяточничестве, и это основное обвинение, конечно. А другие материалы являются лишь подтверждающими возможность совершения им других преступлений. Разумеется, выносить приговор надо за взяточничество... Нельзя, судья-ака, дать ошибиться нашей газете!

— А по-моему наоборот, нельзя вопреки очевидности доказывать ее правоту! Вот это уже верный ущерб престижу партийной печати!

Мирза Мухитдин раздраженно крикнул:

— Да поймите, я сам свидетель, что он взяточник!

— Дайте в дело оформленный документ!— невозмутимо повторил судья.

— Живых свидетелей не подошьешь к делу!

— Я вашего живого свидетеля как свои пять пальцев знаю! — возбужденно воскликнул судья. — Он сам должен предстать перед советским судом, этот ваш живой свидетель! Хорош свидетель — торгаш, уличенный в тайной спекуляции шелком! Против этого Мавлянкулова все дело из пальца высосано...

На завтра Мирза Мухитдин побывал у жены Мавлянкулова и нагнал на нее страху, сказав ей: «Вот, я облегчил дело и передал немедленно в суд, да судья Ибрагимов нашел, что преступления твоего мужа очень тяжки. Наверно, расстрел даст!» Бедная женщина никогда не задумывалась, может ли в самом деле существовать вражда между ее мужем и народным судьей, которого муж и в лицо-то не видел. Да ей и задуматься об этом было некогда. Ужас перед будущим, ужас за мужа, которому грозил расстрел, сиротство двухлетнего сынишки — вот что кипело в ее сердце. Мирза Мухитдин очень умело этим воспользовался. Он убедил Мавлянкулову, что другого пути нет, и женщина прибежала в редакцию вилайетской газеты, со слезами на глазах бормоча: «Народный судья Ибрагимов требует с меня взятку и говорит мне разные неприличные слова...» Саиди, заранее предупрежденный Мирзой Мухитдином, только того и ждал.

Спустя два дня в газете появился фельетон, красочно описывавший, как судья Ибрагимов требовал от жены Мавлянкулова взятку, как, зазвав ее к себе в дом, пытался изнасиловать ее, как женщина, оставив клочок своего изорванного платья в руках этого негодяя, вырвалась и выбежала на улицу...

Мавлянкулов был присужден к пяти годам тюремного заключения, а через неделю ему дали свидание с женой и сынишкой.

Жена обливалась горькими слезами.

— Как вы смели обманывать меня?! Чем вы только не занимались, оказывается... Столько бедствий на мою голову... Что я теперь буду делать?

— Ложь, все ложь, жена! Я сам до сих пор не пойму, в чем тут дело. Кому понадобился мой арест?.. Кому надо было уечь меня в тюрьму на пять лет?.. Ну, подождем — рано или поздно все выяснится.

Чтобы жена не увидела слез, закипевших у него на глазах, Мавлянкулов нагнулся и поцеловал в голову сынишку. Затем, справившись с собой, продолжал:

— Да, теперь вам будет трудно... Но что же поделаешь? Что?... Я ничего не могу. Нынче нас уже отправят. Далеко, видно, поездом. Ты бы поступила на гренажный завод, что ли...

— Я и сама так думаю,— прервала жена.— Жена Бегиджана там работает и ничего, говорит.

— Так и сделай. Будем живы — свидимся, а правда обязательно откроется! Поступай на завод. Плюнь на тех, кто языками треплет. А вечером приходите на станцию.

Его глаза снова наполнились слезами; взяв на руки сына, он поцеловал его и передал жене только после того, как часовой объявил, что время свидания истекло.

Когда его увели за решетчатую перегородку, сын заплакал:

— Папа!.. Ушел папа! Папочка!..

#### IV

Саиди выразил Мирзе Мухитдину свою глубочайшую признательность за то, что тот так порадел за Мухаммедраджаба. В самом деле, Мирза Мухитдин ходил по острию клинка, спасая приятеля от неминуемой гибели. И по правде говоря, Мирзе Мухитдину не хватало особого поклона, особого выражения благодарности самого Мухаммедраджаба. Понимая это, Саиди хотел по возвращении зятя устроить от его имени грандиозное пиршество для Мухитдина.

Мухаммедраджаб приехал вместе с Хайдаром-хаджи и Мухтархоном. Саиди был уверен, что Мухаммедраджаб ничего еще не знает обо всем происшедшем и, услыша его новости, несказанно обрадуется. Но все вышло иначе. Мухаммедраджаб был не только наслышан обо всем и лучше Саиди знал подробности дела, он даже не сказал: «Мирза Мухитдин — человек хороший, так постарался за меня!..» Саиди решил, что зять намерен лично отблагодарить своего благодетеля и не хочет говорить об этом даже со свояком. Больше Саиди на эту тему разговора не поднимал.

Мухаммедраджаб располнел, шея и лицо лоснились от жира. Настроение у него было отличное.

Пробыв только один день, хаджи вместе с Мухтархоном уехали в центр. Мухаммедраджаб должен был дожждаться



Хайдара-хаджи здесь. А тот, хотя и вернулся через два дня, только неделю спустя прислал телеграмму, в которой сообщал, что задержится еще на некоторое время. Все эти дни Мухаммедраджаб проводил в комнате Саиди. По утрам, когда Саиди бывал на работе, Мухаммедраджаб оставался дома, когда же Саиди возвращался, то уходил Мухаммедраджаб и возвращался только под утро. Саиди было неудобно и неловко за Мухаммедраджаба перед Мирзой Мухитдином, и и в душе он ругательски ругал его за неблагодарность.

Однажды вечером, когда Мухаммедраджаб вернулся против обыкновения рано, Саиди спросил его:

— Что, разве Мухтархон имеет какое-нибудь отношение и к вашим делам?

Мухаммедраджаб внимательно посмотрел на Саиди.

— Вам это пришло в голову оттого, что они вместе уехали? Нет, Мухтархон не касается нашего дела. Он совсем другими делами занимается!

Ответ не удовлетворил Саиди, хотя вопрос свой он задал просто так, от нечего делать. Мухаммедраджаб вообще отвечал на его вопросы коротко и, казалось, нехотя. Саиди начал задумываться, почему Мухаммедраджаб не хочет говорить с ним по душам, почему не рассказывает о делах? Никогда прежде он первый не задавал никаких вопросов зятю, а теперь не выдержал и даже упрекнул его:

— Вы боитесь чего-то?

— С чего вы взяли?

— Да так... Приехали вы давно, а все словно избегаете говорить со мною. Когда я прихожу, вы куда-то исчезаете...

— Нет, Рахимджан, как можно такое говорить! Мне нечего скрывать от вас... Вечерами я, правда, ухожу, но все по делам, все по делам. К тому же и вы по вечерам работаете... Не хочется мешать вам...

— Чепуха! Скажу вам откровенно, я до сих пор не знаю, чем вы занимаетесь, как идут ваши дела, а вы не считаете нужным рассказать мне...

Саиди был искренне обижен. Мухаммедраджаб, поняв это, принялся льстить подобно портному, ловко обманывающему своего клиента, и очень скоро сумел успокоить Саиди. Возникшая было между ними холодность исчезла.

— Вы знаете, как вышло, что мы с Хайдаром-хаджи начали дело,— говорил Мухаммедраджаб. — Дела наши идут хорошо, жаловаться нечего. Вы не знаете только, что мы не равны в барышах. Моя доля — одна четвертая.

— Отчего же? Капитал разве одного хаджи? Или товары только он добывает?

— Нет, и капитал равный, и товары доставать нетрудно — у нас много клиентов в кооперации. Но время наше такое, что каждый день приносит неудобства и неприятности. Если бы мне одному бороться против всего этого, то я бы давно обанкротился. А хаджи в этом деле дока. Ну, приходится ублажать многих чиновников. Как же, не без этого. Бывает, такой огромный налог свалится, а Хайдар-хаджи либо наполовину скостит его, либо и вовсе избавится... И знаете, Рахимджан, я думаю, что у Мирзы Мухитдина даже собака его лакает из золотой миски: так и берет взятки, так и хапает — глазом не моргнет! Каждый свой приезд он навещает хаджи. Когда он приезжал к нам осенью, то вел дела двух басмачей. Все были уверены, что обоих приговорят к расстрелу — столько заявлений и жалоб поступило на них. Но они оказались людьми очень богатыми — и выкрутились! Обоих приговорили к заключению на семь лет. Один из них, говорят, уже на свободе. Эх, вам надо было учиться на следователя!

— А разве Мирза Мухитдин бывает в тех краях?— спросил Саиди.

— Да. Частенько.

— Но если Мухтархон ведет другие дела, то какое же отношение он имеет к Хайдару-хаджи? Откуда Мухтархон знает его?

— Ну, нет такого человека, который не знал бы хаджи! К нему отовсюду приезжают люди — из Кашгара, из Оренбурга, из Казани, еще из каких-то мест. И встречают его в любом городе с почестями.

— А разве Мухтархон еще чем-нибудь занимается, кроме преподавания?

— Видно, да.

Мухаммедраджаб умолк. Похоже было, что на эти темы он не охотник говорить. Но каждый новый вопрос и каждый ответ только разжигали любопытство Саиди. Теперь он уже хотел знать во что бы то ни стало все

что знал Мухаммедраджаб. Да тот и сам невольно разговаривался.

— В прошлом году Хайдар-хаджи направил меня в Узгент,— продолжал он.— Привели мы с собой четырех коней. Остановились у какого-то человека, я не знал его вовсе. А вечером там же появился и Мухтархон, а потом я узнал, что он там находится уже две недели. Пришел он бледный, запыхавшийся, словно у него описали все имущество. И со мной не поговорил как следует. Пошептавшись с хозяином, быстро ушел. А хозяин остался, и гляжу — забеспокоился хуже самого Мухтархона. Вы понимаете, что если хозяин дома чем-то озабочен и обеспокоен, то гостю тоже несладко. Наконец я, прикинувшись больным, еще до хуфтана<sup>1</sup> попросил постелить мне и лег. Хозяин вышел куда-то и после хуфтана вернулся вместе с Мухтархоном. А я лежал тихонько, вроде сплю. Они сидели долго и все о чем-то перешептывались. Мухтархон ушел после полуночи.

— Но я не понял, что он там делал, Мухтархон? — спросил Саиди торопливо.

— Слушайте. Утром, перед намазом, когда я во дворе совершал омовение, пришел какой-то человек, по виду русский. Хозяин перекинулся с ним двумя-тремя словами, и уж, видно, очень нехороши были те слова, но хозяин вдруг весь побелел и остался стоять посреди двора как вкопанный. А я все вожусь с омовением, чтоб еще хоть немножечко поглядеть на хозяина. Знаете, Рахимджан, однажды я видел человека, приговоренного к смерти и шедшего к этой смерти на своих собственных ногах. Но, честное слово, тот человек не был так бледен, как этот хозяин из Узгента. Наконец он не выдержал, колени подогнулись, и он опустился на землю. Русский поспешно ушел. Потом позавтракали. Клянусь аллахом: как-то чудно и неловко смотреть на перетрусившего человека. Положив в рот кусок лепешки, он долго жевал и перекатывал его из стороны в сторону, но никак не мог проглотить!

— Да неужели вы не расспросили, в чем все-таки дело?

— Он — это видно было — ни за что бы не выдал своих секретов! Я и не стал выпытывать; пусть лучше думает, что я ничего не заметил. После завтрака пришел

---

\* Х у ф т а н — призыв к вечерней молитве.

Мухтархон и куда-то его увел. А к полудню повсюду разнеслась весть: «Убит курбаши\* Самандар». Оказывается, прошло всего два дня, как этот курбаши помирился с властью и явился в город. И лишь потом я узнал, что, останься в живых этот курбаши, то погиб бы Мухтархон.

— Почему?

— Потому что Мухтархон поставлял курбаши Самандару оружие.

— Откуда вы знаете?!

Мухаммедраджаб ответил уклончиво:

— Как-то Мухтархон почувствовал во мне нужду... Если бы я не помог ему, он бы погиб.

Саиди очень заинтересовало, какая же нужда могла быть у Мухтархона к Мухаммедраджабу, но тот перевел разговор на другую тему:

— Я очень растревожился, узнав об истории с Малвлянкуловым. Поделился своей тревогой с Хайдаром-хаджи, а он через день говорит: «Не беспокойся ни о чем, Мухтархон уладит это дело!» Тут только я узнал, что Мирза Мухитдин и Мухтархон — закадычные друзья. Конечно, с одной стороны он уважил вас. Но с другой стороны... он же только отплатил добром за добро.

Лишь теперь Саиди понял причину такого беспримерного рвения Мирзы Мухитдина. Впрочем, и после этого Мирза Мухитдин ничего не потерял в его глазах.

В этот вечер Саиди своими бесконечными расспросами заставил Мухаммедраджаба разговориться, и постепенно стал распутываться сложный узел, над которым он долго ломал голову.

Мальчишка, обыгравший своих товарищей и набивший карманы орехами, человек, возвращающийся с панихиды по своему врагу,— каждый из них по-своему доволен и счастлив. Но удовлетворение, которое испытывают они, не шло ни в какое сравнение с радостью Саиди.

Целую неделю не давал покоя Саиди Мухаммедраджабу, выпытывая у него все новые и новые подробности. И каждый факт, каждое, даже самое мелкое, происшествие, рассказанное Мухаммедраджабом, становилось рядышком с событиями, о которых знал Саиди, и занимало свое место в общей цепи больших и малых событий повседневности.

---

\* Курбаши — главарь басмачей.

«Умный человек ничему не удивляется» — это изречение старо как мир и как мир нетленно.

За окнами начинается снег. Ишан\*, с глубокомысленным видом не покидающий комнаты, предсказывает снегопад. Если бы между этими двумя событиями не было бы третьего, иначе говоря — если бы кошка, замерзшая и мокрая, не вошла бы, отряхиваясь, со двора, то прорицателю удивились бы не только мюриды\*\* ишана, проливающие слезы умиления, но многие-многие умники.

Вокруг Саиди происходило множество различных событий, и каждое из них поначалу приводило в удивление даже очень прозорливых людей.

Якубджан, готовый ради денег в огонь и в воду, Якубджан, который ударом кулака оглушил жену за то, что по ее вине сгорел в сандале рубль, этот самый Якубджан добровольно и бесплатно учит рабочих типографии грамоте, объявив себя первым поборником культпохода. Мурадходжа-домла, человек, который не уставал твердить: «Д хкане — скоты, они все больше и больше нагледят, видеть их не могу!», начал читать лекции этим «скотам». Таких событий много. Может быть, это и не очень крупные в масштабе страны события, но для тех, кто к ним причастен, — весьма знаменательные. Поворот в сто восемьдесят градусов. Саиди догадался об этом повороте лишь после того, как заставил Мухаммедраджаба разговориться. Догадался и крепко задумался. Для чего Аббасхон соединил Мухаммедраджаба с Хайдаром-хаджи? Отчего Мунисхон — это чудо, которое себе на удивление создала природа, эта девушка, кристально чистая, как капля гранатового сока, чьи беседы освежают как предутренний ветерок, — отчего Мунисхон полюбила Мухтархона, словно насмех людям слепленного из комка грязи, человека с глазами ящерицы? Раньше еще Саиди слышал, что Мухтархон сказочно богат, но, если верить рассказам Мухаммедраджаба, никакого особого богатства у него нет.

Все, что говорил зять, в сочетании с фактами, известными самому Саиди, приводило его к мысли, что существует некий таинственный и сложный механизм, управляе-

\* Ишан — духовное лицо.

\*\* Мюрид — ученик и последователь духовного лица (ишана).

мый, может быть, даже извне, а они, здешние деятели культуры, работники государственных учреждений, ответственные, чванливые, высокомерные — только ничтожные винтики машины, не ими созданной и исподволь разрушающей все окружающее. Саиди предчувствовал, что и сам он окажется одним из винтиков этой машины, и хотел знать, каким именно.

На мир и на все явления в этом мире Саиди смотрел глазами Мурадходжи-домлы; каждый голос, каждый звук, каждый шорох он слышал ушами Мурадходжи-домлы.

Личная жизнь размягчала волю Саиди, а окружающий мир — ожесточал его. В большинстве случаев такие противоречия неминуемо приводят человека к крюку и веревке, но Саиди, будучи уверен в том, что люди, окружающие его, являются истинными представителями народа, о крюке и веревке пока не задумывался.

Итак, механизм есть, он существует, и Саиди знает даже отдельные его части. Но кто же соберет их воедино? Кто продемонстрирует машину в действии и определит место Саиди и его друзей в этом механизме? Охотников пока не видно: кого ни спросишь, все молчат, а иные прикинутся ничего не знающими и торопливо переводят разговор на другую тему. Только Якубджан, когда Саиди адресовал ему этот вопрос, неожиданно ответил: «Наш гап!» — и, поймав изумленный взгляд Саиди, разъяснил: «Наш гап возрастет и превратится в такой механизм».

Эта перспектива привела Саиди в восторг. Почему, однако, нельзя форсировать ~~развитие~~ гапа... и подчинить единой цели разрозненные действия? Задавая этот вопрос, он имел в виду Мухтархона, Хайдара-хаджи и многих других «наших» людей. Якубджан ответил ему так: «Чем быстрее будет развиваться наш гап, тем опаснее. Привлекать в гап Мухтархона, Мурадходжу-домлу, Махмуджана-эфенди и других людей, чьи позиции не слишком крепки, очень опасно». Так думали и другие, умные, опытные люди, рассчитывавшие развивать гап за счет молодежи.

Саиди смирился и прекратил поиски большого механизма. Теперь он занимался только тем, чтобы довести гап до состояния, о каком говорил ему Якубджан.

Знакомство с каждым, кто, по его мнению, мог внести новое в понятие «организовать» и «развивать», Саиди встречал так же радостно, как встречает астроном затме-

ние солнца. А разговаривал с таким человеком Саиди, как женщина, только что покинувшая объятия любовника и подобострастно предлагающая мужу горячего чая. Подобно тому, как стрелка компаса неизменно движется в одну только сторону, Саиди тоже все разговоры сводил к одному: «Надо организовать, надо развивать!» Он торопился, как радостно торопится ребенок, только начавший ходить и делающий шаги такие неосторожные, что ему грозит всамделишная опасность.

Аббасхон, Салимхон и другие видели это. Больше того, они предостерегали и упрекали Саиди, но почему-то упреки их напоминали увещевания мнимых друзей и фальшивых доброжелателей.

Когда мать в присутствии других женщин говорит своему сыну, еще не достигшему совершеннолетия: «Сынок мой, ты очень хороший мальчик, но отчего ты все пристаешь к девушкам?», то хоть бы и смутился он, а все хочется ему, чтобы эти слова повторили и другие женщины. Если он не обращал до сих пор внимания на девушек, окружающих его, то отныне он непременно начнет замечать их... Человек, о котором говорят: «Вот, сколько ни пьет, а пьяным не бывает!», с удовольствием выслушивает эту странную похвалу. Собственно, здесь столько же похвалы, сколько упрека, но почему-то людям нравятся подобные упреки! Точно так Саиди, предостерегаемый Салимхоном и Аббасхоном, только лукаво посмеивался и продолжал свои нескончаемые разглагольствования о великом будущем гапа.

Как и следовало ожидать, он очень скоро хватил через край; Якубджана, потребовавшего от него осторожности и осмотрительности, обозвал «продажным»; других участников гапа объявил «заячьими душами». «Чуть услышали треск, так душа у вас в пятки уходит, зайцы вы несчастные!» Историю попытались замять, но Саиди не успокоился и на очередном собрании гапа выложил множество проектов, потребовав их немедленного принятия и осуществления. Среди этих проектов оказалось и такое: распространять тайные листовки.

Собрание и не приняло этих предложений, и не отвергло их, только все разошлось раньше обычного. Саиди, упоенный ролью вождя, которую он убежденно разыгрывал, даже не поинтересовался, в каком настроении расходятся участники гапа. Но Якубджан нервничал.

Примерно через неделю Мурадходжа-домла пришел вечером к Саиди и, усаживаясь на диван, сказал:

— На вас поступили жалобы...

И тон и протяжная усмешка, которой домла сопровождал свои слова, заставили Саиди покраснеть. Он взял со стола папиросу, закурил и натянуто улыбнулся. В прошлую ночь, когда к нему пришла Сорахон, он задержал ее до полуночи и теперь, опасаясь неприятного объяснения, поспешил предупредить события:

— Это... в прошлую ночь... — начал было он, но его прервал домла:

— Спешка ни к чему хорошему не приводит. Я предупреждал вас, уважаемый.

— Но, домла, я же никогда...

Домла снова прервал его:

— Подождите... Разрешите, сначала выскажусь я. К чему вам понадобились эти проекты, к чему все эти листовки? Ну?

Вот теперь Саиди перепугался не на шутку.

— Одним словом своим, необдуманном поступком вы отняли целую неделю у нескольких человек, — продолжал домла. — Столько времени участвуете в этих гапах, а мне — ни слова. Впрочем, если не говорили мне, то, видимо, не говорили и другим. Это как раз хорошо. Такое дело подобно стеклу: разобьется, а склеить нельзя. Я это знаю... опытный...

У Саиди переменилось настроение, он обрадовался:

— А вы знали, что существует гап?

— Конечно, знал! — домла презрительно пожал плечами. — Вы, может быть, полагаете, что это ваше изобретение? Похоже, что так, иначе зачем бы вам так спешить?

— Нет, домла, не надо смеяться. Я видел, что движение есть, но, мне казалось, оно — разрозненно! Нет центра, который объединил бы все силы. Я лично хотел бы, чтобы все силы были направлены по одному руслу...

— Почему вы решили, что такого центра нет?

— Если он есть, так познакомьте нас, пусть руководит нами!

— А если он уже руководит?

Саиди задавал свои вопросы столь стремительно, что Мурадходжа-домла раскрыл перед ним несколько больше секретов, чем намеревался.



В тот вечер, когда своими проектами Саиди внес такой переполох в ряды руководителей организации, Якубджан прямоком отправился к Мурадходже-домле и рассказал ему обо всем случившемся. Домла многие вопросы решал самолично и имел для этого основания. Но на этот раз он не хотел брать на себя такую ответственность и решил созвать внеочередное заседание комитета. На этом комитете домла выступил с предложением: Саиди вырос, он достаточно тверд, а поэтому надо раскрыть перед ним некоторые секреты. Предложение домлы понравилось не всем: с какой стати делать исключение для Саиди? Он слишком тороплив, не умеет сдерживать себя, его дальнейшее участие в гапах может быть даже опасным! Наконец пришли к такому решению: ладно, пусть Саиди узнает кое-что, но только кое-что, не больше! Пусть знает о существовании областного и центрального комитетов организации, но членов этих комитетов знать никоим образом не должен. Почувствовав ответственность, Саиди постарается ~~несколько сдерживать~~ себя.

Все это рассказал домла, взял с Саиди честное слово, что тот никому не проболтается, и добавил: «Якубджан, организовавший гап и управляющий им, и есть представитель областного комитета. Таких гапов у нас существует несколько». Для полного уболагодворения Саиди, следовало, конечно, рассказать и о том, что председателем областного комитета является не кто иной, как сам Мурадходжа-домла, что комитет предпринял ряд мер, направленных для сохранения басмачества, что центральный комитет организации поддерживает тесные связи с таким же комитетом в другой республике, и еще о многом. Но он встал, несмотря на настойчивые просьбы Саиди и, уходя, еще раз посоветовал ему быть весьма осторожным, не выходить из повиновения Якубджану и никому из членов компании ни под каким видом не говорить о том разговоре, который только что произошел между ними.

Словно человек, решивший наконец сложную головоломку, Саиди облегченно вздохнул. Улегшись в постель, он по привычке отдался мечтам: то он организовывал новые и новые «гапы» и руководил ими, то он становился за одну только ночь великолепным и страстным оратором, то он овладевал искусством полководца и объединял вокруг себя несметные новые полки басмачей, то изобретал луч, которым при помощи особых зеркал может выжигать все, что попадаетея

В пути: дальние города и вражеские крепости; то он, вырядившись в какую-то кольчугу, один, бестрепетно выступал против могучих орудий и танков... И, венчая все эти несбыточные грезы, мерцал, переливаясь тысячами огней, сказочный дворец из сказочной долины.

Долго не мог уснуть в эту ночь и Мурадходжа-домла. Он сказал Саиди много больше того, что разрешено было членами комитета. Хорошо это или плохо? После долгих раздумий домла пришел к выводу, что это необходимо и правильно. Пусть Саиди знает.

Действительно, для чего домле скрывать все это? Если некоторые члены комитета считают, что «Саиди не должен быть исключением из общих правил, обязательных для всех», то это потому, что для них Саиди чужой человек. Ну а для домлы? Для домлы Саиди — будущий зять! Если болтовня и торопливость Саиди представляют опасность, то ведь надо, чтобы он, как правильно говорят члены комитета, почувствовал и себя ответственным за общее дело. Тогда появится и необходимая сдержанность.

А Саиди и в самом деле становился сдержаннее. Высмеять, «разоблачить», ошельмовать на страницах газеты честного работника, предать огню хотя бы одну записку или сообщение он предпочитал теперь сотне проектов, которыми увлекался совсем недавно.

Домла частенько захаживал к нему, и каждый его приход Саиди пытался использовать для получения каких-нибудь новых сведений, что ему в большинстве случаев удавалось. О чем бы ни шла речь — о затмении луны, об уменьшении надоя молока, о плохой работе прислужницы или о научных открытиях в физике — все в конечном счете сводилось к судьбе и задачам их организации.

Наконец Саиди узнал, что Мурадходжа-домла является председателем областного комитета организации и еще кое-что, связанное с этим. Лишь после этого он увидел взаимодействие «отдельных частей механизма» на своих местах и «весь большой механизм» в движении.

Однажды в пятницу, когда Саиди и Мурадходжа-домла сидели вдвоем за бутылкой коньяка и мирно беседовали, пришел Якубджан. Усаживаясь, он хмыкнул и ни с того ни с сего объявил, обращаясь к Саиди: «Вы — курица». Все знали манеру Якубджана изрекать туманные остроты, ключ к которым обычно отыскивался вместе с комментарием в конце разговора. Поэтому никто не удив-

лялся, но и удовольствия якубджановские фокусы никому не доставляли. И на этот раз все молчали, ожидая продолжения.

— Домла, вы говорили этому человеку о том, что значит быть курицей? — спросил Якубджан, принимая пилу, протянутую Саиди.

— Нет, не говорил. Вы уж договаривайтесь сами, не впутывайте ни меня, ни других. Не нарушайте правила.

На этот раз Саиди ничего не понял и вопросительно посмотрел сначала на домлу, потом на Якубджана. Ни тот ни другой, однако, ничего не сказали, и смысл этих коротких реплик обнаружился гораздо позже.

Якубджан, между тем, подняв палец к потолку, принялся за наставление:

— С того дня, как выведутся цыплята, и до того времени, когда они становятся самостоятельными, добывая сами себе корм и сами себя защищая от всяких опасностей, курица водит их за собой, воспитывает, охраняет их жизнь. Когда же, наконец, цыплята превращаются во взрослых кур, наседка объявляет им об этом и отправляет на все четыре стороны. Вы больше не цыплята, вы — куры! — кудахчет она, собираясь заняться новым выводом.

Вывести цыплят, то бишь организовать гапы, а из молодых кур выделить новых наседок — вот что было задачей Якубджана. Речь теперь шла именно об этом, и Якубджан изложил дело, как всегда, в двух-трех словах. Но домла, не удовлетворившись его скупыми разъяснениями, принялся пространно развивать его мысль.

— Вот, милый Саиди, — усмехнувшись, ласково сказал домла, — вот вам разгадка той курицы, которая залетела сегодня под ваш кров с помощью Якубджана. На очередном собрании Якубджан внесет предложение о расширении круга гапа и о поручении нашему дорогому единомышленнику Саиди организовать новый гап с привлечением в него новых людей. А наш дорогой единомышленник Саиди, выразив свое согласие, должен будет изложить свои предложения по поводу организации нового гапа.

Слушая долгую и утомительную речь домлы, Саиди призадумался. До сих пор слово «организовать» рождало в его воображении радостную картину: несметная толпа с восторгом и нетерпением ждет его команды. Он приносит всего несколько ярких, зовущих вперед фраз и

слышит крики «ура!», возгласы одобрения, видит счастливые разгоряченные лица. Но теперь, когда на его плечи ложилась конкретная обязанность, он, как ни напрягал память, не мог вспомнить ни одного человека, годного для участия в гапе. Молодецкие вопли и крики, слышавшиеся ему всего час тому назад, теперь смолкли, вытесненные такими образами, как Кенджа и Теша. И сколько ни старался Саиди найти обиженных, раздраженных людей — их словно ветром сдуло. Мысленно он перебрал состав редакционного коллектива. Нет, и там не оказалось «понимающих» людей. Тогда мысль его метнулась к университету, но едва он вспомнил об этих залах, заполненных людьми, и о том, как выглядят, чего хотят, чем дышат эти люди, ему стало жутко и одиноко.

И все-таки Саиди принял задание.

На очередном собрании, где Якубджан внес это предложение, он повторил, как попугай, все слова, которым уци его Якубджан и Мурадходжа-домла.

## VI

Если бы разбойник из старых сказок преградил темной ночью дорогу домле и воскликнул бы: «Кошелек или жизнь», то домла и сам не заметил бы, как подставил бы грудь под удар шпаги: с кошельком расстаться он бы не смог. Ну а если бы тот же разбойник спросил: «Кошелек или Саиди» — то, вообразите, домла ответил бы: «Черт с ним, с кошельком!» И причиной тому были бы вовсе не альтруистические чувства домлы. Нет, нет! Просто трезвый расчет мгновенно подсказал бы ему, что лучше потерять содержимое одного кошелька, чем неиссякаемый источник его наполнения.

Был как-то такой случай. Прислужница кипятила молоко, но в эту минуту ее внимание отвлекла каким-то своим капризом Сорахон, и молоко пригорело. А дешево ли стоит горшок кислого молока? Домла чуть не лопнул от злости. Схватив в руки кафгир\*, он с яростью принялся скрести подгоревшие остатки молока со дна. Он старался изо всех сил, и ему это более или менее удалось. Протянув

---

\* Кафгир — скребок на длинной ручке.

прислужнице кафгир, он сказал: «А ну, съешь-ка вот это! Потом скажешь мне, можно ли делать такое безобразие!» Домла так и простоял над беднягой, пока та, давясь и отплевываясь, не съела полную касу помоев с пригорелым молоком. Он умел быть упрямым, домла, когда дело касалось его выгоды.

И он хорошо понимал, что любой вопрос Саиди, оставленный в этом доме без ответа, или малейшая неприятность, доставленная ему здесь, может стоить во много раз дороже, чем миллионы горшков кислого молока. Вот почему Саиди удалось за короткое время узнать довольно много об устройстве организации и о методах ее работы. Узнал он, между прочим, и об одной из внешних целей организации, заключающейся в замене красного знамени — знаменем зеленым. Домла долго и мудро объяснял, что это будет такое всемогущее знамя, что человек, находящийся под его защитой, открывший, к примеру, мастерскую с паровым молотом, как некогда отец Саиди, не окажется перед необходимостью кончать жизнь самоубийством. Под этим знаменем будет возможно все, — и воздвигнуть величественный дворец в долине, и завести одалисок, и содержать рабынь, и многое, многое другое...

Домла объяснил, однако, и то, что человек, пожелавший встать под это знамя, любыми путями должен пробираться в ряды партии и комсомола, устраиваться в аппарате любого советского учреждения (чем крупнее — тем лучше), и в то же время должен способствовать объединению басмачей, вооружая их политическими лозунгами. Каждый представитель организации, говорил домла, проникший в советский аппарат, должен так хитроумно восстанавливать народ против советской власти, поднимать такую ярость, такое возмущение масс, чтобы люди плевали ему в лицо и чтоб плевков этот, перелетев через голову представителя организации, попадал прямо на государственный стол. Не меньшее значение придавалось притеснению дехканских масс; считалось, что здесь надо применять самые беспощадные методы. Пусть дехканин воеет и стонет, пусть он протянет руку любому, кто только предложит ему помощь.

И Саиди включился в работу. В его задачу входило найти, подобрать новых людей и организовать новый гап. Ночами, лежа в постели, он думает, перебирает в

памяти знакомых, намечая то того, то другого привлечь к гапу, он даже решает, как и с чего начинать разговор с ними. Ночью все обстоит хорошо. Но утром Саиди почему-то вдруг теряет надежду на успех, а когда соберется уже идти к намеченной жертве, то и вовсе чувствует себя бессильным.

Так было и тогда, когда Саиди решил переговорить с секретарем комсомольской ячейки типографии Пулатовым.

Пулатов был в типографии человек новый. Саиди встречался с ним, когда вместе с Якубджаном слонялся по наборному цеху и учился набирать тексты. Однажды Саиди нечаянно рассыпал свой, только что набранный с превеликими трудностями, набор. Не менее трудным оказалось для Саиди и разобрать весь рассыпавшийся набор, разложить каждую букву по клеткам кассы. Вот тогда-то и подошел к нему Пулатов и с небрежной легкостью, собрал весь шрифт, рассовал по гнездам. Так они познакомились.

Узнав, что Саиди комсомолец, Пулатов стал уговаривать его встать на учет в типографскую ячейку. Саиди же, скрывающий свой выход из комсомола, бормотал нечто невнятное, будто «университетская ячейка не снимет его с учета». Пулатов очень уважал Саиди и как ответственного секретаря редакции, и как человека с высшим образованием, и наконец, как писателя, выпестованного комсомолом. Саиди не раз бывал у Пулатова дома, но до сих пор не решался, выражаясь языком Мурадходжидомлы, «пошуровать в его душе».

На этот раз, заглянув вечерком в комнату Пулатова, Саиди неожиданно повстречал там человека, которого знал и совсем забыл. У Пулатова сидел молодой батрак Юлчибай, тот самый Юлчибай, который когда-то, во времена земельной реформы, все говорил в кишлаке: «Можно ведь и стереть начертанное судьбой чайрикерство, а взамен написать двадцать танапов землицы!..» Теперь Юлчибай был одет в новенький стеганный халат из бекасама\*, в новую чувстскую тубетейку, повязан новым шелковым кушаком, на ногах у него были сапоги из сыромятной кожи на высоких каблуках, какие любят кишлачные джигиты. Саиди узнал его и глазам своим не поверил. Юлчибай

---

\* Б е к а с а м — плотная шелковая ткань.

мгновенно вскочил и заключил Саиди в объятия. Вслед за ним с Саиди поздоровался племянник Юлчибая, юноша лет двадцати, одетый несколько хуже Юлчибая.

— Откуда вы знаете Рахимджана-ака? — спросил Пулатов у Юлчибая.

Юлчибай сиял.

— Мы с ним друзья старинные! Во время земельной реформы Рахимджан-ака приезжал к нам в кишлак и жил там около месяца. Вот так та-ак, Саиди!.. Я давно мечтал повидаться с вами... Но город, оказывается, велик, не так легко отыскать человека... Только недавно узнал, что работаете в печати, так я подумал: наверно, через типографию проще всего!.. Ну, как поживаете? Здоровы, бодры?

Юлчибай познакомился с Пулатовым в столице, куда его послали учиться на курсах кишлачных технических секретарей и где Пулатов работал наборщиком в типографии, помещавшейся в одном здании с курсами. После занятий Юлчибай обычно заходил отдохнуть к Пулатову; его неиссякаемое веселье и остроумие служило источником отдыха для обоих. Впрочем, иногда он обращался к Пулатову за разъяснением некоторых вопросов, в которых сам не мог разобраться. И Пулатов, хоть и уставал после работы, все же не жалел времени для гостя и подолгу беседовал с ним, рассказывая обо всем, что знал сам. Пулатов настолько привык к обществу Юлчибая, что если, возвратившись с работы, не заставал его у себя, отправлялся в аудиторию и сидел с ним рядом до окончания лекции. Как-то Юлчибай пришел к наборщикам очень обиженный. В руках он держал книжечку «Как на земле появились люди». Свою обиду Юлчибай объяснил так: «Нам не нужно знать, как появились люди, нам надо знать о том, как появились на земле богатые и бедные, вот о чем надо выпускать книги». Однако, к изумлению Юлчибая, Пулатов обиды не принял, а долго и залиристо хохотал над дехканином. На завтра, правда, он нашел для Юлчибая такую книгу, какую тот хотел. Но сама история долго была предметом обсуждения среди наборщиков; Юлчибай приобрел среди них много друзей, но и сам изменил точку зрения на некоторые научные вопросы. Вот с тех пор и дружил он с Пулатовым. А с того времени, как Пулатов переехал в этот город, Юлчибай каждый свой приезд из кишлака аккуратно навещал своего друга.

Юлчибай рассказал Саиди, что он закончил курсы секретарей и теперь работает секретарем сельского совета. Саиди обратился к его племяннику:

— А вы учитесь?

Юноша не расслышал вопроса. Саиди снова спросил его, но Юлчибай предупредил Саиди: ~~+~~

— Он совершенно не слышит на левое ухо...

Юлчибай толкнул юношу и кивком головы показал ему на Саиди; юноша подставил Саиди правое ухо.


— А что с вашим левым ухом?— спросил Саиди.

Юлчибай опередил племянника:

— Отец ударом кулака оглушил его.

— О, что за дикость!— воскликнул Саиди, обращаясь к Пулатову.— За что?..

Юноша улыбнулся.

— Да ни за что... Как-то мы с мальчиком, моим ровесником Кимсаном, пасли скотину на целине; к нам подошли двое с ружьями и спросили: «Есть в кишлаке красноармейцы?» Кимсан ответил: «Нет», а я сказал: «Есть». Я сказал правду. Один из вооруженных несколько раз хлестнул Кимсана плеткой, а Кимсан, обидевшись за это на меня, пришел к моему отцу и наябедничал: «Ваш сын проданся курбашам». Вот отец и побил меня и сказал: «Зачем ты им сказал, что в кишлаке есть красноармейцы? Если бы ты сказал, что красноармейцев нет, то обоих бы этих словили!» В это время пришел мой старший брат, я подумал, что он защитит меня, а он тоже меня ударил ногой. Вот тогда я и оглох... Целый месяц лечили —  ничего не помогло.

Разговор перешел к басмачам, и Саиди, прикидываясь простачком, стал спрашивать, кто же все-таки басмачи? Из кого состоят их отряды, где их вербуют? Пулатов уже открыл рот для ответа, но его опередил Юлчибай:

174  
— Я вам так поясню, Рахимджан-ака, — сказал он, — если батрак говорит: «Это хорошо», то хозяин говорит: «Нет, это плохо». Если же батрак скажет: «Это плохо», то никогда не бывает, чтобы хозяин не ответил во весь голос: «Нет, это хорошо». Если батрак не слушается хозяина, то хозяин поднимает на него топор. За примером ходить недалеко. Вспомните батрака Рахматуллаева, который про земельную реформу сказал: «Хорошо!», а его хозяин Ниязмат-хаджи сказал: «Нет, это плохо». Батрак Рахматуллаев возразил ему и по воле Ниязмата-хаджи исчез в одну ночь... как в



воду канул... Вот так!.. Конечно, теперь бедняки и батраки стали посмелее, теперь они уже не благодарят хозяев за каждую оплеуху. И не всякий хозяин теперь сам за нож хватается... Однако басмачество,— это нож в руках этих самых хозяев... Ясно я выразился?

После такого ответа Юлчибая для Саиди не осталось никакого смысла продолжать разговор на эту тему. Взглянув на часы, он поднялся и, распростившись, ушел.

Никакого спора, никакой дискуссии не произошло, но Саиди чувствовал себя таким утомленным, словно только что закончил долгий и трудный спор.

## VII

— Вы — жук, — сказал Якубджан, когда все работники редакции разошлись и они с Саиди остались вдвоем.

По обыкновению, Саиди сидел за своим столом и с застывшей улыбкой на лице ожидал дальнейших разъяснений. Роясь с бумагах, тот пробурчал, подсказывая:

— Спросите же: какой?

— Ну ладно, какой жук? — спросил Саиди.

Озираясь по сторонам, словно намереваясь поведать интересную тайну, Якубджан прошептал:

— Навозный жук вы... такой жук старается, пыхтит, пыжится перекатить комок навоза, но он всегда хватается за такой комок, который при всех условиях не пролезет в его нору. Трудится он, трудится, а в результате забивает вход в норку и закупоривает самого себя.

Саиди призадумался.

— Ну что, наслаждаетесь эффектом? — спросил Якубджан, подойдя к Саиди.

— Если бы мне пришлось перекатывать навозный ком, то я, конечно, начал бы с вас, — ответил Саиди, смеясь.

Нельзя сказать, что Саиди не понимал характера Якубджана, но некоторые его словечки и выходы он воспринимал как оскорбление и торопился ответить ему тем же.

Сравнение с навозным жуком было одним из таких оскорблений, но, как всегда, в нем был ощутимый осадок правды. Саиди потратил массу сил, энергии и труда на организацию гапа, «пошуровал у многих в душе», но ничего не добился. Мало того, что ничего не добился, каждый раз,

ведя свой нечистые переговоры, он вызывал у очередного кандидата подозрение и тем самым закрывал себе путь для дальнейшей деятельности. Наконец дело дошло до того, что он не мог уже ни к кому пойти и не мог ни с кем говорить на эту тему: у него холодело сердце, дрожали ноги. Назвав Саиди навозным жуком, Якубджан имел в виду именно это.

Но Саиди не хотелось сдаваться.

— На моем месте и вы бы оказались в таком же положении.

— Нет. Я уже был на вашем месте, однако не запер сам себя, как тот навозный жук.

— А что же вы сделали?

— Я организовал гап.

— Но новых-то людей вы не нашли и не привлекли!

— Почему же? Вот вы, например, Закирхон...

— Значит, вы всерьез полагаете, что привели меня на этот путь!.. Как бы не так! — Саиди от души расхохотался. — Нет, нет, Якубджан, не мучьтесь угрызениями совести! Многие раздумья мои, прошлое мое, кончина отца... Вот почему я очутился в гапе! И с Закирхоном обстоит так же, и с другими. А ну, скажите-ка еще раз: кого из нас, девяти человек, вы привели в гап? Надо иметь куда прийти, а уж тащить нас туда не придется. В гапе — наше спасение и прибежище. Вот если вы приведете туда таких, как Кенджа, как Пулатов, тогда я готов признать ваши организаторские таланты!

Якубджан злобно сверкнул глазами:

— Да ведь и вы были комсомольцем!

— Формально? — Саиди усмехнулся. — «Покинув когда-то свой табор, я сам возвратился в него...» — только и всех дел, уважаемый Якубджан!

— Пусть так! Но и вы бы могли найти таких... надтреснутых граждан... Найти и начать с них!

Якубджан вернулся на свое место. Саиди долго сидел, глядя в окно и ожидая новых нападков. Молчание становилось невыносимым, и он уже хотел что-то сказать, но не успел: открылась дверь, и в комнату с поклоном вошел учитель Салохитдин-домла, Якубджан первым поздоровался с ним. Саиди даже не привстал еще, как Салохитдин пожимал ему руку. Рукопожатие это живо напоминало Саиди слова Салохитдина-домлы на собрании интеллигенции, созванном в связи с земельной реформой.

Салохитдин-домла с тех пор заметно постарел. Борода его, про которую еще недавно говорили «с проседью», теперь совершенно побелела, на шее проступили синеватые жилки. Опираясь на посох, он уселся на стул, из кармана камзола с отложным воротником достал платок и вытер им лицо.

— Как, здоровы, бодры?— обратился к нему Саиди и, хотя отлично знал, что тот не работает, спросил:— Как работаете? Как дела в школе?

Салохитдин горько улыбнулся, промолчал. Да и Саиди не ждал ответа на свой вопрос.

Вот уже год, как Салохитдин ходит без дела. В одном из своих докладов, посвященных здоровой идеологии и здоровому воспитанию детей, заведующий отделом социального воспитания областного отдела народного образования Салимхон в пух и прах разнес учителя Салохитдина.

Во-первых, говорил он, в стенной газете в школе, где работал учителем Салохитдин-домла, появилось несколько стихотворений с националистическим душком. Кто-то из учеников разбил бюст вождя. Еще кто-то из учеников записал в своем дневнике клятву: «Когда я вырасту, стану революционером и свергну...», а когда его спросили что означает многоточие, то он будто бы ответил: «Советскую власть». Все это было правдой, Салимхон ни на иоту не преувеличивал. К фактам, рассказанным пионервожатым школы, он ничего нового не прибавил.

Никто из учителей и воспитателей не учил детей этому. Никто не учил их разбивать бюсты, никто не советовал им «стать революционером и свергнуть...», и никто из детворы не может сказать: «Этому научил меня такой-то учитель или такой-то воспитатель».

Кто же виноват, в конце концов?

Салимхон, призывающий к классовой бдительности, проанализировав эти факты, изрек: «Кто же все-таки виноват? Виноват ли Махмуджан-эфенди, который вовремя приходит на урок и, закончив свои часы, тотчас же покидает школу, или же виноват воспитатель Салохитдин, который днем и ночью торчит в школе и в общежитии? Несомненно, виноват в этом Салохитдин. Нельзя оправдывать и директора школы, и других учителей, так формально и поверхностно относящихся к делу воспитания детей, но основная вина лежит на Салохитдине! Палка должна обломаться именно о его голову!» Так оно и случилось: палка обломалась

Уб голову Салохитдина. Он был освобожден от работы воспитателя. Несколько учеников выступили все-таки на собрании и сказали: «Салохитдин-домла был хорошим воспитателем!» Их сочли отравленными порочным влиянием Салохитдина. Суровый надзор за ними поручили другим учителям и особенно директору школы, которого оставили на работе со строгим выговором. Махмуджан-эфенди с особым удовлетворением принял на себя это поручение.

Итак, Салохитдин был изгнан из школы. Через пять месяцев после этого скончалась его дочь, едва достигнув совершеннолетия.

Учитель потерял учеников, отец потерял дочь. По силе причиненных ими страданий эти два несчастья были равны для Салохитдина. От любимых его учеников у него осталось несколько тетрадей, а от любимой дочери — карта СССР, вышитая ею шелковыми нитками по бледно-красному шелку.

Тетради, карта. Когда Салохитдин любовался картой, то на глазах у него выступали слезы, а когда он переводил взгляд на тетради, то слезы текли по его седой бороде.

— Товарищ Саиди, — сказал Якубджан. — Видно, домле приходится очень трудно. Надо помочь домле... Вчера я говорил с заведующим нашим издательством. Заведующий говорит, что им нужен кассир. Так вот... быть может, хотя бы временно... Как вы думаете, домла?

Салохитдин сидел молча.

— И отлично! — сказал Саиди, с опозданием выразив сожаление, и, тяжело вздохнув, продолжал: — Да, трудно... человек ведь тридцать, тридцать лет проработал учителем. как-никак...

— Один из старейших наших интеллигентов, — сказал Якубджан. — Говорят же: волк виновен и в том случае, если даже он не нападал...

Салохитдин понял, что имел в виду Якубджан, ему тоже захотелось высказать свои мысли. Но мысли были путанные.

— Я вам вот что скажу, братец: воспитание — дело очень сложное и тонкое. Воспитывать в духе коммунизма — дело громадное. Человек — машина. Разные машины дают разный коэффициент полезного действия, так же и люди. Люди тоже приносят пользу человечеству по-разному. Человек, получивший коммунистическое воспитание, не станет тратить свои силы и свою жизнь впустую. Воспита-

тель, действующий по этой системе, прежде всего сам должен иметь такое воспитание. А как было у меня? Половина моей жизни прошла в обществе, построенном, чтобы калечить людей. И сколько бы я теперь ни старался, сколько бы ни сдерживал себя, ошибки в моей работе неминуемы! Но в том, что в среде моих учеников и воспитанников появились такие нездоровые мысли, — убейте меня, если я знаю, кто в этом виноват! Не я, не я, во всяком случае! Но раз так случилось, я обязан, я считаю своим человеческим долгом уйти из школы и поставить крест на прежней своей профессии...

Якубджан криво усмехнулся.

— Вы все еще упрямитесь, домла, я вижу...

Салохитдин покачал головой.

— Если бы дело обстояло так, как вы говорите, то это было бы простым двурушничеством. Но это не так. Под красное знамя я встал добровольно. Это знамя ярким пламенем освещает путь к грядущему счастью, и эту правду я вижу. Тут мне агитация не нужна, ибо красное знамя — знамя правды!

Саиди будто бы про себя язвительно пробормотал:

— А все-таки нашлось немало интеллигентов, не увидевших правды, которую увидели вы!

— Разве инженеры тоже считаются интеллигентами? — спросил Якубджан, обращаясь к Саиди.

Салохитдин понял, наконец, что имели в виду его собеседники.

— Вы намекаете, кажется, на это нашумевшее дело? — спросил он. — Разумеется, это и умные, и образованные люди, но ведь все зависит от того, какими глазами смотрит человек. Кроме того, есть вопросы личной выгоды. Миссионеры, наводнившие Америку, едва лишь она была открыта, чтобы привить христианство тамошним неграм, уверяли их, что затмение луны — явление божественное, хотя, конечно, заведомо знали всю лживость этого утверждения и умышленно путали представления туземцев. Но почему мы знаем? Чем больше и чаще будет встречать препятствий на своем пути правда, может быть, тем глубже и прочнее будет она проникать в сердца людей?!

Продолжать беседу с Салохитдином в таком плане вовсе не входило в расчеты Якубджана. Саиди же, наоборот, хотелось еще больше заострить разговор и — вдруг выйдет? — добиться того, чтобы Салохитдин не выдержал

И закричал бы: «Долой большевизм!» Но старшим в организации был Якубджан, и Саиди оказался вынужденным подчиняться ему. А Якубджан буднично спросил, хочет ли Салохитдин занять место кассира или нет.

— Если найдете меня достойным, то я не откажусь, конечно, — ответил Салохитдин. — Лишь бы приносил я пользу; неважно, где работать... — Вытирая лицо платком, Салохитдин распротился и ушел.

— Вот кого я обработаю! — сказал Якубджан, подойдя к Саиди, — А вы — жук...

## VIII

В семье, возникшей по непреодолимой любви двух сердец, сила этой любви создает тысячи чувств, связывающих их, чувств прекрасных, тонких и нежных. А в семье, возникшей по принуждению, на холодной и бесстрастной почве необходимости возникают чувства ложные, фальшивые, коль скоро эта семья должна сохраниться. Союз между Муниسخон и Мухтархоном был союзом принуждения и потому приносил Муниسخон поминутные разочарования, унижительные огорчения и тяжкие душевные переживания.

Два обстоятельства успокаивали Муниسخон до свадьбы. Одно из них было построено на заверениях Салимхона, что к тому или другому мужу, а привыкать все-таки придется и что, свыкнувшись, она непременно найдет в Мухтархоне «искрящиеся, благородные грани». Вторым обстоятельством, успокаивающим ее, было широко рекламируемое богатство Мухтархона. Но после свадьбы Муниسخон не обнаружила ни того, ни другого. А без «благородных граней» и богатства Мухтархон был невыносимым. И если раньше, не зная, к чему же придется привыкать, еще можно было надеяться как-нибудь привыкнуть, то теперь это казалось совершенно невыносимым. К чему, к чему привыкать?! К тому, что, когда он целует, то издает такой звук, словно цокает ящерица? О господи! Он похож на медведя, просунувшего свою морду в улей, несмотря на то, что пчелы целым роем напали на него...

Тяжелый крест тащила Муниسخон, но при встречах с Саиди старалась казаться веселой и довольной своим замужеством.

Лишь в самом потайном уголке своего сердца она лелеяла надежду, нет, только искорку надежды, что рано или поздно Саиди будет плакать перед ней, опустившись на колени и повторяя: «До каких пор мы будем мучить друг друга?» И тогда она сжалится над ним... Но, разумеется, все это случится тогда, когда Саиди уже будет занимать высокое положение и его богатству не будет счета.

В том, что, достигнув высокого положения и богатства, Саиди на коленях будет умолять ее снизить до него, Мунисхон ни минуты не сомневалась. Вот почему она не придавала значения и слухам о предстоящей свадьбе Саиди и Сорахон. Не поверила даже самому Саиди, когда он подтвердил ей это. Ей все казалось, что она наблюдает за Саиди в роли канатоходца; вздумай он упасть с натянутого каната, ужаснутся только люди непосвященные, но она-то отлично знает, что ноги его крепко привязаны к канату и на самый худой конец он лишь повиснет головой вниз.

А вышло все не так. Неожиданно для себя Мунисхон достоверно узнала о том, что свадьба назначена на двадцать второе число нового месяца, что Мурадходжа-домла уже разослал письма своим друзьям в разные города с приглашением на свадьбу, что все приготовления уже окончены. Свадьба состоится, это было несомненно. И впервые Мунисхон призналась себе, что любит Саиди. Бросившись ничком на кровать и закрыв лицо руками, она горько плакала от жгучего нестерпимого горя. Ей казалось, страдания ее так велики, что надо покончить с собой. Потом, опомнившись, она решила: помешать свадьбе! Однако, поразмыслив как следует, пришла к заключению, что покончить с собой легче, нежели помешать женитьбе. Тут Мунисхон совсем заметалась... Жить все-таки очень хотелось. Она решила пойти на маленькую уступку: все-таки ведь и она виновата—она первая вышла замуж. Ладно, пусть и он женится на этой девушке. Будем квиты!

Однажды, возвращаясь с лекций, Мунисхон очутилась на той улице, где помещалась редакция газеты. Ей вдруг захотелось зайти туда, и она шагнула в подъезд, словно человек, имеющий неотложное дело. Переступив порог, она испугалась: «А что же я скажу Саиди?», однако сделала еще несколько шагов. Дойдя до вторых дверей, она снова спросила себя: «Все-таки что же я скажу ему?» Но было

уже поздно: она потянула на себя дверь и очутилась в комнате.

Саиди сидел за столом, заваленным бумагами. Увидев Мунисхон, он так растерялся, что едва сумел взять себя в руки. Он молча указал ей на стул, приглашая сесть. Оглядев комнату, где за столом сидели заведующие отделами, а в дальнем углу подремывал редактор, Мунисхон обратилась к Саиди строго официальным тоном.

— Товарищ Саиди, на нашем факультете организован корреспондентский кружок... то есть хотели организовать... так вот... нам нужен руководитель... Много желающих...

Она сделалась пунцовой. Она действительно слышала чьи-то слова о «корреспондентском кружке», но не имела понятия, ни где он создается, ни кем организуется, ни, тем более, как должен работать. В общем ничего об этом она не знала и сболтнула о «корреспондентском кружке», чтобы хоть что-нибудь сказать.

Саиди и впрямь поверил, что она пришла по делу, хотя это ему показалось немного странным. Он достал из ящика стола инструкцию и передал ей. Аккуратно вложив инструкцию в свой маленький черный портфель, Мунисхон поднялась. Встал и Саиди, чтобы проводить ее. Мунисхон, не оборачиваясь, знала, что он следует за ней по пятам и выйдет на улицу, поэтому ~~убыстрила~~ шаги. Уже на улице Саиди ухватился за ее локоть.

— Мунис...

Мунисхон остановилась, сойдя со ступенек.

— Да, я слушаю тебя?

— Отчего так спешить?..

— Дело спешное, вот и спешу.

— Мухтархон вернулся?

Мунисхон скорчила гримасу. Никогда до сих пор не выражала своего истинного отношения к Мухтархону перед Саиди. Саиди догадывался, что Мунисхон не может любить мужа, но тщетно ждал от нее признания в этом.

— Что ты хочешь сказать?

— А разве я что-нибудь говорила?

— Нет, но у тебя такое лицо, будто ты недовольна...

— Ничего подобного!— ответила она, глядя в глаза Саиди, и вдруг заиграла кончиком тяжелой косы.

— Ну, Мунис, я же вижу твоё настроение... И вообще я слышал...

— Нет! Нет! Нет! Муж у меня хороший!



Мунисхон покраснела, на ее ресницах засверкали слезинки. Она хотела повернуться и уйти, но Саиди снова задержал ее.

— Тогда почему ты плакала в ночь свадьбы?

— И ты заплачешь, быть может...

С трудом удерживая слезы, Мунисхон прикрыла лицо рукой. Они стояли рядом, печальные, одинокие и задумчивые.

— Во всем этом виновата одна ты, — сказал Саиди упрямо, опуская глаза. — Ты так все сделала, что в ночь своей свадьбы проплакала сама, а теперь плакать придется мне...

— Виноват и ты. Почему ты... молчал?..

— Я молчал?! Я молчал?! А помнишь, что ты сказала тогда, в саду рабочего городка, когда мы готовились к лекциям? Я едва осмелился намекнуть тебе тогда, а ты что ответила? «Я за тебя никогда не выйду!» — вот что ты сказала тогда.

— Неправда! Это все были шутки! Ты ничего не говорил!

— Хорошие шутки для мужчины! Да после такой обиды я и вовсе не смел заговорить об этом. Мало того, что ты относилась ко мне свысока и рта не давала мне раскрыть...

— Но ведь ты тогда пил...

— Теперь я стал пить еще больше.

— Может быть, я и теперь отношусь к тебе свысока, почему ты знаешь?.. Однако вот не боишься же сказать сегодня! Сегодня, когда все поздно... А тогда вздыхал, молчал, и неужели мне... первой надо было говорить?

— Ну, допустим даже, что вздыхал и молчал. Но ты-то, ты-то могла же хоть подтолкнуть?!

— Конечно, я еще должна подталкивать! Нет, виноват во всем один ты! Я вся была в твоих руках. Ты мог бы сделать из меня все что хотел.

Саиди покраснел не то от досады, не то от хватившей его решимости сказать, наконец, все:

— Я люблю тебя по-прежнему, Мунис, и эта любовь моя все еще похожа на нераскрывшийся бутон...

Мунисхон неуверенно спросила:

— Теперь трудно?..

Саиди холодно и сурово посмотрел на нее:

— Трудно? Разве это то слово? Для того, чтобы создать одну новую семью, пришлось бы разрушить две старые.

Но и это бы ничего, если б вся трудность заключалась лишь в семьях. Основная и, думаю, неодолимая трудность заключается в другом: разладятся отношения между Мухтархоном, Салимхоном и Мурадходжой-домлой. Ну, допустим, мы с тобой создадим семью, закроем глаза и уши. Все равно нам пришлось бы переживать все печальные последствия разлада их отношений. Ничего ты, Мунис, не знаешь, и говорить я не имею права. Но... Впрочем, утверждают, что нет средства только от смерти!.. Я предоставляю последнее слово тебе. Если ты обещаешь ни перед чем не останавливаться, ничего не бояться...

— Ты в Москву не едешь? — внезапно перебила Мунисхон непривычно резкую речь Саиди.

Саиди не ответил. Впрочем, может быть, это молчание его и было самым выразительным ответом.

Теперь Мунисхон пришлось признаться самой себе в том, что не в ее силах прибрать Саиди к рукам. До сих пор она думала так: «Саиди — это комок теста, захочу — вылеплю из него лепешку, захочу — испеку боурсак!»\*

Но оказалось, что она преувеличила свои силы. Оказалось, что Саиди — мужчина и, как все мужчины, умеет подчинять порывы сердца. Оказалось... Да, оказалось, что она проиграла свою игру, капризная жемчужина Мунисхон. Она повернулась, чтоб в последний раз взглянуть на Саиди. Он все еще стоял, упрямо и низко опустив голову. Тогда Мунисхон тихой тенью скользнула вперед и скрылась за углом переулка. Когда Саиди поднял голову, чтоб сказать ей «Прощай!», ее уже не было видно.

## IX

Саиди никогда не ожидал, что свадьба получится такая пышная и богатая. Из Татарии и других республик, из всех крупных городов Средней Азии съехалось так много гостей, что если бы продать хоть небольшую часть привезенных ими свадебных подарков, вырученных денег хватило бы на десять обычных свадеб.

На рассвете, еще до зари, по двору забегали, словно вчочки, женщины-прислужницы, во внешнем дворе, за

---

\* Б о у р с а к — национальное блюдо, нечто вроде пирожков без начинки.

домом, в саду, заходили мужчины, стараясь закончить приборку всего, что осталось неприбранным со вчерашнего дня. Из трех громадных тандыров\*, специально выстроенных по случаю свадьбы, к завтраку уже вытаскивались слоеные и сдобные лепешки, самса\*\*, лепешки с кунжутом и, аккуратно и красиво уложенные в плоские корзины, отправлялись в ичкари и ташкари\*\*\*.

Один из закадычных друзей домлы, известный в городе кандалатчи\*\*\*\*, давший обет домле собственноручно готовить сласти к свадьбе, сбивал нишалду\*\*\*\*\*, устроившись в чуланчике в углу двора. Целая команда мальчишек, выстроившихся вокруг него, с шумом и криками кидается на белые комки пены, вылетающие из огромного медного чана. Немного поодаль от них, особняком, стоят тихие и скромные девочки-подростки. Кандалатчи то и дело дергает их за косички, угощает суслон, бросает им двусмысленные словечки, щиплет за подбородки, целует в лоб, изо всех сил пытаясь воспламенить свою остывшую кровь. Он больше занят этим, чем приготовлением нишалды. Однако точно к завтраку нишалда готова. Густую, белоснежную, разлитую по вазочкам и тончайшим пиалам, ее начали разносить по ичкари и ташкари вместе с вареньем из моркови, айвы и других сладчайших плодов.

За несколько дней до свадьбы Мурадходжа-домла сделал огромный заказ в одной из самых крупных кондитерских города. Утром в день свадьбы хозяин кондитерской прислал к домле своего посыльного с неожиданным условием: если заказчик не забрет немедленно часть товара, уже имеющегося в магазине, то его заказ выполнен не будет: складывать заказанное некуда! Домла был вынужден принять это условие, поэтому за завтраком кондитерских изделий оказалось вдвое больше, чем хотел бы домла.

Завтрак был еще в полном разгаре, когда из подвалов начали выносить в огромных тазах разделанное мясо. Из-под громадных котлов, что выстроились на черном дворе, начал подниматься дым. Под чинарой, возле

---

\* Т а н д ы р — специальная глиняная печь для лепешек

\*\* С а м с а — острые мясные пирожки.

\*\*\* Т а ш к а р и — мужская половина дома.

\*\*\*\* К а н д а л а т ч и — продавец сластей, которые сам же

и делает.

\*\*\*\*\* Н и ш а л д а — национальное сладкое блюдо из сахарной пены.

бассейна, множество людей занималось чисткой и резкой моркови, картофеля и всяких других овощей. Одну половину супы заполнили всевозможные кульки с черным и красным перцем, тмином, барбарисом, анисом и прочими пряностями; тут же возвышались горы укропа, зеленого лука, джамбила и всяких пахучих трав. Как только окончился завтрак, из ичкари вырвалась целая гурьба киш-лачных девушек и молодых в платьях из ханатласа и атласа цвета вороньего крыла, с повязками из шелковой кисеи на головах. Обгоняя друг друга, они промчались в сад и, забросав мужчин, возившихся у котлов, сидящих на супе и возле бассейна, шутками и прибаутками, убежали в сторону шипана в центре сада, откуда через минуту понеслись раззадоривающие звуки бубна.

Твоя любовь меня с ума свела — ох, беда моя!

Твои глаза как очи дикой серны — ох, беда моя!

Мурадходжа-домла принарядился: на нем белая длинная шелковая рубаха, желтый шелковый кушак; на голове — разноцветная новенькая тюбетейка, только что вынутая из-под пресса. Выйдя из ичкари своей знаменитой утиной походочкой, он позвал слугу, сидевшего на супе и резавшего мясо:

— Остона, кто там на шипане? Гони всех оттуда! Быстренько полей шипан да вынеси из ичкари ковер... А поверх ковра постели курпача! Я посылал Турды за шампурами, если он принес, так скажи, пусть начинает жарить шашлык!

Отдав распоряжение, домла удалился. Обтерев руки о край дастархана, Остона кул глубоко вздохнул и встал.

— И в день свадьбы, даже в такой великий день зовет меня Остоной!\*\* Сколько лет живу, ни разу не позвал меня полным именем. Все Остона, Остона...

Едва успел Остона кул выполнить приказ домлы, как один за другим в сторону шипана потянулись гости, прибывшие из ближних и дальних городов. Среди них был Мухаммедраджаб. Мухтархон шел, по-дружески взяв Саиди под руку. Позади всех важно шествовал Мурадходжа-домла рядом с гостем, прибывшим из Татарии. Гость что-то горячо доказывал домле:

---

\* Х а н а т л а с — ярко-красная шелковая ткань.

\*\* О с т о н а — порог.

— ...К примеру, государство, образовавшееся на Востоке и состоящее из тюрков и туркменских племен, после поражения гениального Чингиза и Хулагу разбилось на ряд новых государств, а именно: Илойхония, государство Тимура, государство Дашти-Кипчак на севере, Бабурия в Индии, Осмония в Анатолии, София в Персии... Но и эти государства, построенные на подгнивших фундаментах и развалинах здания ислама, примут свой конец. А государство Туран, которое мы собираемся воздвигнуть, будет стоять на прочной основе реформированного ислама...

Вслед за ними в сторону шипана проследовала группа музыкантов.

Слегка на отлете по отношению к шипану жарился на огне шашлык; дым, разносивший его запах, медленно и лениво исчезал между деревьями.

Зазвенели рюмки и бокалы, задвигались челюсти. Музыканты, которых усадили на отдельной супе, начали настраивать инструменты. Сначала они сыграли длинную и довольно сложную мелодию, которую выбрали по своему вкусу, но ценителей музыки было маловато. Тогда музыканты начали играть только то, что заказывали им гости, услаждая их малотребовательный слух.

Джамаль Карими, которого Мурадходжа-домла прозвал «великим выпивалой», достиг исполнения своей мечты: ключ от амбара, где хранилось несколько бочек пива, тончайшие вина разнообразных марок и бесчисленное количество бутылок с водкой, находился у него в руках. Еще с утра, бросив в ведро с водой хорошую горсть соды, Джамаль до прихода гостей и до начала пиршества на шипане успел испробовать по одной рюмке от каждого сорта вина. Чувствуя, что начинает пьянеть, он принимался глотать воду из ведра и, придя в себя, снова продолжал пробовать вина, откупоривая одну бутылку за другой. Кроме того, каждый раз, когда он приносил на шипан бутылки с вином и иными напитками, Саиди любезно подносил ему лишнюю рюмку. Испив половину ведра воды с содой, он все-таки опьянел настолько, что, когда появился в очередной раз с бутылками вина в руках, зацепился нога за ногу и навзничь опрокинулся на ступеньках шипана. Впрочем, один из музыкантов в этот момент был настолько пьян и так смешил гостей, что постыдное падение Джамала Карими осталось незамеченным.

Опьяневший скрипач, вставая, зашатался и, наступив на дутар, лежавший посредине, раздавил его, а затем, чтобы время не пропадало, качаясь, заорал пьяным голосом:

Кинжал мой сетует на то,  
Что короток он очень.  
Кинжал мой сетует, что он  
Ничем не лучше прочих.

Один из солидных гостей, Хайдар-хаджи, пытаюсь встать, покачнулся и попал ногой в блюдо с шашлыком. Блюдо раскололось, и упасть бы хаджи непременно, если бы не удержал его Мухтархон. Мухаммедраджаб, усевшись рядом с Саиди, упрашивал его спеть что-нибудь, расхваливая его голос.

Мурадходжа-домла, желая устроить свадебный стол на все вкусы, заранее заказал в ближайшем ресторане разных «европейских» закусок. Хозяин ресторана оказался не глупее владельца кондитерской. В ту самую минуту, когда закускам следовало уже украшать дастархан, ресторанный заявил: если, мол, домла не купит у него вина в количестве, соразмерном заказанным закускам, то заказ выполнен быть не может. Все продукты, необходимые для своего заведения — овощи, мясо, яйца, муку и многое другое, — владелец ресторана покупал обычно у Мурадходжи-домлы, поэтому домла на условие ответил условием: если ресторанный не отпустит закусок без вина, то и он прекратит отпуск товаров. Однако владелец ресторана только пожал плечами и сказал: «Как хотите!» Убытков он явно не боялся. Спор закончился тем, что Мурадходжа-домла был вынужден закупить у него вместе с заказанными закусками и напитки, которых на свадьбе оказалось вдвое больше, чем предполагал домла.

Друзья из города — все те же Аббасхон, Махмуджан-эфенди, Мирза Мухитдин, Салимхон, Ильхам, Якубджан и другие — были приглашены в ичкари, то есть туда, где веселились приезжие из дальних мест. Но большинство гостей, в частности редактор областной газеты, директор техникума Закирхон, Салохитдин-домла, Мухаммедраджаб, все участники гапа, организованного Якубджаном, несколько учителей и даже сам Саиди, остава-

лись в ташкари. Здесь же были усажены все музыканты, певцы, комики. Во дворе ичкари девушки и молодухи затеяли песни, танцы.

Хутбы\* дожидались долго: многие известные певицы в ичкари охрипли от долгого пения, танцовщицы валились с ног, а в ташкари, где шло соревнование в пении, одна сторона признала себя побежденной.

Совещание, начавшееся под флагом свадьбы три дня назад в одной из дальних комнат ичкари, продолжалось и вечером следующего после свадьбы дня. В совещании приняли участие все члены областного комитета организации. Салимхон, Аббасхон, Мухтархон, Мурадходжадомла и другие. Перед солидными и важными людьми, прибывшими из других организаций, они сидели тихие и смиренные, как дети, которым позволили присутствовать при беседе взрослых. В центре внимания находился председатель центрального комитета организации, средних лет человек, в своей одежде отставший от века лет на двадцать. На совещании царило тяжелое, подавленное настроение, которое не удавалось преодолеть ни горячими речами некоторых ораторов, ни все новыми и новыми предложениями, вносившимися на обсуждение.

Гость из Татарии с бухгалтерским педантизмом подтверждал и опровергал сведения, дошедшие из его республики до вилайетского комитета. Увы! Баланс из Татарии был плох, очень плох. Гость прямо назвал ложью разговоры о том, будто татарская контрреволюция добилась значительных успехов; и наоборот, сведения, в которых говорилось о том, что организация стоит перед угрозой раскрытия, гость подтвердил полностью. Вдобавок ко всему, он сообщил о предательстве многих старых интеллигентов по отношению к организации.

Хайдар-хаджи в своем выступлении горько сетовал на то, как трудно стало сохранить басмачество. Он говорил короткими резкими фразами, а лицо его выглядело безмерно усталым.

— Круг возможностей с каждым днем суживается все больше и больше. Народ не заинтересован в сохранении басмачества. Напротив, он заинтересован в быстрой

---

\* Х у т б а — свадебная молитва, после которой брак считается совершенным.

ликвидации его. Следовательно, народ на стороне правительства. Эти настроения ни меч не сечет, ни огонь не лижет. Вот вам недавний пример: Атабек окружил в одном кишлаке около трехсот аскеров, заночевавших там. Сражение длилось четыре дня. Дороги были залиты водой, мосты разрушены. Пушки, спешившие на помощь аскерам, застряли в пути. Так что же вы думаете? Все население кишлака вынесло из своих домов овчины, кошмы и одеяла — устлало ими дорогу. Вот как относятся кишлаки к правительственным аскерам и к Атабеку.

Председатель гневно воскликнул:

— Вам же даны были указания одеть всех джигитов в красноармейскую форму и поручить им предавать огню такие кишлаки, разорять их, грабить, возбуждать в населении ненависть к власти, разжигать религиозные чувства...

Его прервал Мухтархон:

— Мы пытались применить этот способ, но ничего не добились, кроме того разве, что симпатии населения к правительственным аскерам возросли во много раз, а сами мы понесли большие потери. Трех человек из своих джигитов мы послали под видом добровольцев-красноармейцев в Джалалабад. Они пробрались туда через Андижан. В бою в одном из кишлаков они, как было приказано нами, обошли несколько домов, ограбили их, даже изнасиловали девушку... После боя мать девушки приводит дочь к командиру части с жалобой. Командир немедленно велит трубить, созывает всех своих аскеров и выстраивает, затем водит девушку перед фронтом. Естественно, девушка узнает того человека. Командир, задав несколько вопросов этому аскеру, тут же, на месте, расстреливает его. В результате мы лишились и своего человека, и... сами понимаете...

Последним выступил председатель центрального комитета, подытоживший все, что говорилось остальными. Затронув вопрос о движении басмачей, он сказал, что убийство Самандара-курбаши, как выход из создавшегося положения, было действием правильным. Но как при этом не пустить слух, что Самандара-курбаши заманили с целью убить? Как пропустить такой удобный случай уронить в глазах народа советскую власть? Председатель гневался и прямо объявил, что «в этом деле Мухтархон растерялся». Затем он заговорил о том, что на окрестности Джалалабада рассчитывать нечего и что все силы необходимо пере-



бросить на границу с Афганистаном, чтобы там организовать настоящую работу.

В ташкари продолжалось пиршество, звучали песни, в разгаре были танцы.

## Х

Своей жизнью Саиди был бы вполне доволен, если бы не маленький червячок, точивший где-то в глубине сердца. Он любит Сорахон. Когда-то он провозглашал: «В семейной жизни лучше иметь жену некрасивую», но теперь он отрекается от этого утверждения. Не может он называть Сорахон женщиной некрасивой! Скоро, очень скоро Сорахон вытравила из его сердца любовь к Мунисхон. А если и сохранилась искорка этой былой любви, то Саиди знал, что такую искру «способен погасить один поцелуй».

В семье Саиди пользуется большим, чем сам Мурадходжа-домла, уважением и почетом. Многочисленная родня, низко кланявшаяся при виде Мурадходжи-домлы, при встречах с Саиди сгибалась до земли. Прислужница как-то обратилась к нему со словами: «Рахимджан-ака» и получила затрещину от домлы. Домла приказал ей отныне именовать Саиди «мой бек».

Денег было много. Одних только заработков домлы хватило бы на роскошное содержание целой семьи. А Саиди зарабатывал во много раз больше, чем домла. Часть дома, отведенного Саиди, была убрана в восточном стиле, другая — в западно-европейском. Единственным недостатком убранства являлось то, что среди множества книг, расставленных в шкафах, не было повестей и романов Рахимджана Саиди. Но этого уж нельзя было исправить никакими деньгами.

Не тут ли гнезвился маленький червячок, точивший сердце Саиди? Неясная душевная мусть рождала в нем вдруг раздражение, он начинал томиться. Эта мусть особенно усиливалась в пятницы, когда он оставался один или возвращался из кишлака, куда ездил на прогулки с приятелями. Несмотря на видимость счастья, он теперь снова жил с тем странным чувством тревоги, которая терзала его, когда он избегал становиться на комсомольский учет или когда комсомольская ячейка возлагала на него какую-нибудь нагрузку. Причину этого душевного бес-

покойства он научился понимать так: и счастье, и великолепная жизнь не прочны, все это дело обещанное, но не выполненное; дом, построенный на льду. Рано или поздно обещание будет нарушено. Под мягкими весенними ветрами лед даст трещину, начнет подтаивать и отдастся в плен течению... А это течение — течение жизни. В нем таятся страшные омуты и водовороты, и его нынешняя жизнь покажется тогда только далеким-далеким сном... Вот почему Саиди каждый вечер со страхом думал о наступлении утра, а по утрам — о наступлении вечера. Каждая минута, прожитая им, уносила с собой покой, приближая неизвестную развязку.

Часто ему казалось, что жизнь его уже достигла высшей своей точки, своей вершины, за которой его подстерегает гибель, конец. Поэтому, хотя он и уверял себя, что если не завтра, то послезавтра вся республиканская печать будет кричать: «Саиди писатель с мировым именем!», хотя он и мечтал о дворце в прекрасной долине, все же он предпочитал сегодняшний день завтрашнему и во имя прочности своего настоящего согласился бы отказаться от будущей мировой славы.

А Мурадходжа-домла был весь поглощен претворением в жизнь своих планов и намерений. Он постоянно твердил Саиди: «Всегда, когда это удобно и неудобно, надо делать деньги и беречь их. Деньги — это единственный верный шанс в жизни. Надо наживать добро».

Как-то Мурадходжа и Саиди сидели в шипане в саду, и Мурадходжа-домла сообщил своему зятю:

— Мы имеем в наличии около четырнадцати тысяч восьмисот рублей деньгами и сто тридцать пять пудов риса. Я думаю, с середины нового месяца можно приступить к строительству нового дома.

Новый дом, о котором говорил домла, предполагалось воздвигнуть на месте длинного ряда сараев и амбаров, отделявших сад от двора. Задумчиво глядя в ту сторону, Саиди проговорил:

— А проект все тот же?

— Пока все тот же. Но он вам не нравится. Я это знал тогда еще.

— По-моему, нет никакого смысла строить дом с длинным рядом комнат. У нас и так их слишком много. Если уж строить новый дом, то надо, чтобы он стал украшением двора.

— Что же вы предлагаете?

Саиди заговорил так, словно уже видел этот дом:

— В обоих концах дома будут круглые комнаты с выпуклыми гранями, с цоколем по крайней мере в полтора метра высоты. Громадные окна этих двух комнат выходят в сад. Остальная часть дома между этими двумя комнатами разделена надвое, в первой половине которой будет большой зал с двумя комнатами по бокам, а вторая половина будет представлять собой большой айван\*, выходящий в сад. Если средства, намеченные на строительство дома из восьми-девяти комнат, затратить по моему замыслу, то и сад приобретет иной, куда более красивый и привлекательный вид. Вон тот бассейн зароем, а тут, поближе, в пяти-шести саженях от айвана, отроем новый, вдвое или втрое больше прежнего. Если хотите, возле нового бассейна тоже можно будет построить небольшой дом. Или, оставив между айваном и бассейном узкую дорожку, всю остальную площадь засадим цветами.

— А как же будет со стороны двора?

— Так и будет: выход из зала будет обращен ко двору. Будут большие окна с зеркальным стеклом... Будет и подвал.

— Ну, если так, то дом можно будет построить и за пять тысяч!

— Конечно можно, но если хотите, можно затратить и все пятнадцать. По мне, если уж решили строить дом, то денег жалеть не стоит. Не делать же лестниц из дерева, потолки из фанеры, не белить же стены простой известкой? Все должно быть первосортным! А на резчиков и камнетесов уйдет немало денег...

Саиди мечтал о доме, уже приближенном к тому дворцу, который он намеревался воздвигнуть в долине. Его проект с круглыми комнатами пришелся по душе домле, и обоим им не терпелось как можно скорее приступить к строительству.

Впрочем, домла торопился не столько потому, что ему хотелось как можно быстрее выстроить дом: он опасался, что строительные материалы поднимутся в цене, и это подстегивало его.

Он начал делать большие закупки. Во дворе тем временем сносили старые сараи и амбары, подготавливая площадку под новый дом.

---

\* А й в а н — терраса.

— Я думаю вот о чём, — сказал однажды Саиди домле. — Мы омертвляем деньги, покупая заранее строительные материалы. Пусть они даже рано или поздно вздорожают, но омертвленный капитал — уже не капитал. Покупать надо только то, что необходимо сегодня, а остальные деньги пустить в оборот. Этот оборот даст по меньшей мере десять процентов прироста ежемесячно. Я переговорю с Мухаммедраджабом, можно будет дать ему тысяч пять или шесть на условиях — десять процентов роста. Что вы скажете на это?

Домла был вне себя от радости.

— Если он согласится на десять процентов, можно дать ему и все десять тысяч! Сто тридцать пять пудов риса! Хороший рис, отборный! За глаза дадут по десяти рублей. Кроме того, у нас есть еще шестьдесят семь фунтов шелковой пряжи. Все это можно продать и дать Мухаммедраджабу десять тысяч рублей. Я отлично знаю его, он опытный, бывалый. Но хороший ли он человек, а? Добро, если он честен... Вы только не обижайтесь, я на всякий случай...

— Так я схожу к нему, — сказал Саиди, — и, допустим, это принесет нам полторы-две тысячи дохода. Но и это еще не все. Вашей зарплаты хватает только на семью, на хозяйство. В редакции я заработать больше, чем теперь, не могу, значит, надо зарабатывать и помимо редакции. Я ведь прежде учительствовал... Может, снова взяться за это, как вы думаете?

Домла задышался от радости:

— О, это дело весьма прибыльное! Я думаю, это поможет и вашему творчеству.

Домла перечислил имена ряда крупных писателей, намекая на то, что и они в свое время учительствовали.

— Я преподавал родной язык. Теперь, думаю, смогу вести и литературу!

— Конечно! Несомненно сможет! Кроме того, есть еще одно дело. Говорят, что нынче переводы стали очень доходны. За страницу платят три рубля. Если каждый вечер переводить странички три-четыре, то за месяц, глядишь, набегит триста-четыреста рублей. Я сам бы с величайшим удовольствием занялся этим делом, да русского языка не знаю, вот беда! Нет, подумать только — страничка — три рубля, другая страничка — опять три рубля! Всего только одна тысяча типографских знаков.

— А найдется?

— Только пожелайте — найдется. Я гарантирую!  
Домла засмеялся.

Саиди представил себе тысячу знаков и удивился: так мало? Тысяча знаков! Три рубля! Так отчего же нельзя переводить в день не одну, а десять страниц?

У Саиди захватило дух.

В последующие недели все эти планы были реализованы. Саиди побывал у Мухаммедраджаба и предложил ему себя в пайщики. После долгих и горячих споров, Мухаммедраджаб согласился выплачивать ему не по десять процентов, а по восемь. Ожидая возвращения Саиди из поездки, домла подыскал ему место учителя и в день его приезда поспешил сообщить ему об этом.

— Каждый день после работы по два часа будете читать лекции по литературе. Это в техникуме. Оклад — сто восемьдесят рублей. В вечерней школе рабочей молодежи будете помогать слушателям по родному языку, арифметике, естествознанию и землеведению. Это займет у вас всего два часа времени в день. Оклад — двести сорок в месяц.

— А как с переводами? Нашли?

— Нашел. Хоть и мелкая, зато постоянная работа. В мастерской вывесок. Выторговал для вас по четыре рубля с полтиной за каждую страничку. Будете такую денюгу выколачивать!

И Саиди начал выколачивать «деньгу». Работа в газете приносила столько же, сколько преподавание и переводы. Но зарабатывать в газете так, как ему хотелось, не удавалось: заведующий массовым отделом редакции Кенджа давно раскусил Саиди и оказался бдительным человеком. Его заинтересовало, почему с некоторых пор рабселькоры на первых страничках своих заметок стали подписывать: «С гонораром», а некоторые подписывали даже на каждой странице. «Чем это вызвано? — размышлял Кенджа. — Никогда ведь раньше ничего похожего не было!»

От размышлений он перешел к проверке. Когда он обратился к кассиру Салохитдину с вопросом о том, каким порядком высылаются деньги корреспондентам, тот недоумевающе пожал плечами и ответил: «Не понял». Кенджа решил просмотреть ведомости, но бухгалтер моментально насупился и ответил: «Ведомости показывать

не имею права!» Кенджа возмутился. Бухгалтер назвал его «бузотером» и «склочником». Кенджа пожаловался редактору. Как всегда, редактор ласково пожурил того и другого. Саиди, знавший об этой возне, нашел повод послать Кенджу в командировку на месяц. Кенджа уехал, но Саиди от присвоения чужих денег стал воздерживаться.

По мере того как рос фундамент нового дома, росло и душевное беспокойство Саиди. Беспокойство исчезало только на короткое время, когда он находился на очередном собрании гапа: потом все начиналось сначала.

## XI

Однажды вечером Саиди вернулся с работы поздно и в подавленном настроении. Обычно он шел прямо в сад и подолгу бродил вокруг стройки, прислушиваясь к тому, как рассуждают старые мастера о красоте будущего дома. Лучшего отдыха ему было не нужно. Но сегодня он медленным и усталым шагом, будто ноги его проделали долгий и утомительный путь, прошел прямо в комнату и сел в качалку, стоявшую у окна. Сорахон сидела на тахте и концом иглы чистила зубья старой гребенки. Было похоже, что и она не в лучшем настроении. Она встала, отряхнула подол платья и растянулась на тахте.

— Нет ли остуженного чая?— спросил Саиди, обмахивая вспотевшее лицо.

— Остуженного чая вам захотелось?— сказала Сорахон. — А там, где вы были, разве не угощают вас чаем?

Сорахон оказалась женщиной в высшей степени ревнивой.

В каждом движении, в каждом слове Саиди она искала признаки измены, и не было дня, который обошелся бы без вульгарных и бездоказательных сцен ревности. Ко всему этому Саиди до сих пор относился терпимо, но сегодня его задело за живое.

— Нет! Водой, предназначенной для чая, пришлось обмыться!

— Я знаю!..— проговорила Сорахон, плача.

Саиди почувствовал, как гнев подымается в нем. Так хотелось отдаться этому облегчающему чувству, накричать, затопать ногами. Но в соседней комнате послышались шаркающие шаги. Подумав, что это идет мать Со-

раhon, он сдержал себя, потому что каждый раз, когда у него происходила размолвка с женой, вмешивалась теща, обладавшая удивительной способностью вносить в семью неприятности и раздор. Эта женщина, похожая на мумию, еще больше, чем дочь, ревновала Саиди. Она всегда интересовалась тем, где и с кем бывает Саиди, и стоило ей заподозрить что-нибудь, как она напускала на него дочь или же сама принималась терзать его. Она была ворчлива, многословна и вздорна. Отвечать на ее поклепы было бесполезно, да и осмелся он ответить ей хоть одним словечком — ближайšie три-четыре дня его жизни были бы наполнены адскими терзаниями. Саиди прозвал ее «Соловей-Соловушка».

В дверях появился Мурадходжа-домла. Он пересек комнату своей утиной походкой, переваливаясь с боку на бок, и уселся в кресло напротив Саиди. Длинно-предлинно рыгнул.

— Слава тебе господи! — проговорил он, вытянув шею, ибо ему снова захотелось отрыгнуться. — На здоровьечко... Н-ну-с, что новенького?

— Ничего...

— Гмм... А я у одного человечка выторговал двадцать семь ящичков красок. Да еще купил шестнадцать фунтов олифы. Хорошие краски. А олифа? Варенье, а не олифа! Густая. Н-ну-с, еще вот что. На прошлой неделе Аббасхон предложил мне составить хрестоматию современной узбекской литературы для средней школы, да я отказался за недостатком времени. А подумав, решил, что, пожалуй, надо бы...

— Конечно надо, а то еще возьмется какой-нибудь Кенджа. Что тогда будет?

— Если смотреть с этой точки зрения, так выходит, что непременно надо, — согласился домла, — но есть и другая сторона дела. Дело в том, что если увеличу объем хрестоматии, то я думаю, что гонорара хватит на всю отделку дома. Да, чуть не забыл! Я нашел для вас около шести заявлений, надо перевести их на русский. За перевод каждого дадут по три рубля.

После минутного молчания Саиди заговорил:

— Несколько времени назад мне пришла в голову одна идея, которой я тогда же поделился с Якубджаном. За последний месяц я убедился в правильности этой идеи, сегодня получил новое подтверждение. Видите ли, домла,

я думаю, что не сумел организовать новый гап и не привлек новых членов в существующий гап вовсе не потому, что именно я не умею этого. Людей, которых объединил Якубджан, сумел бы собрать и организовать любой. А вот отчего количество участников до сих пор не увеличивается? Было в нашем гапе девять человек, так и осталось девять. Ибо людей готовых, вполне зрелых для этого дела, мало! И чтобы довести их до состояния такой зрелости, подготовить их, нужно очень много времени. Не рациональное ли это время и труд потратить на подростков, не достигших еще совершеннолетия?

Домла живо одобрил мысль Саиди.

— Еще бы! Прибрать к рукам молодежь — значит прибрать и дело воспитания молодежи!

А Саиди словно поставил точку:

— Тут составление хрестоматии сыграет очень важную роль.

И оба, довольные друг-другом, согласно кивнули.

Вошла служанка и сообщила, что ужин готов. Домла, вставая, протянул Саиди вскрытое письмо.

— Какой-то ваш друг Эхсан. Видно, весьма неумный человек...

Саиди быстро пробежал письмо:

«Друг мой, Саиди!

Судьба этого моего письма для меня останется, вероятно, столь же неизвестной, как и судьба всех предыдущих писем. Не могу представить, в чьи руки они попадают! Я слышал, ты переменял место жительства. Только я не знаю, необходимость ли покинуть нашу келью заставила тебя переехать в другое место, или же необходимость переезда заставила покинуть ее. Лично для меня это не одно и то же. Если бы я знал, что это письмо вручат точно в твои руки, я бы непременно объяснил тебе, почему это для меня не одно и то же. Университет я окончил. Письмо это пишу из Крыма. Здесь пробуду месяца два и вернусь к тебе с дипломом. А ты меня встретишь, — уверен в этом! — несколькими вышедшими уже в свет своими книгами.

С постоянным уважением к тебе Эхсан».

Мурадходжа-домла вышел. Саиди снова прочел письмо. Теперь что-то в письме не понравилось ему. «Странно, —



подумал он. — «Не необходимость ли покинуть нашу келью заставила тебя переменить место жительства...» Да не все ли равно!»

За ужином Соловей-Соловушко с негодованием, вся пропитанная желчью, рассказывала о каком-то скандале, о том, кто был прав в нем, а кто неправ, о служанке, которая, несмотря на выговоры, снова поставила веник стоймя\*. Ее раздражающе-скрипучий голос, ее мерзкие речи превращали эти семейные обеды и ужины в отраву; сегодня же Саиди был вообще раздражен, да и только что полученное письмо грызло его.

После ужина он вновь и вновь перечитывал письмо и при каждом новом чтении обнаруживал в нем что-нибудь такое, что еще больше усиливало его раздражение. «К тебе я приеду с дипломом, а ты встретишь меня новыми своими книгами!» Что все это значит? Что он хочет этим сказать?

В первую минуту, услышав отзыв домлы об Эхсане: «Весьма неумный человек», Саиди ощутил обиду за друга, но повторил домла эти слова теперь, Саиди, пожалуй, согласился бы с ним.

Он прошел в спальню. Раздеваясь, он вдруг раздумал лечь, но не знал, чем бы заняться. Ему вздумалось было проехаться верхом, прогуляться, но оказалось, что лошадь отправлена в кишлак, и он снова пришел в ярость.

В дверях показалась голова домлы.

— Надо бы написать письмо Мухаммедраджабу...

Взяв восемь тысяч рублей с условием из восьми процентов роста, Мухаммедраджаб вот уже два месяца не высылал ни процентов, ни основных денег. Саиди несколько раз уже писал ему, но ответа все не было.

— Я не собираюсь больше писать ему!

Глаза домлы выкатились.

— Как не писать?! Ладно с процентами, пропади он с ними, пусть вернет хоть наши деньги...

— Нет, нет, мы и проценты с него получим. Только я сам съезжу к нему.

— Ну, вам видней...

Хлопнув в сердцах дверью, домла удалился тяжелыми шагами и скрылся в саду.

---

\* Веник стоймя — по примете: накликают беду.

Саиди долго простоял у ворот с велосипедом, рука на руле, нога на педали, готовый ехать, но сам не зная куда. На глаза навертывались слезы, тоска терзала его.

Наконец он выпрямился и, ведя велосипед рядом, перешел на другую сторону улицы, где помещалась распивочная. Подойдя к прилавку, он молча протянул деньги за кружку вина. Хозяин распивочной, прополоскав кружку, так же молча наполнил ее. Саиди залпом, словно его томила жажда, выпил. Никогда это не казалось ему таким приятным, как теперь; он снова протянул кружку и деньги. Он пил до тех пор, пока люди не стали казаться ему маленькими точечками, а самые сложные дела — легко выполнимыми. Затем он вышел на улицу, сел на велосипед и отправился за город, к источникам, к обычному месту загородных прогулок. Было очень жарко, но Саиди бешено мчался по дороге и довольно быстро выбрался за пределы городской черты. На мягкой от пыли пригородной дороге хорошо думалось. Собственные мысли казались Саиди важными и значительными.

«Нет,— думал он,— надо установить обязательный режим в жизни. На работу в редакции у меня уходит шесть часов в день. После работы, до начала лекций, надо спать. Лекции кончаются часов в девять, затем я могу уделять час или полтора переводам, а остальное время буду писать свою книгу. Если в день писать хотя бы по три-четыре часа — и то многое можно сделать. Особенно теперь, когда я знаю, как писать. Неужели за один присест не напишу рассказа? Или главу романа? Конечно, напишу... А Мухаммедраджаб, пожалуй, и проценты наши пустил в оборот. Вот нахал! Надо поехать к нему — тысячи две с половиной наверняка вырву! Когда для стройки дома нужны деньги, то мне ничего не стоит найти их! И вообще, дела у меня теперь в гору пошли. И всегда будут идти в гору...»

Хмель уносил его мысли все дальше. Он уже полностью отдался соблазнительным мечтам, как вдруг вздрогнул от резкого звука, похвжего на выстрел. Так и есть: лопнула задняя камера! В сумке ни резины, ни клея. А до источников далеко. Позади еще виднелся город. Ему вдруг показалось, что, проезжая мимо городских ворот, он видел там мастерскую по ремонту велосипедов. Вернуться

туда, быстренько залатать камеру и потом снова продолжать путь! У ворот мастерской не оказалось. В поисках ее он углубился в город, но велосипедных мастеров словно ветром сдуло. «К черту!» — разозлился Саиди, поворачивая к дому. Было трудно и утомительно идти пешком под знойным солнцем да еще с хмельной головой. К тому же он не имел ни малейшего желания возвращаться домой.

Саиди брел медленным шагом, ведя велосипед. Около стадиона ему показалось, что кто-то его окликнул. Остановившись, он поглядел назад, затем — на другую сторону улицы. Там стояла Мунисхон.

Саиди направился к ней.

— Ну, как поживаешь? Здоров ли ты? Отчего тебя не видно? — Мунисхон сыпала вопросами, не ожидая ответов. — Знаешь, я соскучилась по тебе, даже удивительно! Отчего ты так похудел? Ну как, дружно живешь с женой?

Саиди усмехнулся.

— Можешь судить по себе. Ты-то дружно живешь со своим мужем?

— Конечно!

— Правда? А я, представь, слышал иное!

— Ах, людские толки!

Оба медленно зашагали рядом. Мунисхон вдруг принялась рассказывать о своих делах; хвасталась своими знакомствами, называла известные имена, приводила примеры своего авторитета в разных вопросах и несколько раз упомянула о высоком положении жены ответственного работника.

Саиди слушал, саркастически скривив губы. Как непохоже было это все на розовую жемчужину Мунисхон...

— Недавно я ездила в центр, — продолжала она, — со многими комиссарами там перезнакомилась. Подумай, все они меня зовут «дочкой»! А я их, конечно, «отцами». А один из этих самых «отцов», будь он не ладен, говорит мне: «Выходи-ка за меня замуж!» Я — ему: «Как вам не стыдно! А еще отец!» С тех пор, как он мне это сказал, я вообще перестала с ним разговаривать...

Саиди все с большим изумлением приглядывался к женщине. Нет, эта была не та Мунисхон, не та прежняя, сводившая его с ума. Глаза ее, от которых когда-то нельзя было оторвать взгляда, теперь потускнели, белки покрылись красными прожилками, как у пьяницы, и даже слегка

слезятся. Но самое отвратительное то, как Муниسخон смотрит на мужчин. «Ну, чего же тебе надо? — казалось говорят ее взоры. — Разве ты не хочешь?..»

Сердцем Саиди все еще помнил прежнюю Муниسخон, а не ту, что сейчас шла рядом с ним. И, воскрешая ее в памяти, он вспоминал собственную прежнюю жизнь, такую простую, ясную и чистую. Правда, в студенческую пору Саиди тоже не был доволен своею жизнью; ему чудилось, что факультет и комсомольская ячейка не дают ему покоя; жил он тогда в бедности, никто его не знал, и веса он никакого не имел. Все это огорчало его. Но теперь, когда он сопоставлял свою теперешнюю жизнь с тогдашней, казалось, будто старик, изведавший все и разочаровавшийся во всем, на склоне лет вспоминает свою юность. Его обожгло это странное ощущение безвременной старости. Ведь он же только-только вступил в жизнь! Неужели пора уходить из нее?..

Муниسخон, прощаясь, протянула ему руку. Саиди долго не выпускал ее из своих ладоней.

— Мунис, походи еще немного, прошу тебя...

— Нет, нет, меня уже разыскивает, наверно, один очень влиятельный человек. Надо позвонить к нему и узнать, что там случилось. Встретимся в другой раз. А теперь ты откуда?

— Да вот от нечего делать собрался было к источникам, но лопнула камера. Инструмента нет, а мастера не нашел.

Она помолчала.

— Если ты сам сумеешь исправить, то инструмент я тебе найду. Идем, дойдем до начала вон того переулка...

В переулке Муниسخон провела Саиди через ворота и, подойдя к двери налево, вложила ключ в замок.

Тесная комнатка была похожа на прежнюю комнатку Саиди, только с еще более низким потолком и с цементным полом. Окно с одинарной рамой было завешено старой пожелтевшей газетой. Железная кровать, небольшой столик, стоявший у изголовья, и две табуретки под ним составляли всю меблировку комнаты. Чья она? Саиди не мог себе представить. Было похоже на то, что с кровати только что поднялись; одеяло и подушка брошены в беспорядке, белая простыня скомкана в ногах. Прислонив велосипед к стене, Саиди присел на табуретку, выдвинутую Муниسخон из-под стола. Заправив кровать одеялом и

простыней, Мунисхон вышла и через минуту вернулась.

— Сейчас принесут инструменты,— сказала она, за чем-то запирая дверь на крючок.— В комнате ужасно жарко, сбрось пиджак.

Пиджак надо было скинуть не только потому, что в комнате было жарко, но и потому, что предстояло чинить велосипед. Прежде чем Саиди успел встать, чтобы снять рубашку, Мунисхон быстрым, привычным движением стянула с себя платье, словно перед ней сидел ребенок или собственный муж. Саиди замедлил, у него екнуло сердце. Так уже бывало с ним раза два: один раз — давно это было!— когда они вместе готовились к лекциям и он подержал ее руку в своей, а другой раз, когда он невзначай увидел сквозь вырез ворота ее тело. Теперь, деловито повесив платье на спинку кровати, Мунисхон села, расплетая косы. Волосы у нее были хорошие. Саиди все еще стоял, не зная что делать.

— Ну же, раздевайся, отчего не раздеваешься?— сказала Мунисхон смеясь и с притворной стыдливостью прикрывая груди распущенными волосами.

Саиди вдруг охладел. Не было больше чуда, не было жемчужины Мунисхон! Перед ним сидела обыкновенная женщина с самым обыкновенным телом. Кровь, за минуту до этого кипевшая и бурлившая, теперь успокоилась, страсть погасла. Спокойно и чуть брезгливо поглядывал он на эту чужую, не понимающую зова сердца женщину.

Сейчас можно и рубашку снять. Он сделал это и снова уселся на свое место, на табуретке. Положив обе руки на стол, Мунисхон выжидающе смотрела на него.

— Жены боишься?

Саиди не ответил.

— Вино будешь пить?

Саиди снова не ответил. После долгого молчания, он наконец обернулся к ней, собираясь что-то сказать, а она опять прикрыла грудь волосами и, подумав, что Саиди идет к ней, приготовилась изображать бегство от него. Так и не сказав ничего, Саиди опустил глаза. Все эти заученные движения Мунисхон, все ее грубое поведение заставили бы любого мужчину задуматься не о нападении, но только о самообороне...

Следуя своим мыслям, Саиди оглянулся на дверь Мунисхон встала, подошла к нему со спины и обеими

руками запрокинула его голову назад. Крепко прижимая эту плененную голову к своей обнаженной груди, Мунисхон медленно и напряженно склоняла лицо к лицу Саиди, ожидая его поцелуя. Но Саиди резко, почти грубо вырвался из ее горячих рук. Все еще не вставая с табуретки, разозленный донельзя, он сильно встряхнул ее обвисшее тело, да так неловко, что Мунисхон очутилась у него на коленях. Сколько раз когда-то мечтал он о такой минуте, и как далеко сейчас это было от объятий мужчины, полного сил и страсти. А у нее, очевидно, еще теплилась какая-то надежда, и только сейчас поняв, как далек, как холоден и равнодушен Саиди, Мунисхон оскорбилась. Вскочив с колен Саиди, комкая свои распущенные волосы, она отступила и закричала пронзительным, высоким голосом:

— Чем я хуже твоей проклятой жены, этой уродливой бабы?

Ее трясло, как в припадке. Темный гнев овладел женщиной, и сила его была так велика, что Саиди испугался. Он попытался удержать зашатавшуюся Мунисхон, но не успел: она кинулась на кровать и забилась в рыданиях.

— Мунисхон, — тихо проговорил Саиди. — Мунисхон.

Мунисхон живо поднялась и, снова усевшись, утирая залитое слезами лицо, прокричала охрипшим, низким голосом:

— Ты не стоишь и волоска тех юношей, которые мечтают хотя бы только пожать мою руку! Чем ты кичишься? Красотой своей? Не воображай, пожалуйста! Ты похож на кость, тысячу раз обглоданную собакой. Или своим писательством кичишься? Что же у тебя есть?

Саиди хотел во что бы то ни стало успокоить Мунисхон. Он торопливо ответил:

— Ничего у меня нет...

— Нет, ты ответь, какие ты книги написал? Где они?

— Хватит! — рявкнул Саиди, измученный всей сценой.

Но Мунисхон не унималась.

— А ну, скажи мне, что ты создал, если ты писатель?!

— Ничего я не создал, Мунисхон...

Это признание Саиди выговорил с чувством глубочайшей обиды, чуть не со слезами на глазах, но не прошло и минуты, как обида переросла в ярость. Мунисхон вскинула голову, собираясь еще что-то сказать, но тишайший Саиди, внезапно развернувшись, ударил ее по лицу всей пятерней. Мунисхон свалилась с кровати. Не глядя на нее, Саиди повернулся и, ведя свой велосипед, вышел из комнаты.

В начале августа дом был закончен, но Саиди все еще не обрел того спокойствия, какое ему было необходимо, чтобы засесть за работу. Уверовав в то, что он действительно унаследует Мурадходже-домле, Саиди начал испытывать повышенный интерес решительно ко всему на строительстве. Его волновали теперь такие пустяки, как царапины на дереве, как намокший под дождем забор. О чем бы ни заходила речь, он чувствовал себя хозяином. В городе начинался острый жилищный кризис, и то, что Мурадходжа-домла в таких условиях выстроил новый дом при достаточно просторном старом, не могло не вызвать разговоров. Саиди в душе понимал это и очень тревожился. Словом, куда ни глянь — спокойствия не было!

А кроме всего в хозяйстве, по словам домлы, не осталось никаких денег. Мухаммедраджаб оказался дельцом наглым и бесчестным и заставил Саиди сто раз покраснеть перед домлой. Из полученных у них восьми тысяч он вернул им только основную сумму, и то после долгих напоминаний. Саиди же не осмелился действовать черсчур решительно, понимая, что если между ним и Мухаммедраджабом произойдет окончательная ссора, то сестра его, которая начала слепнуть на оба глаза, останется соломенной вдовой.

В мошенничестве Мухаммедраджаба Саиди не был, конечно, заинтересован, и даже наоборот, сам потерпел убытки; домла отлично знал это. И тем не менее в доме постоянно раздавались попреки домлы, звучавшие на один мотив: «Ах, подлец этот Мухаммедраджаб! Так и слопал наши барыши! А кто, собственно, этот Мухаммедраджаб? Зять Саиди; ему он ближе». И теща, и даже Сорахон с удовольствием передавали Саиди все эти разговоры. Закрыть рты женщинам можно было только одним способом — зарабатывая и зарабатывая деньги. Саиди работал днем и ночью, хватаясь за случайные заработки, тратя нервы на мелочи и не оставляя себе ни минуты отдыха. Итак, заботы об имуществе, о возможных убытках — с одной стороны, заботы о том, как бы побольше урвать денег — с другой, заставили Саиди очень скоро позабыть о своей мечте: засесть основательно за работу, как только дом будет завершен.

Денег! Денег! Денег! Если Саиди заработал рубль,

семья требовала от него десять; заработай Саиди десять, вся семья стонала от безденежья.

В конце месяца, как обычно, Саиди принес зарплату и вручил ее Сорахон. Сорахон молча унесла деньги, но вскоре вернулась, бледная и негодующая.

— Почему так мало?— спросила она, швыряя скомканные деньги на стол.

— Как мало? Вчера я подсчитал, сколько мне причитается, и ты не возражала, кажется?

— Но ведь тут не хватает восьми рублей!

Саиди не ответил. Уже стоя у дверей, Сорахон заговорила тем скрипучим, надоедливым голосом, которым она обычно приступала к семейным сценам.

— Много ли хорошего увидела я, выйдя за вас замуж! Даже приличного платья нет! Девушки, вышедшие замуж в одно время со мной, уже износили по четыре пары лаковых туфель. Конечно, это семьи, где мужья любят своих жен...

Сорахон решительно вернулась от двери и, усевшись спиной к Саиди на стул у окна, начала плакать. И конечно тут же вошла мать Сорахон с чайником в руках. Еще в ту минуту, когда она показалась в дверях, у Саиди екнуло сердце: «О боже мой! Не хватало еще, чтобы эта мумия застала дочь в слезах!» Собрав все душевные силы, он постарался улыбнуться Соловью-Соловушке. Ополаскивая пиалушки, Соловей-Соловушко посмотрела на дочь.

— Ну, что еще случилось? Да не плачь, если бы можно было плачем наладить свою жизнь, то давно наладилась бы.

На сердце у Саиди накалило. Больше всего ему хотелось уйти в кабинет и тем самым избавиться от назревающего скандала, но он знал, что посмей он только подняться, как у тещи произойдет новое разлитие желчи. Соловей-Соловушко беспрестанно громко глотала чай, и звук каждого ее глотка тягостно отзывался в сердце Саиди.

С трудом допив пиалу чая, Саиди ушел в свой кабинет и, плотно прикрыв дверь, уселся за стол. А в соседней комнате Соловей-Соловушко во весь голос, чтоб ему было слышно, жалела свою дочь:

— Да, милая моя, не так-то легко содержать жену! Что ты увидела замужем? Да ничего! Хоть бы разок созвала своих подружек! И разве этого я ожидала от твоего



замужества? Поди-ка зайди к своим сверстницам, так рот разинешь: и часы-то золотые у них, и браслеты золотые, да не по одной паре!.. А на заработки твоего мужа можно купить только четырех захудалых баранов!..

Сколько ни старался Саиди отвлечься другими мыслями, это ему не удавалось: нудный голос Соловья-Соловухи назойливо лез в уши.

Во всех затруднительных случаях жизни Мурадходжадомла придерживался правила: «Моя хата с краю — ничего не знаю!» Именно поэтому он притворялся, что ничего не подозревает о размолвке в семье. Между тем Саиди был уверен, что домла действительно ничего не знает об этом. «Если бы знал, непременно вмешался бы и отругал проклятое бабье!» Но заговорить об этом первым Саиди считал неприличным для мужчины.

Приходилось трудиться днями и ночами, приходилось брать любую работу, не гнушаться ничем, лишь бы не слышать упреков: «Вот, мол, жениться-то женился, а содержать жену не в состоянии». Днем — редакция газеты, по вечерам — лекции на курсах, а в оставшееся время — переводы заявлений и тексты каких-то вывесок! Собственно говоря, переводы он считал временным занятием, до завершения строительства дома, но они незаметно для него самого превратились в занятие постоянное, и казалось, прекрати он их — перед семьей встанет угроза голода. Он был настолько погружен в эту работу, так много времени она занимала, что не то чтобы писать свою книгу, даже задуматься над тем, когда же все это кончится, — было некогда! Раньше работа приносила ему приятную усталость. В последнее время он стал замечать, что как бы ни уставал, как бы поздно ни ложился — вместо благодетельного сна приходит сухая бессонница; в ушах появился гул, голова постоянно тяжелая и словно разламывается надвое.

Единственным досугом стали для него часы бессонницы; но все его размышления сводились к одному: жить он не умеет!

К концу августа все краткосрочные курсы стали закрываться, и с половины сентября Саиди остался без чрезмерной нагрузки, если не считать постоянной работы в двух местах и переводов. Одна постоянная работа у него была в редакции газет, а другая — на курсах, где он бывал занят два часа ежедневно. Возвращаясь

из редакции, Саиди стал каждый день после обеда час-другой отдавать отдыху. Соловей-Соловушка немедленно и точно подсчитала, во сколько обходится этот отдых Саиди ежемесячно, и, стуча сухим пальцем по лбу дочери, принялась ее отчитывать:

— Ну что глаза вылупила?!.. До каких пор я должна следить за твоим муженьком? Твой муж, ты и следи!.. Раззява! Несчастливая!

— Да что он делает-то?— спросила Сорахон протяжно.

— Жена на то и жена, чтобы с мужа глаз не спускать. Вот я — теща, и то который раз замечаю, как твой Саиди заглядывается на молоденьких девушек и женщин. Со мной, с тобой — всегда мрачный. А стоит какой-нибудь девице появиться — он уже тут как тут, улыбается, глаза пялит. Как-то невестка Айпоши ходила по крыше. При мне он постыдился глазеть на нее, так вынес из комнаты зеркало и давай будто бы зубы чистить, а сам все вверх поглядывает! Я ушла в комнату и гляжу из окна, что-то будет. Вдруг вижу, поднимает он с земли комочек грязи и кидает его на крышу. И та тоже хороша, греховодница: глазки ему строит! Чем же ты хуже нее? Он теперь день-деньской дома! Разве мало работы? Захоти он работать, так нашлась бы!

Сорахон, подогреваемая матерью, не дала себе труда хотя бы подумать: «Вон какие дела, оказывается, происходят! Где же я-то была? Я же была дома!»— она просто взорвалась.

— Я сама все знаю!— прокричала она со слезами и бросилась к Саиди. Саиди лежал на супе возле дома и читал газету.

Разговора тещи с женой он не слышал и потому был далек от их забот и огорчений. Прочитав собственную статью, написанную полтора года назад, он удивлялся тому, каким острым было его перо! Но увидев дрожащую от злости Сорахон, он не на шутку перепугался. Было несомненно, что такое состояние Сорахон непременно вызовет пение Соловья-Соловушки подобно тому, как после вспышки молнии неминуемо следует гром. Спасаясь от грома, Саиди быстро поднялся, надеясь скрыться в своем рабочем кабинете.

— На меня уже и смотреть не хотите, да?— закричала Сорахон, неотступно следуя за ним..

— О чем речь?— сдержанно спросил Саиди.— Ты объясни сначала, и если я виноват, то готов извиниться. К чему ты расстраиваешься, убиваешься? Быть может, пустяки какие-нибудь...

Тонкие губы Сорахон задергались.

— С одной-то женой справиться не можете, так вам захотелось и другую...

На лице Саиди появилась нервическая улыбка.

— Ну, к кому же я заслал сватов?

— Ко всем! К греховоднице Холнисе! Всегда-то вы торчите дома, нос на улицу не кажете. Да разве мало работы найдется для вас?

— А кто такая эта Холниса?

Сорахон бросилась на диван и заплакала навзрыд. Было ясно, что эти слезы—только преддверие очередной сцены. Саиди стал просить, умолять.

— Сорахон, ты мне объясни толком... Сорахон... Ладно, говори, что хочешь, только сначала растолкуй, в чем дело...

Вошла Соловей-Соловушко с чайником чая в руках. Саиди, увидев ее, окаменел.

— Ну, поговорили с женой?— спросила Соловей-Соловушко, ставя чайник на стол.— Порадовали бедняжечку?

— Хотел бы я знать, что случилось?— ответил Саиди, стараясь улыбнуться.

— Ах, оставьте, Рахимджан, лучше молчали бы! За что бог наказал нас, не понимаю! С тех пор, как дочь моя вышла за вас, белого света не видит... Если есть на душе у вас что, так бы и сказали...

И запела, и залилась Соловей-Соловушко. От обид дочери перешла к упрекам, что не знает Саиди заботы о семье, затем завела старую песню о Мухаммедраджабе, присвоившем проценты...

— Сестрица ваша, наверно, думает, что ее братец содержит тещу и тестя!.. А не знает того, что...

Саиди молчал. Он испытывал странное чувство, будто по всему телу разливается нечто жгучее, как отравы, и, приводя в содрогание все его существо, подбирается к голове. А Соловей-Соловушко все не умолкала. Саиди подошел к письменному столу и, усаживаясь, почувствовал вдруг, что мускулы на его лице напряглись до одеревенения. Не сдерживаясь больше, он заорал:

— Хватит! Я такой, какой есть, и — все!..

Ему показалось, что свой собственный голос он слышит издалека. Но Соловей-Соловушко не поняла, что вывела зятя из терпения.

— До сих пор я все старалась для вас, сил своих не жалея, и одежду для вас справляла. Теперь нет у меня сил больше. Вместо того, чтобы запастись новым, дочь прикончила накопленное отцом и матерью...

Саиди уже не мог выговорить ни слова, у него только кривились губы. А Соловей-Соловушко тянула свое:

— Что, не кормила я вас? Не справляла вам нарядов? Ох-хо-хо-о! Вы забыли, наверное, что когда пришли к нам в дом, то свои стоптанные ботинки подвязывали проволокой...

Не помня себя, Саиди поднялся и со всею силой грохнул кулаком по столу. Стекло, лежавшее на столе, разлетелось вдребезги, осколки его вонзились в кисть и пальцы Саиди. Сам он в изнеможении упал сначала в кресло, но, не удержавшись, соскользнул на пол. Теперь ему было холодно, как зимой в снегу, на лбу выступил холодный пот, он бился в конвульсиях, и сквозь намертво стиснутые зубы выступила белая пена. Сперва она стояла, как туго сбитые сливки, потом постепенно, опадая, соединилась с кровью на руке и пальцах и розовой струйкой потекла по недавно выкрашенному блестящему полу. Увидев Саиди в таком состоянии, теща отчаянно завизжала и опрометью кинулась вон из его комнаты. В дверях она столкнулась с Мурадходжой-домлой и упала. Сорахон выскочила, перепрыгнув через нее. Домла топтался возле двери, словно человек, только что разбуженный, но в комнату не входил: он был еще больший трус, чем его жена. Прибежавшая вслед за ним прислужница Тупа первая заглянула в комнату и, наклонившись к Саиди, прежде всего расстегнула ему ворот. Не теряясь, она сбегала за водой, побрызгала в лицо Саиди и принялась обмахивать его подолом своего платья, но Саиди все не приходил в себя.

Не решаясь войти в кабинет зятя, домла опустился на пороге. От страха его охватила неодолимая дрожь, он громко стучал зубами. Соловей-Соловушко, присев возле домлы, начала шептать молитвы и заклинания. В это время вернулась громко плачущая Сорахон и, как курица, потерявшая своего цыпленка, начала беспокойно

кружиться возле кабинета. Увидев, что Саиди все ещё не открыл глаз, Сорахон пришла в ярость и завопила не своим голосом:

— У-у, чтоб ты подохла, проклятая!.. Пусть только умрет он... пусть только умрет... Я тебя убью, сама, своими руками... Ни одного дня не стану жить в этом доме, уйду!.. Вайдод!..\*

Нельзя было вести себя глупее, чем Сорахон. Одна лишь прислужница делала что-то полезное для Саиди. Она осторожно и медленно выбрала из кисти и пальцев Саиди осколки стекла, обмыла ему руку и начала снова обмахивать его. Уже давно лежал он не на полу, а на диване. Наконец Саиди открыл глаза и попросил воды. Убедившись в том, что зять приходит в себя, домла торжественно появился в его кабинете, чтобы всячески засвидетельствовать ему свое сочувствие, дав при этом жене две звонкие затрещины.

#### XIV

После этой истории Соловей-Соловушка стала несколько придерживать язык, да и реже попадалась на глаза Саиди.

Как-то Саиди вернулся с работы радостно оживленный. Рассказ, посланный им в один из журналов месяцев шесть назад, теперь был напечатан, снабжен хорошими иллюстрациями. Дома его ожидала новая радость: кабинет, свой рабочий кабинет, который он мечтал оборудовать в далеком и прекрасном дворце в долине, родился до срока и отныне существовал в правом крыле нового особняка. Мурадходжа-домла поспешил до возвращения зятя с работы перенести все его вещи сюда и убрать комнату многими драгоценными украшениями, взятыми из его собственного кабинета.

Старый же рабочий кабинет Саиди заняла Сорахон, решив устроить себе там не то гостиную, не то будуар. При появлении Саиди Сорахон, ползавшая по ковру на четвереньках, вскочила и повисла на шее мужа.

— Скажите, только быстро: жива она или мертва?— спросила она, показывая на муху, лежавшую на белой простыне, разостланной поверх ковра.

Бросив номер журнала на курпача, Саиди сел и по-

---

\* В а й д о д — спасите, караул.

трогал пальцем лежавшую муху. Муха была жива, но оглушена.

— Жива!

— А почему жива?

— Потому что она шевелится,— ответил Саиди, вытирая платком пот с лица и шеи.

Сорахон заливисто засмеялась, потом, словно увидев что-то чрезвычайно интересное, она уставилась на макушку Саиди и медленно стала поднимать руку.

— Не шевелитесь, не шевелитесь!.. Да какая жирная, какая хорошая...

Удивленный Саиди сидел не шелохнувшись. Поймав муху в горсть, Сорахон полнесла свой кулячок к уху мужа.

— Вот, слышите?

— Слышу... И что же?

— А вот сейчас увидите... Нет, стойте... Сначала ответьте: если этой твари оторвать голову, будет она жить?

— Умрет, конечно.

— Будет она летать, ползать?

Саиди засмеялся.

— И летать не будет и ползать...

— Нет, будет летать. Давайте поспорим! На что?

— Ну, ладно.

— Если проиграете вы, то купите мне отрез ханатласа на платье. Если проиграю я, то... я согласна на все!

Сорахон осторожно извлекла из горсти муху, ухватила за ее крылья и, маленькими ножничками отрезав ей голову, выпустила на волю. Муха поднялась, облетела комнату и упала на подоконник. Сорахон, неотрывно глядевшая на нее, подошла к подоконнику, взяла муху в руки и снова подбросила вверх. Муха снова полетела.

— Вот, видели теперь?— сказала Сорахон с восторгом.

Саиди согласился, что проиграл и купит отрез ханатласа на платье. Затем, облокотившись на подушку, он начал перелистывать журнал. Ему хотелось показать Сорахон напечатанный рассказ и поделиться с ней своей радостью, но жена все еще была увлечена мухами. Спустя полчаса муха уже лежала без движения. Когда Сорахон подошла к тарелке, нарочно вымазанной медом для ловли мух, Саиди подозвал ее.

— Вот погляди-ка сюда!— сказал он, показав ей страницу журнала с иллюстрациями.

Сорахон взяла журнал в руки и долго разглядывала рисунки.

— А что это?

— Мой рассказ.

— А сколько заплатят за него?

У Саиди моментально погасла радость, хотя ничего иного от Сорахон нельзя было и ждать. Он снова откинулся на подушку.

Пришел Мурадходжа-домла, весело потирая руки и торжествующе улыбаясь Саиди.

— Видели?— спросил он, усаживаясь рядом с ним.— Теперь нам остались ерундовые доделки... А? Что вы на это скажете, Рахимджан?

Сорахон осталась стоять у окна, держа только что пойманную муху в закрытой ладони и глядя на отца недовольными глазами: «Принесло его, черта, именно в эту минуту!..»

— А эту комнату надо выбелить да выкрасить полы,— сказал домла, оглядываясь вокруг.

Он отвернул угол ковра, чтобы посмотреть на пол, но, увидев на ковре несчетное количество убитых мух, разгневался.

— Что это... Отравы, что ли, насыпали тут?

Рассеянный взгляд Саиди скользил мимо мух, убитых и лежащих по всему полу. И наоборот, куда бы ни смотрел домла, он видел только мух, задравших кверху лапки.

Сорахон вышла и унесла тарелку, намазанную медом.

Оторвавшись, наконец, от созерцания стен и полов комнаты, домла увидел журнал, лежащий на ковре, и взял его в руки.

— Ваш новый рассказ, что ли?

— Как же, новый!... Откуда новый? Чуть не полгода лежал в редакции, только теперь напечатали.

Домла просмотрел рисунки к рассказу, затем, прочитав несколько фраз из середины рассказа, строго указал на погрешности в языке:

— Вы пишете: «Она нуждалась даже в платье из чита». «Чит» — это искаженное русское слово «ситец». Вообще вся фраза звучит по-русски. Надо всегда стремиться использовать свои коренные слова, надо все подобные слова заменять своими. В своей книге, которую я теперь пишу, я доказываю справедливость этого требования. У русских

все ткани имеют свои названия: ситец, сатин, маркизет. Но и у нас имеются свои, коренные названия: буз, дуда, бекасам, шохи...

Домла пригласил Саиди в новый его рабочий кабинет.

Из широкого распахнутого настежь окна были видны цементированный бассейн, цветники вокруг него и весь сад; в комнату долетал мягкий и нежный вечерний ветерок; опустившись на диван, домла с улыбкой глядел на Саиди, сидевшего в кресле напротив.

— Ну как, хорошо? — спросил он, взмахом руки показывая всю комнату, ее богатое убранство и вид, открывавшийся из окна.

Саиди онемел от восторга.

— Я всегда мечтал о рабочем кабинете, — сияя влажными глазами, — признался он. — Но даже в мечтах мой кабинет никогда не бывал таким великолепным!

Домла, удовлетворенный этой откровенной радостью, положил руку на колено зятя.

— Человек рождается только раз, мой Рахимджан! И если, родившись, человек не будет заботиться о своем благе и не увидит этих благ, то стоит ли жить на этом свете?

И домла принялся развивать свою мысль. Выходило, что между работой содержателя ресторана и деятельностью литератора, между маклерством и искусством резчика не существует никакой разницы. Все эти профессии созданы и развиваются ради того только, чтобы люди прожили свою короткую жизнь, наслаждаясь всеми мыслимыми благами.

Все это было только предисловием домлы к настоящему деловому разговору. Не далее, как вчера они рассуждали с Саиди о мелочах в хозяйстве, о комфорте, о необходимости жить в свое удовольствие, не отказывая себе ни в чем. Нынче домла собирался раскрыть Саиди секрет добывания денег в больших масштабах. Достав из кармана лист бумаги, он протянул его Саиди. На листе были написаны два объявления.

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

Принимаю всевозможные заказы на перевод с русского языка на узбекский и с узбекского на русский. Заказы будут выполняться срочно, цены умеренные. Прием от 3-х ч. дня до 10-ти вечера. Адрес: махалля Пояки, дом 13.



## ОБЪЯВЛЕНИЕ

Преподаю для русских узбекский язык, для узбеков русский. Готовлю для школ взрослых по предметам: родной язык, арифметика, землеведение и естествознание. Обращаться по адресу: махалля Пояки, дом 13.

Прочитав эти объявления, Саиди густо покраснел. Домла внимательно наблюдал за ним. После небольшой паузы Саиди спросил:

— А удобно ли это будет, дорогой домла?

— Что же тут неудобного, Рахимджан? Ведь имени мы не указываем!

Саиди, глубоко задумавшись, не ответил. Домла был нетерпелив от природы. Он не удержался:

— Чего так задумываться? Или и адрес указать другой?

Было похоже, что долгое раздумье привело Саиди к твердому решению. Тряхнув головой, он сказал:

— Ладно, домла, ладно. Оставьте все как есть. Не имеет значения.

Домла хотел ответить, но не успел: где-то вдали слышался отчаянный крик Сорахон. Саиди вскочил и побежал на голос жены. За ним вышел и домла. С громким криком, словно вырвавшаяся на свободу сумасшедшая, им навстречу, не разбирая дороги, прямо по цветочным клумбам бежала Сорахон. Она упала на цветы раньше, чем Саиди успел подхватить ее. Саиди поднял ее на руки. Лицо Сорахон оставалось по-прежнему мертвенно-бледным, она повторяло одно слово: «Тупа, Тупа». Приковыляли домла и Соловей-Соловушко. Увидев на подоле платья дочери пятна крови, Соловушко вскрикнула, готовясь разразиться отчаянным воплем, но оказалось, что, падая, Сорахон укололась о свои маленькие ножницы, которыми играла при ловле мух. Саиди внес жену в комнату и положил на диван, домла брызнул в лицо дочери водой; Соловей-Соловушко подожгла шерстяную тряпку и тлеющей дымной частью начала размахивать во все стороны, выгоняя злых духов. Все это вместе взятое считалось испытанным методом для приведения молодой женщины в чувство.

— Как вы могли не уследить за нею? А еще муж!.. — всхлипывая, ворчала теща.

Мурадходжа-домла гладил дочь по голове.

— Доченька моя, Сорахон, — хрипло шептал он, — открой же глазки... Открой, дочка, открой... Расскажи нам, что с тобою?

Прошло немало времени, прежде чем Сорахон вяла мольбой родителей и, открыв на мгновение глаза, произнесла только одно слово: «Тупа».

Тупа, прислужница, считалась последним человеком в доме, и Соловей-Соловушко пришла в дикую ярость, что ее Сорахон страдает из-за «такого ничтожества».

— Да пропади она пропадом, эта дохлятина! — мешая проклятия с причитаниями, голосила старуха. — Пусть шакалы ночуют на ее могиле...

Но все-таки следовало узнать, что испугало Сорахон. Продолжая причитать сквозь зубы, Соловей-Соловушко вышла из комнаты и направилась к берегу большого арыка, где Тупа стирала белье. Через минуту оттуда раздался ее непривычно мягкий голос, зовущий зятя.

— Рахимджан, Рахимджан, сыночек, сходили бы вы лучше сами. Все-таки вы мужчина, хозяин дома...

Саиди выбежал и поспешил в сторону, куда указала старуха.

Притихшая Соловей-Соловушко вернулась в комнату и молча уселась возле Сорахон. Сорахон раскрыла глаза, посмотрела сначала на отца, потом на мать.

— Что с тобой случилось, дочь моя? — величественно спросил Мурадходжа-домла, глядя ее своей жирной ладонью по лбу.

— Отец, Тупа там лежит... мертвая... Я так испугалась! Она совсем мертвая, отец!

Соловей-Соловушко поднесла ей воды.

— Ах дурочка ты моя! Ну для чего было бегать в ту сторону? Пусть бы себе лежала! — сказал домла и, встав, отправился вслед за Саиди.

В дальнем углу сада из-под громадной чинары ветер медленно, словно нехотя, разносил сизоватый дым: там, на берегу широкого арыка, был установлен котел для кипячения воды. Шагах в двадцати от котла, возле корыта и корзины, полной уже выстиранного белья, навзничь лежала Тупа. Ее иссохшие и сморщенные губы почернели, как у человека, истомленного сильной лихорадкой; рябое лицо пожелтело. Горячие руки ее, покрытые мозолями мирно лежали вдоль тела.

Саиди легонько толкнул ногой ее руку и пристально уставился на впалую грудь старухи. Грудь слабо приподнималась и опускалась. Тупа чуть заметно дышала. Саиди решил было уже вернуться, но вдруг услышал голос домлы.

— Жива, оказывается? Побрызгайте на нее водой! Дайте понюхать ей наса!\* Я велю Остоне, он принесет наса.

Придя в ташкари, домла попросил у Остонакула наса. Наса у Остоны не оказалось, он собрался было выбежать за ним на улицу, но домла остановил его и, вынеся из дома объявления, которые показывал Саиди, отдал слуге, наказав попутно расклеить их на дверях почты, аптеки, бани и по другим местам.

В выдолбленной тыкве Саиди принес из арыка воды и, стараясь держаться как можно дальше от Тупы, стал брызгать водой ей в лицо. Тупа медленно подняла веки.

— Ну, что случилось?— спросил Саиди.— У вас что, припадки эпилепсии бывают?

— Нет, мой бек,— едва слышно проговорила Тупа,— я ничем не больна... Это все госпожа... безжалостны они... Со вчерашнего полдня маковой росинки не было во рту... Воды... воды.

Тупа, закрыв глаза, снова попросила воды. Держа тыкву в руках, Саиди приблизился к ней.

— Откройте рот...

Было похоже, что и в самом деле, открой только Тупа рот — Саиди начнет ей лить воду из тыквы прямо в горло. Увидев сквозь ресницы стоявшего Саиди и протянутую руку с выдолбленной тыквой, Тупа широко раскрыла глаза.

— Мой бек, не больна я, не брезгуйте мной... Не гнушалась же я, когда вы упали, потеряв память, и пена была из вашего рта... Верьте мне, не больна я! Только силы иссякли, оттого и худо мне стало...

Тупа опять прикрыла глаза, слабость одолевала ее. Слезы, показавшиеся из-под сомкнутых ресниц, побежали по лицу и, дойдя до верхней губы, слились с выступившими капельками пота.

Саиди, оставив тыкву, удалился. По дороге встретил Соловья-Соловушку.

---

\* Н а с (н а с в а й) — особый вид табака. Его кладут под язык.

— Ну, что там?

Саиди засмеялся.

— Говорит, что проголодалась!

— У-у, чтоб ей лопнуть!

— Нет ли молока?

— Было, да я уже заквасила.

— Ничего, пошлите с Остонакулом пиалу молока, живо поправится.

— Нельзя, Рахимджан, вы мужчина, вы не понимаете: простокваша испортится! Все молоко затворожится!

— Ну, тогда я не знаю... Пошлите ей лепешки, — сказал Саиди, поднимаясь на айван.

Спустя час Остонакул, взяв под мышку лепешку, быстрым шагом направился к берегу арыка.

## XV

В одну из пятниц Аббасхон, пробыв целый день в гостях у Мурадходжи-домлы, вечером почти насильно увел Саиди в театр. Давали новую музыкальную драму, публики было много. Трехрублевые билеты перекупщики продавали по восемь рублей.

В антракте Аббасхон встретил приятеля и разговорился с ним. Саиди отошел в сторону, но в одиночестве пробыл недолго: к нему подошел Салимхон, и они вместе отправились прогуливаться по фойе. Внезапно, со странным чувством беды и тревоги, Саиди увидел Эхсана, идущего навстречу ему с группой молодежи. Саиди оторопел, как женщина, застигнутая с любовником; он не забыл рассказа Эхсана о его московских встречах с Салимхоном и того, что Эхсан отзывался о Салимхоне очень плохо. «Что подумает обо мне Эхсан, увидев нас вместе?» — испуганно спрашивал себя Саиди и тут же по-детски пытался успокоиться: «Да он, наверно, уже давно позабыл эти встречи, а я все трушу...»

Увидев Саиди, Эхсан быстро отошел от своих товарищей и широким шагом направился к старому другу. Саиди мог бы разглядеть радостную улыбку Эхсана, но он уже ничего не видел. Новый страх, почти необъяснимый, природы которого, казалось бы, он и сам не знал, начал угнетать его; ему вдруг почудилось, что на него валится громадный тополь; еще минута — и это дерево придавит

его, раскроит ему череп. Впервые он испытывал такой ужас. А между тем Эхсан был уже рядом. Растерянный, бледный Саиди ничего не смог выговорить, кроме пустых слов: «Давно приехал?»

Эхсан не ответил, здороваясь с Салимхоном. Значит, не забыты споры, которые произошли между ними еще в Москве? Неизвестно, до чего дошло бы нервное состояние, охватившее Саиди, но, к счастью, раздался третий звонок, и холод встречи не был подчеркнут никем.

До того, как в зале погас свет, Эхсан несколько раз оборачивался со своего места, взглядом ища Саиди, и что-то оживленно рассказывал новым друзьям, сидевшим с ним рядом.

Аббасхона и приятеля его все еще не было. Салимхон появился лишь тогда, когда в зале стало темно и поднялся занавес.

— Где тут место Аббаса? Вот это?

— Да, это, это! А где же сам он?

— Ушел куда-то. Сказал, что вернется к следующему акту.

Началось действие. Тревога мешала Саиди наслаждаться музыкой. Салимхон шепотом спросил:

— Вы хорошо знакомы с тем молодым человеком?

— Да, знаю его.

На сцене душераздирающая трагедия. Откуда-то из глубины зала послышалось женское «ох!», там поднялась какая-то возня, приглушенный шум. Затем раскрылась дверь и снова закрылась.

— Он учился на врача. Окончил и вернулся, — сказал Салимхон.

Слова «окончил и вернулся...» на Саиди подействовали почему-то как удар кинжала.

— Ну, окончил, а скоро ли врачом станет? Нет, конечно, — возразил Саиди не то с усмешкой, не то с досадой. — И откуда вы-то о нем знаете? Кто вам сказал?

— Еще раньше Аббас получил письмо из Москвы.

Саиди изумленно посмотрел на Салимхона.

— Аббас?! Что общего между ними?

Салимхон толкнул колено Саиди, чтоб тот говорил тише, и в самое его ухо прошептал:

— Да разве все такие, как вы?

Эти слова Салимхона можно было истолковать по-разному, но Саиди понял их так: «О юнец, когда же ты, на-

конец, созреешь? Когда научишься наблюдательности? Когда усвоишь, как важно прибираться к рукам таких людей, как этот Эхсан?!»

Саиди так понял реплику Салимхона и широко раскрыл глаза. Да, в самом деле! Чтобы вербовать таких людей, как Эхсан, способных расширить поле деятельности организации и могущих приносить большую пользу ей, стоит связаться не только с Москвой, но и со всеми городами СССР. Если Аббасхон нашел пути для таких связей, то он добился многого. Если Эхсан завербован, то теперь можно достать и до его близкого друга Шарифа, нынешнего секретаря райкома партии. Если так, то костер контрреволюции, который только трещит и чадит последнее время, не возгорится ли новым пламенем, охватив всю страну великим пожаром? У Саиди заколотилось сердце.

Салимхон с явной надеждой смотрел на Саиди. Этот взгляд словно спрашивал: «Не сумеешь ли ты поговорить с Эхсаном?»

В антракте Саиди только было встал, чтобы направиться к Эхсану, как тот сам подошел к нему. Он был в приподнятом настроении, спектакль волновал его.

— Рахимджан! — обратился он к Саиди. — А ведь есть, оказывается, настоящая узбекская музыка! Я много раз бывал в театрах Москвы и Ленинграда и был убежден, что наша узбекская музыка теперь покажется мне страшно отсталой... Нет, я ошибся, и очень. Между прежней нашей музыкой и современной теперь такая же, примерно, разница, как между дедовским ткацким станком и современной текстильной фабрикой. Но вот инструменты, они отстали. Они так и просят в маленькие гостиные, они пригодны только для камерного исполнения. А если эти инструменты реконструировать, увеличить в размерах...

— А ну, вставайте, выйдем в фойе, прогуляемся! — прервал его Салимхон, но тут же пожалел об этом: Эхсану явно не хотелось «прогуливаться» с ним, он жаждал остаться вдвоем с Саиди.

Саиди же, наоборот, вовсе не хотелось расставаться с Салимхоном. Ему казалось, что отойди Салимхон от него хоть на шаг — Эхсан проглотит его, не моргнув глазом. Салимхон стоял, не зная что делать и не находя повода оставить их вдвоем, как вдруг показался Аббасхон. Салимхон, бормотнув что-то невнятное, поспешил к нему,

а Эхсан, взяв Саиди под руку, увел его в фойе. За несколько минут до последнего звонка Эхсан так много наговорил, что Саиди утомился. Считая Саиди серьезно осведомленным во всех областях искусства — писатель как-никак! — а себя полнейшим невеждой, хотя очень и очень интересовался искусством, он засыпал его вопросами, попутно пытаясь проникнуть в его мировоззрение и заодно проверяя правильность иных своих взглядов. Саиди так истомился от напористости Эхсана, что, не зная, как переменить тему разговора, только спросил:

— Вы женились?

— Я вам обо всем расскажу. Мы ведь сегодня идем к нам, не так ли?

Саиди промолчал.

Раздался третий звонок. Погас свет. Когда Саиди вернулся в зал, Аббасхон уже сидел на своем месте.

— Куда вы исчезли? — спросил его Саиди.

Поднялся занавес. Аббасхон зашептал на ухо Саиди:

— Вы, я вижу, снова обрели своего друга? Замечено, он недолгоблывает Салима, следовательно, и вам следует сторониться его. Я вас обоих знал давно, когда вы учились в одной школе, но думал, что позже ваши пути разошлись. Он видел меня, но не узнал, или же, если даже узнал, то... Только вы не пытайтесь привлечь его... Ни-ни, испортите все дело! Позже я сам займусь им. Ваша забота только одна: познакомить меня с ним. Но не теперь... Я сам вам скажу!

Молчание Саиди на вопрос: «Мы ведь нынче идем к нам, не так ли?» Эхсан принял, вероятно, за согласие. Поэтому, лишь только кончился спектакль, Эхсан потащил его к себе. Но Саиди наотрез отказался.

— Лучше пойдете к нам, — нехотя проговорил он.

Эхсан всегда чувствовал себя близким другом Саиди, поэтому ему и в голову не пришло дожидаться вторичного приглашения.

Пока они шагали рядом, Саиди, словно кто-то спрашивал его: «Ну вот, Эхсан вернулся доктором, а ты что сделал?», упрямо повторял самому себе: «Если он вернулся доктором, то я устроил свою жизнь. Пока он обзаведется таким домом, таким великолепным хозяйством, какими обзавелся я, он дважды поседет. Кто этого не понимает?»

Внести в науку нечто новое, обогатить ее, искать и найти неиспробованные методы научной работы — вот о чем мечтал Эхсан еще в институте. Для этого нужна была энергия — Эхсан обладал ею; требовалось терпение — у Эхсана его было столько, что с избытком хватило бы на двоих и на троих. Возвращаясь в Узбекистан, он твердо решил не оставаться здесь рядовым врачом-практиком, а, отдохнув летом, ехать снова в Москву или в Ленинград и там продолжать научную работу в хорошо поставленных лабораториях. Но на второй день приезда Шариф встретил его словами: «Мы пересмотрели свой пятилетний план, и для науки у нас открылись весьма широкие горизонты». Хотя Эхсан и понимал, что Шариф — человек серьезный и зря болтать не будет, он даже приблизительно не мог себе представить, как вырос этот Шариф за годы их разлуки. Да разве способен Шариф понять «просторы для науки» в том именно объеме и значении, в каком понимает это Эхсан, столько лет варившийся в самом котле науки? Смешно рассчитывать на такое чудо! Просто Шариф хочет оставить Эхсана здесь, не отпускать в Москву и поэтому говорит необдуманно.

Вскоре, однако, выяснилось, что дело обстоит совсем иначе: Эхсан, шагнувший далеко вперед в своем культурном развитии, с изумлением обнаружил, что и узбекская национальная музыка не стояла на месте, что и театр, оставаясь по форме национальным, перенимает все существенное и важное из мировой сокровищницы искусства. Но главное, чему поражался Эхсан на каждом шагу, были люди. Вот кто ушел вперед семимильными шагами! И когда Шариф говорил ему: «Мы пересмотрели свой пятилетний план, и для науки открылись весьма широкие просторы», то, оказывается, смысл сказанного был взвешен на одних с Эхсаном весах. Больше того! Шариф, оказывается, был способен собрать вокруг себя всех людей, занимающихся в республике наукой, и вместе с ними, в поисках новых непроторенных путей, двигать науку вперед.

Это было первое великое открытие Эхсана по возвращении на родину. Из этого, первого, последовало второе — куда более скромное по величине, но крайне важное для самого Эхсана: он понял, что в московском своем багаже



привез чересчур высокое мнение о самом себе и что в Узбекистане таких, как он, уже немало.

Шариф больше не расспрашивал его, решил ли он уехать или оставаться, но однажды попросту захватил молодого врача на совещание ученых, специально прибывших из центра, чтобы проверить пригодность выбранной площадки для строительства будущего рабочего городка. По первоначальным наметкам городок этот должен был разместиться между промышленным комбинатом и гидростанцией, призванной питать комбинат электроэнергией. Местные специалисты находили, что выбор сделан неудачно: со строительством гидростанции река будет запружена и в весенние паводки разольется на десятки километров, а в результате территория почти в тридцать километров к северу от комбината окажется подверженной сырости и заболачиванию. Можно ли в таких условиях закладывать здесь город?

По мере того как между учеными разгорался спор, в воображении Эхсана меркли тихие и молчаливые домики лабораторий, стеклянные шкафы с поблескивающими инструментами, подопытные собаки и кролики, лежащие на столах. А вместо этих, уже знакомых с института картин научной жизни, начали возникать перед его глазами ущелья, наполненные дымом и паром, мощные машины, со скрежетом врезающиеся в целинную землю, люди, многожество людей, вступившие в бой с природой, горы песка и гравия, поезда со строительными материалами, стремительно бегущие по долине. И эти, полные движения, грохота, натиска и штурма картины, как ни странно, тоже были картинами научной жизни. А люди, воздвигавшие промышленный комбинат, гидроэлектростанции и новый город, решали такую научную проблему, какая и не снилась Эхсану в самых смелых его мечтах.

Остаться в Узбекистане? Да, да, тысячу раз да! Но не врачом, с утра до ночи занятым осмотром больных и выписыванием рецептов. На такое дело — кого-нибудь, кто ищет тихой и ровнотекущей жизни. А он, Эхсан, перед лицом громадной стройки, которой предстоит изменить весь облик, всю природу долины, изменить психику людей, найдет и себе соответствующее по масштабам дело. Отчего уже сегодня нельзя взяться за главные проблемы, стоящие перед советской медициной? Ведь основная задача состоит не в том, чтобы излечить одного

или сотню больных. Основная задача в том, чтобы снести с лица земли хотя бы некоторые болезни, уничтожить почву, рождающую их! Так почему нельзя уже теперь приняться в долине за борьбу с такой изнурительной болезнью, как, например, малярия?

Насмерть перепуганный появлением бурнопламенного Эхсана, заведующий отделом здравоохранения Насыров, человек необразованный и по натуре низкий, встретил нового работника оскорбительными намеками на то, что Эхсану, видимо, нужны высокие посты, ежели он отказывается от важной и почетной работы врача-практика. Попутно Насыров обронил несколько замечаний о том, что служение медицине требует вообще самоотверженности, самоотречения и скромности. Наставления эти Эхсану показались крайне обидными и, главное, незаслуженными, но, стараясь не выдавать своих чувств, он спокойно и обстоятельно объяснил своему будущему начальнику, почему отказывается от предложенной ему работы.

215  
Объяснение было настолько точным и ясным, что Насырову пришлось сделать вид, будто теперь он понял истинные намерения Эхсана, и пообещать ему всяческую помощь и поддержку, поскольку тот ставит перед собой такие большие и ответственные задачи. Пожимая Эхсану руку и горячо поздравляя молодого, энергичного и деловитого врача с его великолепной идеей, Насыров думал про себя: «И откуда только свалился ты на мою голову, собачий сын? Если ты будешь поднимать подобные вопросы, то я не только потеряю покой, но вскоре и вовсе вылечу отсюда!»

Эхсан остался в аппарате отдела здравоохранения. Насыров казался очень заинтересованным его работой, всем и всюду трезвонил о том, что ему удалось заполучить в аппарат дельного специалиста-узбека да еще и коммуниста. Однако спустя некоторое время Насыров заглянул в культпром горкома партии. Там, безмерно расхваливая «доктора-коммуниста», он посоветовал освободить его от занимаемой должности и назначить главным врачом только что организованной платной поликлиники при обществе Красного полумесяца, поскольку «такой светлый человек принесет там вдвое больше пользы, чем в аппарате здравотдела». В тот же день, вызвав Эхсана к себе в кабинет, Насыров начал жаловаться на культпром: «Ни

одного толкового человека нет в этом культпроме, прямо беда! Они собираются назначить вас на новую работу, не понимая того, что этим самым нанесут большой вред делу. Я так спорил с ними, так воевал за вас, да ведь им что втемяшится — не выбьешы!»

Но Эхсан на новую работу не перешел, и Насыров начал нервничать. Может быть, у Эхсана в культпроме своя рука? Надо быть осторожнее. Он принялся всячески показывать свою доброжелательность к Эхсану, но старые работники отдела, хорошо изучившие его характер и повадки, знали, какие скверные козни обычно кроются за благожелательностью Насырова.

Со многими из новых товарищей Эхсан сработался хорошо; не стесняясь, просил их помощи, был счастлив, когда сам мог оказать полезным. Среди старейших работников здравотдела самым старым был профессор Светлов, тридцать три года занимавшийся изучением тропических болезней. К Эхсану он сразу почувствовал симпатию. Профессор отлично знал, что Насыров — страшно завистливый человек и что он постарается причинить Эхсану немало неприятностей. Но старик никогда не был бойцом, не было в нем той смелости, которая заставляет человека открыто и прямо встать на сторону обиженного, поднять руку против обидчика.

Придя в дом к Саиди, Эхсан только и говорил, что обо всех этих перипетиях. И чем больше жаловался Эхсан на Насырова, тем ближе он становился Саиди. У того уже даже начала появляться надежда, еще робкая, конечно еще слабенькая, а все-таки надежда завербовать Эхсана: «Дай бог, чтобы из этой борьбы побежденным вышел Эхсан. Растерянный, он протянет руку за помощью любому, кто сможет и захочет обещать эту помощь, к примеру Аббасу».

— Да я же десять раз повторяю, что не претендую на его место. Ни к чему мне оно, это дурацкое кресло! — с досадой и горячностью ответил Эхсан на один из вопросов Саиди. — Я хочу только одно: заниматься научной работой. И пойми, горком предоставил мне для этого самые широкие возможности. Пусть только Насыров не мешает. Но каждый человек, услышав, что между нами идет спор, сразу почему-то решает, что спор идет из-за места. Кстати, я не говорил об этом Шарифу, как бы и он не подумал того же!.. В аппарате почти нет партийного ядра. Есть

один врач, Мирзакарим, кандидат в члены партии. Поразительный человек! Он захлопает в ладоши, даже если кто-нибудь поведет контрреволюционную пропаганду, лишь бы тот начал свою речь словами: «Под руководством партии», а закончил бы: «Да здравствует...» Те специалисты, которые производят на меня впечатление людей неверных, с темной душой, пресмыкаются перед ним. А настоящие, серьезные специалисты презирают его, потому что он совершенно аморален. Но самое интересное, что этот болтун досконально изучил характер Насырова и крепко держит его в руках; Мирзакарим многие дела вершит за его спиной. А этот балда и рад: «Без моего ведома Мирзакарим не смеет ничего сделать!» На работе сам он только тем и занимается, что проверяет социальное происхождение машинисток и заставляет их горько плакать. Насыров, конечно, это знает, но смотрит сквозь пальцы. А его собственные поступки нередко выходят далеко за рамки озлобленного властолюбия. Когда профессору понадобилось систематизировать и привести в порядок итоги работы тропической станции за десять лет, то ему Насыров для этого денег ни черта не отпустил, но разрешил Мирзакариму сыграть роль наивного дурачка, и тот — вообрази! — бухнул во всеулышанье: «Профессор — беспартийный человек, а нужно, чтоб этот драгоценный материал обработал наш, партийный специалист!» Конечно, профессор обиделся, но Мирзакариму на это наплевать. Он сам мне обо всем этом и рассказал. А когда я ответил, что это — гадость, то он заявил мне, что я «подпал под влияние старых спецов». Говорят, теперь он занят выяснением моего социального происхождения! Я молчу пока. Вот если бы он затеял какое-нибудь дело против меня, да и пришел бы с ним в горьком, тогда бы я стал действовать!..

Начало светать. В окно ворвался прохладный утренний ветер. В саду зашумела листва, и сразу, словно по сигналу, раздался веселый птичий щебет. Сквозь деревья заалело серое небо. Тихо. Время сладкого сна.

— Ну, этот вечер был полон моим отчетом, а ваш отчет когда выслушаем? — спросил Эхсан, закрывая глаза.

— Услышите, придет время, — ответил Саиди, гася свет. Со двора донесся надсадный кашель Соловья-Соловушки.

— Рахимджан,— спросил Эхсан за завтраком,— почему это жена ваша не показывается? Неужели она у вас такая робкая?

Дело в том, что Сорахон закрывается от посторонних мужчин; переубедить ее было невозможно. Но даже если б удалось, Саиди все равно постеснялся бы показать ее Эхсану.

— Вчера вечером уехала в кишлак.

— Учится она?

— Да... понемножку...

— А нет ли карточки?

Какое счастье, что Сорахон в жизни не фотографировалась! Сказать правду — удивился бы, не поверил бы Эхсан. Поэтому Саиди сделал вид, что, думая о другом, не расслышал вопроса.

— Эхсан,— оживленно предложил он,— а нельзя ли написать фельетон про все эти проделки Насырова — да в газету?

— Нет, нельзя...— ответил Эхсан, но почему нельзя, объяснить не успел: вошел Мурадходжа-домла.

Со слов Саиди домла знал (хотя вчера вечером и не заходил к нему), что гость—доктор, получивший образование в Москве.

— О-о, добро пожаловать, добро пожаловать...— воскликнул домла, расплываясь в улыбке.— Вы меня уж извините, старика, вчера вечером не смог навестить вас. Правду сказать, мне хотелось зайти, да побоялся обеспокоить...

До конца завтрака домла разглагольствовал о восточной медицине и ее знаменитостях, пока не договорился до того, что современная медицина от медицины времен Ибн Сины отстала этак лет на пятьсот, что самой важной областью современной медицины является ветеринария, а самой незначительной — зубо лечение. Эхсан понаслышке знал о Мурадходже-домле и его болтливости, но ни разу не приходилось им сидеть вот так рядом и беседовать. Эхсан сидел молча, не прерывая старика, чтобы не вызвать новых возражений. Домла умолк на секунду и только снова собрался было заговорить, как Эхсан заторопился:

— Теперь извините меня, я пойду,— сказал он и поднялся.

Саиди стал просить его остаться до вечера, но Эхсан решительно объявил, что это невозможно.

— Рахимджан много рассказывал мне про вас,— сказал домла, вставая с места,— я давно мечтал посидеть с вами, поговорить, и жаль, что вы так быстро уходите. А в дальнейшем прошу заходить к нам почаще. У меня много книг по восточной медицине... Да, кстати... У нас ведь больная, болеет она давно, вы не смогли бы уделить две-три минуты и осмотреть ее?

Эхсан согласился. Когда все вышли во двор, домла знаком показал Саиди, чтобы тот повел его к больной, а сам набрал кукурузы с решета, висевшего на бечевке у входа в дом, и стал кормить кур.

Тупа лежала в подвале под той лестницей, которая вела на застекленную веранду; в этом подвале зимой ставят самовар. Саиди привел сюда Эхсана. В нос ударил запах старой, подгнившей дынной корки. Тупа, лежавшая на веревочном топчане, под тоненьким старым шалевым одеялом, услышав шаги, открыла глаза. Увидев входящих, она попыталась встать.

— Лежите, не двигайтесь!— сказал ей Эхсан.

Тупа виновато взглянула на Саиди, словно прося у него извинения за что-то или ожидая приказаний.

— Доктора привел я к вам. Расскажите ему, чем болеете! — сказал ей Саиди.

Глубоко ввалившиеся глаза Тупы широко раскрылись: а не будет ли сердиться Мурадходжа-домла?

Вдруг ее охватила дрожь. Когда Эхсан, ласково заговорив с ней, взял ее руку в свою, она снова вопрошающе посмотрела на Саиди.

— Мой бек...— проговорила она, словно прося у Саиди прощения.

— Скажите, чего вы боитесь? — спросил ее Эхсан, нащупывая пульс. — Я хочу вылечить вас, выпишу вам лекарств... Вы непременно поправитесь... Где у вас болит?

Тупа несколько успокоилась лишь тогда, когда этот вопрос повторил и Саиди.

Мурадходжа-домла позвал Саиди. Оставшись наедине с Эхсаном, Тупа стала отвечать на его вопросы:

— Чувствую себя, словно свинец проглотила, вот здесь давит.— Она показала на грудь.— Дотронуться нельзя, болит. Тошнит. Изжога мучает.

— А голова не болит?

— Болит! Очень болит голова!

Эхсан задал еще несколько вопросов, потом решительно встал:

— Болезнь ваша излечима, но если будете валяться здесь, никогда не выздоровеете. Вам надо в больницу. В больнице вас быстро поправят.

— О том знает мой бек... Хозяйка знает... Что они скажут, то и будет...

Когда Эхсан выходил из подвала, его встретил домла и, словно человек, отдавший старую, изношенную обувь латальщику, теперь спрашивает, возможно ли ее починить, спросил его:

— Ну как, будет толк или нет?

Эхсан не ответил ему, а с опущенной головой подошел к Саиди и спросил:

— Скажите, кто она такая? Кем она приходится вам?

Ничего страшного не было в тоне Эхсана, но Саиди охватила тревога.

— Работница...— ответил он заикаясь.

Подошел домла.

— Поправится она, братец?

— Да, поправится. Я расскажу Рахимджану, что надо делать. До свидания! Будьте здоровы!

Саиди вышел проводить его. Уже на улице Эхсан снова спросил его:

— Так вы говорите, что она — работница? Почему же вы довели ее до такого состояния?

— Да ведь мы и не знали, чем она больна...

— Надо было в больницу ее отправить! Надо немедленно отправить ее в больницу! Нехорошо получилось, Рахимджан!

— Да я и сам думал, что хорошо бы в больницу. Ну, когда теперь увидимся снова?

Эхсан, не отвечая на этот вопрос, простился и ушел.

Саиди вернулся во двор. Домла стоял в центре двора и перочинным ножичком подрезал себе ногти. Не поднимая головы, он спросил Саиди, что сказал доктор. Саиди передал ему слова Эхсана.

— Что?!— воскликнул он, щелкнув ножичком и кладя его в карман. — А болеет-то чем она, не сказал?

— Говорит, желудком болеет.

— И из-за этого надо везти ее в больницу? В наше время и русский-то врач ничего не знает, а куда узбек-

скому! Дурак он! Он не разобрался в болезни, вот и говорит, что надо в больницу, так ему спокойнее. Если желудок болит, то надо дать ей выпить уксуса — и дело с концом! Когда я ездил в Кисловодск, то врач прописал мне кислые ванны, только велел не окунаться головой в воду. Сказал и ушел, а я окунался столько, сколько хотел. И хоть бы что! Ничего они не понимают, эти врачи...

Ворча, домла ушел в дом. За ним последовал и Саиди. В комнате сидела Соловей-Соловушка и заплетала косы Сорахон. Домла начал было снова жаловаться — уже жене — на дурость доктора, но его прервала Сорахон:

— Ну и отправили бы в больницу! А то умрет еще здесь, а я буду бояться ночами выходить во двор!

— Это бы ладно, а вот еще хоронить ее придется! — сказал Саиди.

— А если и не умрет, то что будет с нами, если она пролежит долго? Нет, обязательно надо отправить ее в больницу. Поправится — так вернется, умрет — так туда ей и дорога, — рассудила Соловей-Соловушка.

— Рахимджан, — обратился домла к Саиди, — ваш врач, как никак, много лет трудился, чтобы получить свой диплом. Хоть немного, а все-таки и он кое-что понимает, не так ли?.. Ладно, отправим-ка Тупу в больницу. Ведь человек же она, авось исцеление получит. Как последователь Мухаммеда, сделаете доброе дело во имя бога, а как человек, исполните долг, если свезете ее в больницу. Так и сделайте, свезите... Нынче, наверно, ей стало еще хуже: утром она кашляла.

## XVIII

В ту минуту, когда Саиди спускался по ступенькам нового особняка, во двор вбежала гурьба мальчишек, показывая на улицу и крича хором: «Извозчик приехал! Извозчик приехал!» Сегодня в доме не ожидали гостей, поэтому Саиди вопросительно посмотрел на домлу. Домла кивнул ему: «Выйдите, узнайте, что там!» Саиди выбежал за ворота. За ним заковылял и сам домла. Извозчик, сняв с фазтона какой-то тюк, завернутый в одеяло и перетянутый веревкой, с нетерпением ожидал, пока сойдет женщина в парандже. Несмотря на паранджу, Саиди мгновенно узнал в гостье свою сестру. Но детей поче-



му-то с ней не было. Саиди подбежал к извозчику. Сестра заплакала навзрыд и повисла на его шее. Увидев ее руки, Саиди страшно перепугался. Так исхудать!

— Не плачь, не плачь! Где дети?

— Он их не отдал мне, — ответила сестра, всхлипывая и пытаясь достать лежавшие позади нее костыли, чтобы сойти с фаэтона.

Саиди охватил страх. Быстрым взглядом он окинул ноги сестры. Ноги были целы. В последний раз, когда Саиди ездил к ней, ноги уже болели, но она не была в таком беспомощном состоянии.

Отняв у сестры костыли, Саиди сунул их одному из глазевших на них мальчишек, поднял ее на руки и понес в дом. Выходивший в эту минуту со двора Мурадходжа-домла, увидев такую картину, застонал, но постарался встретить гостью как можно приветливее, хотя это стоило ему огромных усилий.

Дурное в этой семье понимали без слов. Без слов поняли и то, почему приехала к ним сестра Саиди: Мухаммедраджаб выгнал ее. Это, конечно, никого не радовало. Но, постелив собственноручно коврик на супу, что вызывалась посредине двора в окружении райхона\*, домла с почетом усадила гостью и упрекнул Саиди: «Как вы могли не знать о предстоящем приезде дорогой гостьи, я бы сам вышел навстречу». Соловей-Соловушка, побледневшая как полотно при виде нового едока, с негодованием накинулась на этого негодяя Мухаммедраджаба. Подошедшая к ним Сорахон, произнеся подказанные матерью слова, выразила свое сочувствие гостье. Гость особа священная, таков обычай!

Мурадходжа-домла все сокрушался, что ему не пришлось выехать на вокзал, чтобы самому встретить ее.

— Я не собиралась ехать этим поездом, да дядюшка Хайдар-хаджи вдруг засобирались в Ош и отправили меня с этим поездом, — сказала гостья и, развязав угол платка и достав письмо, протянула его Мурадходже-домле.

Прочитав письмо, домла молча передал его Саиди. Хайдар-хаджи писал про Мухаммедраджаба:

---

\* Р а й х о н (базилик) — душистое растение. Листья употребляются в пищу.

«... Выручив за проданных лошадей семь тысяч шесть-сот восемьдесят три рубля, он открыл свое дело. Несмотря на то, что и по отношению ко мне он проявил такую черную неблагодарность, я стал увещевать его не бросать жену. Но так случилось от бога, и Рахимджану не следует вмешиваться в это семейное дело. И известите Рахимджана, что как бы его сестре ни было тяжело лишиться детей, придется ей потерпеть, ибо я в настоящее время, ваш покорный слуга, уже приступил к исполнению предписаний Мухтархона о том, чтоб в ближайшее время оные дети унаследовали бы своему отцу. Мухтархон же должен был приехать сюда еще 13-го, а нынче двадцать седьмое. Его все еще нет. И вестей от него нет. У него не было привычки так долго заставлять ждать писем. Беспокоюсь...»

— Не сокрушайтесь, дочь моя,— сказал домла, протягивая гостю свою пиалу с чаем.— Дом наш — ваш дом, почувствуйте себя здесь как хозяйка. Живите себе. Вот и братец с вами. Бог даст, поправитесь, встанете на ноги.

Посулив выволить детей из лап Мухаммедраджаба и вызвать хорошего врача, домла поднялся.

— Вы, наверное, устали, дочь моя, так отдохните. Сорахон, встань-ка, доченька, полей двор!

Уйдя в дом, домла через некоторое время позвал Саиди.

— Я вижу, сестра ваша тонкой души человек,— сказал домла.— Нехорошо, если при ней будет лежать здесь Тупа. Вам надо как можно быстрее сплавить ее отсюда. Нехорошо лежать тяжело больному в доме, где пребывает человек с тонкой душой.

— Сейчас, что ли, отправить ее в больницу?

— Ну не сейчас именно, можно и через час. Возьмите с собой Остону.

Саиди согласился и вернулся к сестре. Как только он уселся рядом с ней, она заговорила:

— Ладно, братец, чему быть, того не миновать... Даст бог, я поправлюсь. Бог дал немочь, он и возьмет. Но вот...— глаза ее наполнились слезами.— Видно, и тебя время от времени придется отрывать от дела из-за детей. Мне бы изредка видеть их, ездить к ним... Но я поправлюсь, непременно поправлюсь. В базарный день купи мне немного конского мозга, буду сидеть на солнце

и натирать им свои колени—говорят, очень помогает. Глаза как будто лучше стали видеть...

— Поправишься, непременно поправишься. Я буду лечить тебя у лучших докторов.

Сестра вытерла глаза концом платка.

— Нет, братец, не надо тебе расходоваться на врачей разных. Я и так поправлюсь. Дай только поправиться, а там и бог покажет, что надо делать. Авось смилостивится.

— Кто же это смилостивится? Неужели ты думаешь вернуться к нему?!

— А что же еще делать мне? Ты ничего еще не знаешь... До каких пор мне жить у тебя? И без меня-то у тебя хлопот полон рот, наверное...

Саиди засмеялся, как бы желая сказать: «Если понадобится, не одну, а десять таких сестер могу содержать!»

— Выходит, и скандала-то большого не было между вами?

— Нет, не было скандала. Началось с того, что когда ты приехал к нам требовать свои деньги, он разделился с Хайдаром-хаджи и решил открыть свое дело. Процентом он тебе не выплатил, а когда я его спросила: «Почему?» — он избил меня. Он разделился с компаньоном, и дела у него пошли хорошо. Каждый божий день стал приводить гостей, а те приводят с собой каких-то женщин. А я до зари прислуживаю им... А они... предаются греху... пьянствуют... Однажды всю ночь просидела у очага, к утру чуть задремала и не слышала, как он крикнул, требуя чая. Так он вышел, несколько раз ударил меня ногой. Я и это стерпела: «Дети!» — думаю. Потом одна нога совсем онемела, стало мне трудно ходить! И тут он совсем бросил меня. С утра до самой ночи сижу голодная. Он ведь все съестное прятал в сундук и запирает его на замок. Потом уж я узнала, что он думал взять меня измором. Хотел, видишь ли, жениться на дочери одного там медника. Да, чуть не забыла: однажды он перессорился с Хайдаром-хаджи, наговорил ему всяких неприличных слов. Хайдар-хаджи оказался человеком неплохим, он смолчал, стерпел, бедняга. А мой-то и начал беситься с того времени, как отделился от Хайдара-хаджи и у него завелись деньги... После того, как он принес мне разводную, я решила было все о нем рассказать в махалле, опозорить его, но меня удержал Хайдар-хаджи. «Не дай бог, еще засадят его, а что тогда с детьми станет, как вы будете жить?»

Пришел Мурадходжа-домла.

— Тупу придется отвезти завтра, сегодня уже поздно, — сказал Саиди домле и, повернувшись к сестре, начал ей объяснять, кто такая Тупа.

В эту минуту во двор вошла женщина в белом халате и, сверяясь с какими-то бумагами, объявила, что она приехала за больной, находящейся в этом доме.

Перепугавшийся сначала домла (он не любил официальных визитов) очень обрадовался, узнав, что женщину за Тупой прислал Эхсан. Двое санитаров вынесли Тупу, положив ее на носилки. Когда Тупу переносили в машину, домла без всякой надобности очень суетился, помогая санитарам.

Пока Саиди и домла возились у машины, гостья, оставшись одна, надумала пройти по саду. С трудом поднявшись на ноги и опираясь на костыли, она спустилась с супы, но, пройдя два шага, зацепилась за что-то и скатилась в самую гущу райхона. Испуганно завопила Сорахон. На крик прибежала Соловей-Соловушка.

— Что случилось, сестрица? — спросила она, стоя на почтительном расстоянии.

— Да лучше умереть бы мне! — ответила гостья, пытаюсь встать на ноги и охая. — Глаза-то мои плохо видят... Оступилась...

Зоркий взгляд Соловья-Соловушки упал на глиняный кувшин. Носик у него был отбит. Соловей-Соловушка с молчаливой злостью подняла его и, водрузив на место, удалилась. Выкладывая из казана на блюдо плов, она бурчала себе под нос: «У-у, чтоб ты совсем ослепла... дохлая курица!»

Выбравшись из гущи райхона, гостья стала жаловаться Сорахон, сидевшей на супе:

— Ведь бог-то дал мне не одну только болезнь. Видно, когда человек заболевает, так на него нападут все болезни. В сумерках мои глаза перестают видеть. Обо что это я зацепилась? Разбилось?

— Да... Вы оступились о кувшин, — ответила Сорахон и громко фыркнула.

## ХІХ

Завербовать Эхсана, друга Шарифа, значило подорвать самое сердце неприступной гранитной крепости, то есть

городской комитет партии. Все напряженно следили за непрекращавшейся борьбой между Насыровым и Эхсаном, ибо отлично понимали, как такая изматывающая борьба, целиком построенная на «запрещенных приемах», может завести человека в поисках поддержки и помощи в чужой лагерь.

Весь этот чужой лагерь взволнованно и нетерпеливо ждал той минуты, когда побежденный и измученный Эхсан кинется к протянутой ему дружеской руке. И чтобы рука эта не показалась ему чужой, чтобы она не вспугнула его, надо заранее приучить Эхсана к мысли, что окружают его люди, преисполненные к нему симпатии и доброжелательности.

Но как сделать, чтоб Эхсан пришел и начал жаловаться? Сам он, по своей инициативе, не придет конечно. И некому идти к нему, чтобы выслушивать его жалобы. Между ними нет никакого моста. Или почти никакого... И вот, вопреки своему желанию, но по велению организации, Саиди стал часто захаживать к Эхсану с надеждой воздвигнуть этот недостающий мост.

Если бы Эхсан мог заподозрить, средоточием скольких и каких надежд для Саиди стал он нежданно-негаданно! Но он, конечно, ни о чем не догадывался. Все радости и горести его в эту пору были связаны лишь со страстным желанием применить свои знания на том новом поле деятельности, которое казалось ему сейчас наиболее важным. Поэтому даже Мирзакарим со всеми его кознями, которого Насыров использовал как длинные щипцы, чтоб не обжечься самому, не мог причинить Эхсану особых неприятностей.

Много раз побывал Саиди у Эхсана, но ни разу не вернулся от него удовлетворенным. Встречи проходили довольно однообразно. Эхсан или вовсе заговорит Саиди, повествуя во всех подробностях о своих служебных делах, или, если особых новостей нет, заводит речь о литературе. Эти беседы о литературе — чистая попытка для Саиди. Он чувствует себя сидящим на горячих угольях, он так и ждет, что Эхсан вот-вот спросит: «А ты-то что написал за эти долгие годы, а?»

Но этим не ограничивается кипение вокруг Эхсана. С тех пор, как приехала сестра Саиди, Мурадходжудому не покидает новая тревога: не захочет ли Саиди показать сестру врачам, тогда ведь не миновать расходов!

домла хотел бы обратиться к услугам Эхсана — хорошо ли плохо он лечит, для домлы это безразлично, лишь бы лечил бесплатно. А там, если его лечение не поможет, можно будет сказать: «Раз все лекарства, прописанные врачом, не помогли, стало быть, ничто уже ей не поможет». Поэтому всякий раз, когда Саиди собирался к Эхсану, домла уговаривал его пригласить Эхсана к сестре, но Саиди к этим уговорам относился со странным безразличием. Однажды домла пристыдил его при сестре: «Как вы можете так бессердечно относиться к своей родной сестре?» В этот же вечер Саиди отправился к Эхсану.

Эхсана он застал расстроенным и не в духе. Хотя он и старался скрыть свое дурное настроение, ему это не удалось, и он принялся рассказывать. Конечно, все опять и опять было связано с его работой. Все тот же Мирзакарим, который усиленно интересуется социальным происхождением машинисток и доводит их этим до слез, на одном из собраний бросил Эхсану мутное обвинение в том, что тот «поддерживает вредные связи с профессором старой идеологии». Эхсан волновался больше всего тем, что, желая очернить его, Эхсана, этот негодяй Мирзакарим создавал впечатление, будто «профессор Светлов настолько вредный человек, что и в разговор-то с ним вступать — великий грех». А между тем профессор был человек кристально чистой души и, кроме горячего желания поделиться своими огромными знаниями, ничего в работу не вносил.

Эхсан не стал распространяться в подробностях по этому поводу. Он знал, что, начав разговор на эту тему, впадет в уныние; ему хотелось выключиться из привычного круга забот, поговорить с Саиди о других интересных вещах и отвести душу.

— Говорите вы, Рахимджан, рассказывайте... Между прочим, вы навещаете свою прислужницу?..

— Да, навещаем...

Эхсан придвинул к Саиди небольшую книгу, лежавшую на столе.

— Вы это видели? Второе издание...

Книжка была сборником стихотворений Кенджи, на титульном листе было написано: «Друг мой Эхсан! У нас с вами формы работы разные, но трудимся мы ради одной цели». Саиди стал перелистывать книжку. В стихотворении «Сказки о прошлом» были подчеркнуты следующие строки:

Путь его от колыбели до могилы долог был,  
Этот путь своею кровью и слезами он залил.

— Это вы подчеркнули?

— Я. Вы не находите, что ради ритма и созвучия он несколько затемнил смысл?

Саиди раздраженно поморщился:

— Поэт-то он неплохой, да вот критики не терпит. К Аббасу, одному из лучших и передовых критиков нашего времени, он относится свысока, позволяет себе говорить о нем оскорбительные вещи. У всех он под ногтями грязь ищет...

Слова эти очень задели Эхсана. Обычно у него хватало и такта и сдержанности, чтобы зря не обижать Саиди. Но сегодня, расстроенный своими делами, он отбросил всякую деликатность и не счел нужным скрывать свою неприязнь к Аббасхону.

— Я совсем не уверен в учености этого... вашего... Аббасхона. Видел несколько его статей, читал. В одной из них он явно ошибается, утверждая, что произведения классической литературы сильные тем, что описывают отрицательные явления и отрицательных героев. Он утверждает, что основным материалом искусства должны служить отрицательные явления жизни.

Саиди задумчиво и чуть насмешливо посмотрел на Эхсана. Взгляд его говорил: «Ну, что ты берешься судить о вещах, которых не понимаешь?»

— Может быть, может быть, — лениво сказал он вслух, — разве мало сильных великолепных книг построено на отрицательных явлениях?

Эхсана словно ожгло. Он ринулся в спор:

— Не думаете ли вы, что сильными эти произведения стали оттого, что изображают отрицательные явления? По-моему, в эпоху, когда жили и творили классики, вся жизнь состояла из одних отрицательных явлений! Сильная рука художника прошла по этим явлениям, систематизировала их. И неужели вы думаете, что коснись великий художник той же рукою явлений положительных, из-под его пера не выйдут произведения такие же сильные и великолепные? Нет, я знаю одно: прежде чем приступить к делу, надо быть уверенным в возможности осуществить задуманное. А Аббас ваш пытается эту уверенность отнять!

Саиди подумал, что будь сейчас здесь сам Аббасхон, он сумел бы куда лучше возразить Эхсану.

— Во всяком случае, Аббас достаточно осведомленный и образованный в своем деле человек. А в медицине, возможно, и он не умеет отличить левую сторону от правой.

Намек был столь откровенен, что Эхсан обиделся.

— По-вашему, значит, о литературе не может судить никто, кроме самих писателей? Но ведь пишете-то вы для всех! Для народа! И еще: представьте, ко мне, врачу, является некто и жалуется на отсутствие аппетита, а я его кладу на операционный стол и отрезаю ему нос! Как вы думаете: обязательно ли быть доктором, чтобы понять ошибочность моих действий?.. Или же вы, в самом деле, не поймете этого, пока не пройдете пятилетнего курса медицины?

Теперь Эхсан задел Саиди гораздо сильнее, чем сам того хотел. Ну, раз так, почему будет церемониться Саиди? И он ясно выразил свои затаенные мысли:

— Видно, здорово Кенджа поработал над вами!

— Напрасно вы думаете, что я повторяю уроки Кенджи! — воскликнул Эхсан, бледнея от обиды.

— Совсем не напрасно. Я просто узнаю их в каждом вашем слове. Кенджа самонадеян и неумен. А согласись он только — Аббасхон влил бы новые жизненные силы в его творчество, обросшее кичливостью и ячеством и оттого уже засыхающее...

— И ваш талант тоже подвергся такому благотворному очищению рукой Аббасхона?

— Конечно! — ответил Саиди.

Эхсан громко и неудержимо расхохотался. Смех звучал деланно, по крайней мере так хотелось думать Саиди.

— Вы когда-нибудь пытались оглянуться на свой путь, взвесить, так сказать, самого себя? — тихо спросил Эхсан. — По-моему, нет на свете человека, который позавидовал бы Рахимджану, чей талант очищается и шлифуется таковыми учителями, как Аббас, Салим и им подобные! Насколько я, например, знаю, талант Рахимджана, подвергшийся наиболее старательному очищению и шлифовке, сейчас, как разбитая скрипучая телега, валяется на задворках у Мурадходжи-домлы!

То, что говорил Эхсан, было непереносимо, и все-таки Саиди промолчал, думая про себя: «Погоди, придет время, и ты узнаешь, чем я занимался в эти дни!..»



Оба замолчали, размышляя о своем. Саиди поднялся, надеясь в душе, что Эхсан будет уговаривать его остаться. Но Эхсан отчужденно молчал. Саиди вышел и медленно прикрыл за собой дверь.

## XX

Единственным человеком в семье, который выказывал хоть некоторые признаки приветливости сестре Саиди, был сам Мурадходжа-домла. Но это продолжалось недолго. Не прошло и месяца с ее приезда, как домла стал проявлять все более и более явное недовольство. Не пригласив к своей сестре Эхсана, Саиди позабыл раздобыть для нее и другого врача. Он рассказал Аббасхону о размолвке, происшедшей между ним и Эхсаном, и Аббасхон прямо запретил Саиди встречаться со своим бывшим другом. Признаться в этом домле мешало самолюбие.

Между тем, домла уже и в присутствии сестры Саиди перестал сдерживаться. То буркнет: «Бог ниспосылает своему рабу мучения в соответствии с нравом и характером каждого». Сестра, конечно, смолчит, низко опустив голову, и, с утра уйдя в укромный уголок сада, до вечера проплачет там одна. Но домла опять недоволен: «Слезы ничему не помогут, только мешают людям работать. Я вас прошу не плакать в моем доме». С тех пор сестра Саиди, увидев домлу, силится улыбнуться и вообще казаться веселой. Однако домле и это не по душе: «Разве можно быть такой беспечной, когда лишилась троих детей и ног впридачу! Удивляюсь!»— шипит он исподтишка. Разумеется, об этих упреках никто не говорит Саиди — ни Сорахон, ни Соловей-Соловушко, ни, тем более, сам домла. Не заикается о них и несчастная сестра, опасаясь, как бы не вспыхнул из-за нее в семье раздор. Так и живет она, тихо, боязливо, словно мышка, молча снося все колкости и все обиды.

Услышав однажды жалобы и сетования домлы по поводу семейных неурядиц, Аббасхон не на шутку перепугался: было несомненно, что если все эти жалобы домлы, которые он выбалтывает каждому встречному, дойдут до Саиди, то размолвка между тестем и зятем неминуема. А от такой размолвки хорошего ждать не приходится. И как раз в то время, когда Аббасхон искал путей уладить

это щекотливое дело, до него дошла еще одна крайне неприятная весть: в редакции газеты ожидалась большая, очень большая перемена.

Рассказывали, что секретарь городского комитета партии Шариф во всеуслышанье упрекнул редактора газеты: «Вы плохо, из рук вон плохо освещаете пятилетний план». Аббасхон великолепно понимал, что кроется за этими словами.

Чтобы предотвратить наступающие события, Аббасхон решил действовать в согласии с Мурадходжой-домлой.

— Мы с Салимом раздумываем, не отправить ли нам Саиди на работу в редакцию центрального журнала? Я сказал Салиму, что эту мысль одобрите и вы.

Домла вздрогнул.

— Что за причина?

— А причина та, что в редакции газеты ожидаются серьезные перемены. Вполне может статься, что при этих переменах Саиди не поздоровится. Но палка, поднятая над головой Рахимджана, одним своим концом может задеть и вас, а это еще больше может повредить Рахимджану. Тогда закроются все дороги для его деятельности. Ну, а кроме того... И для вас это будет лучше... По-моему, будет лучше, если он уедет и семью с собой перевезет... И сестру в том числе, конечно!

Домла призадумался.

Безусловно, в советах Аббасхона есть крупницы разума, но согласиться на отъезд Саиди, даже только на раздел семьи, означало бы то же самое, что согласиться собственноручно убить дойную корову. А настойчивость Аббасхона, с которой он продолжал уговаривать домлу, только навела того на мысль: не заинтересован ли кто в этом деле.

Характер у домлы сам по себе подозрительный, к тому же он был уверен, что Саиди еще не совсем порвал с Мунисхон. Знал домла и то, что недешево достались Мунисхон горькие слезы, когда она признавалась одной женщине, что Мухтархона вовсе не любит, Саиди же никак не в силах вытравить из своего сердца. Кроме того, Мухтархон, предприняв опасное путешествие к границам Афганистана, как в воду канул. Не зря Хайдар-хаджи, не чаявший в нем души, пишет теперь тревожные письма. Поразмыслив над всем этим, домла окончательно уверо-

вал, что за предложениями Аббасхона кроются тайные интересы Салимхона.

— Ладно, там будет видно,— проговорил домла, отворачивая лицо.— Не в газете, так в другом месте станет работать. Не клином сошелся свет. Для чего трогать его с места, да еще с семьей, с хозяйством!

— Да поймите, домла-ака, не поздоровится ему! Могут и совсем покалечить! Все пути для дальнейшей деятельности будут перекрыты.

— А много ли он делает, когда пути открыты?! Вон сколько ходил за Эхсаном! И ни на грош пользы от всех его стараний!

Аббасхон все еще пытался образумить домлу, которую жадность застила разум.

— Не было пользы вовсе не потому, что Рахимджан оказался неумелым. Если бы горком партии поддержал Насырова, Эхсан метнулся бы к нам. Но ведь горком поддержал Эхсана, а дело Насырова, говорят, передано в контрольную комиссию. И еще говорят, что Шариф отругал Эхсана: «Сминдальничал? Почему раньше не сообщил нам обо всем этом?» Эхсан — крепкий орешек. Он и не подумал скрывать от вас свое отношение к вам. А если так, то как же вы хотите, чтоб он сблизился с вашим зятем, с человеком, живущим под одной крышей с вами?

Но домла все не поддавался. «Ах ты сукин сын! Не иначе как Салимхон посулил тебе что-нибудь очень стоящее!» — упрямо думал он, переворачивая на свой лад каждое слово Аббасхона. И не принеси Саиди именно в эту минуту новую страшную весть, спор, вероятно, перешел бы в открытую перепалку.

Саиди появился внезапно. Он был бледен и взволнован.

— Опять докапываются! — негромко сказал он с порога, и голос его дрогнул.

— Что еще такое? — в испуге спросил домла.

Вынув из журнала, который он держал в руках, лист бумаги, Саиди протянул его Аббасхону. Это было письмо, написанное коряво, вкривь и вкось, на новом латинизированном алфавите. Аббасхон не сумел прочитать его сам и призвал Саиди на помощь. Домла же и вовсе не знал нового алфавита, поэтому ему оставалось только слушать.

«Статья в газету.

Настоящей своей статьей сообщаю, что то, что судья Ибрагимов требовал от меня взятку, ложь... Он неправильно и несправедливо заключен в тюрьму, это я подтверждаю, как я кандидат в члены партии и работаю. Я не понимала, поэтому я дала устную заметку о том, что товарищ Ибрагимов будто взяточник и принуждал меня к нехорошему. Все это делал, но не товарищ Ибрагимов, а вовсе чуждый элемент по имени Мирза Мухитдин. Подавая настоящую статью, прошу поместить ее в газете и проверить дела этого чуждого элемента по имени Мирза Мухитдин... А товарищ Ибрагимов невинен, и его надо освободить.

К сему подписываюсь:  
работница шелкомотальной фабрики *Мавлянкулова*.

Мое социальное происхождение — беднячка, а муж мой — штукатур, арестованный будто за взяточничество, когда он был председателем махаллинской комиссии, но это тоже неправда. И товарищ Ибрагимов арестован по этому делу.

К сему *Мавлянкулова*.

Если есть ошибки, то прошу выправить их и напечатать.

К сему *Мавлянкулова*.

Аббасхон, побледнев, посмотрел на домлу. Домла знал про Мавлянкулову, но с перепуга снова и снова спрашивал Саиди, кто же она, эта женщина, быть может, она — это не она, быть может, письмо написано совершенно про других людей и по другому поводу?

— Кто она такая, эта женщина, а?

Аббасхон покачал головой: «Скверная история!» Но он держал себя в руках куда лучше, чем домла.

— А как все это случилось? Она пришла сама? И что же она сказала? А вы что ответили ей?

Саиди плачущим тоном отвечал на вопросы:

— Пришла она сама. Сначала я ее не узнал. Совершенно не та женщина, которую я знал. Такая речистая, слова никому не уступит. Рассказала все, что было тогда. Говорит: «Мирза Мухитдин обманым путем заставил меня дать ложные свидетельские показания». Я ей говорю: «Вы пока помалкивайте об этом, никому не говорите, а то как бы у вас неприятностей не было... Я сам, дескать,

опубликую ваш материал!», а она отвечает: «Нет, я должна это всё распутать, невиновных выручить. Мало ли что, неприятности! Я решила встретиться с Шарифом-ака. Вчера еще хотела, да он уехал в кишлак». И ушла, обещала прийти в воскресенье.

Аббасхон снова посмотрел на домлу, сидевшего с отсутствующим видом, все еще выскивающего доводы, которыми можно было бы убедить Аббасхона в том, что не следует отправлять Саиди в центр. Не придумав ничего лучше, как обвинить Аббасхона в неприятностях с Мавлянкуловой, домла вдруг накинулся на него:

— Вот, поглядите, и это тоже в свое время исходило от вас, делалось по вашему разумению! Хотел я тогда предостеречь вас, чтобы не пускались на такие дела, да пожалел ваше самолюбие, промолчал. А теперь новое дело придумали: отправлять Рахимджана в центр. Не имеет эта затея почвы под собой! Не имеет.

— Ах, да поступайте как знаете!— раздраженно воскликнул Аббасхон.— Давайте решать, что делать с этой бабой.

Саиди сбегал за Салимхоном. Услышав о случившемся, тот пришел в большое замешательство. Вызванный вслед за ним Мирза Мухитдин решительно объявил, что на судебный аппарат в данном случае рассчитывать нечего. Совещались до полуночи, но так и не пришли ни к чему. Выход отыскался только на следующий день на новом совещании с участием большого количества людей. Было решено послать Мавлянкулову через окружной отдел народного образования на учебу, а о случившемся переправить информацию в центральный комитет организации.

## XXI

Все это надо было проделать очень срочно, чтобы убрать Мавлянкулову до возвращения Шарифа из командировки.

На следующий день Салимхон, вызвав ее к себе, долго беседовал с ней. Он так мило и сладко говорил с ней, что, не повторяя он между словом: «Если согласны, немедленно выпишут вам денег, и завтра же поедете», то Мавлянкулова подумала бы: «А нет ли у него какой-нибудь грязной мысли?» Разумеется, она с радостью приняла предло-

жение учиться, она была очень довольна этим, но ее беспокоила судьба отданной в редакцию статьи и результаты проверки этой статьи.

— Может быть, мне можно выехать после того, как Шариф-ака вернется? Дело-то ведь ужасно запутанное! Я сама все должна объяснить, распутать.

— Ну, если вы передали материал в газету, то Шариф-ака человек грамотный, сам прочтет и поймет в чем дело. Если даже и не все поймет, так ведь начнут расследование. А опаздывать на учебу нельзя, не допустят к занятиям.

— Или оставить мне на имя Шариф-ака в дополнение к той статье особое заявление?

— Можно и так. Но мне начинает казаться... Если вы не оставите вообще эту свою затею, то сможете ли вы учиться? Не сорветесь ли? И что вас так беспокоит, право? Ведь муж-то ваш будет освобожден, вернется же он к вам, что еще надо?

Мавлянкулова даже руками всплеснула:

— Ах, какой вы странный человек, я вижу! Вы не знаете, как возненавидела я судебные органы, когда неправильно засадили моего Мавлянкулова, когда мне стало трудно, когда я обивала их пороги, приходя туда за помощью, а уходила оскорбленная! Как же я могу теперь молчать и не говорить о тех людях, об их проделках и темных делишках, которые показывали мне судебные органы, как в кривом зеркале? Да ведь я же кандидат в члены партии!

Салимхон вежливо прервал ее:

— Совершенно правильно, нельзя это оставлять безнаказанным. Но вы никак не хотите понять, что тревожит меня, как работника просвещения. Я объездил все предприятия, все заводы и фабрики в городе, но таких женщин, как вы, нашел не очень много. До начала занятий осталось всего два или три дня. Запоздайте хоть на один день — вас не примут! Ведь тут, поймите, решается вопрос всей вашей жизни, а для меня — вопрос подготовки кадров национальной интеллигенции...

— А выйдет ли моя статья в газете? Только когда же она выйдет...

— Вот тебе и на! Да как же не выйдет! Устную вашу статью опубликовали, а письменную не опубликуют?! Через сколько дней была опубликована ваша статья, та, первая?

— На следующий же день.

— Ну, это вам что-то очень повезло! Обычно проходит неделька, десять дней. Да я сам давал одну статью, прошло уже семь дней, а ее все еще нет.

— Тогда вот что сделаю: заберу-ка я статью из редакции и отнесу ее домой к Шарифу-ака...

— Можно и так, но, конечно, лучше, чтобы она была напечатана в газете. Потому что дома — то ли он ее прочтет, то ли нет... А в газете непременно прочтет, газету он читать обязан. По-моему, будет лучше, если ваша статья останется в редакции. А вы езжайте себе! Не надо и заявления оставлять Шарифу. Вот когда ваша статья будет напечатана в газете, тогда напишите ему письмо, где объясните дополнительно все, что потребуется...

С этим предложением Мавлянкулова согласилась.

Недели через две после этого разговора Мурадходжадомла прочитал в центральной газете заметку:

«Вчера вечером на расстоянии шести километров вверх по течению реки от гидростанции, между пристанями Третьей и Четвертой, моторный спасательный катер обнаружил прибитую к берегу порожнюю весельную лодку. На лодке обнаружены следы крови. По предварительному расследованию установлено: лодка под номером 27 была взята напрокат на два часа женщинами Зарифой Юлдашевой и Турсуной Мавлянкуловой. По документам, предъявленным ими во время найма лодки, они значились студентками рабочего факультета, принятыми в нынешнем году».

Домла вскочил и, как был в нижнем белье, побежал к Саиди. Они столкнулись на ступеньках. Саиди, державший в руках газету, был взволнован не меньше тестя.

— Читали?— обратился к нему запыхавшийся домла.

У Саиди дрогнули губы, на глаза навернулись слезы, которые он вытер, отвернувшись в сторону. Домла остался в удивлении.

— Да вы были близки с нею, что ли?

Саиди молча отвернулся и пошел в комнату. Взбешенный домла последовал за ним.

— Если уж вы жили с ней, надо было и договориться самим. Все было бы шито-крыто!

— Это вы виноваты во всем.— проговорил Саиди со

слезами в голосе.— Послушайся я Аббасхона тогда еще, в первый раз, и уйди из редакции, так не было бы сейчас столько шума вокруг меня! И никто бы не нашел повода заинтересоваться моим прошлым... А теперь что?..

Домла приостыл:

— О чем это вы, Рахимджан?

— А вы о чем?

Домла показал Саиди заметку, сам же быстро пробежал глазами огромную статью, напечатанную в областной газете. Вся статья, занявшая оба подвала внутренних страниц, была испещрена именами Саиди, Якубджана и редактора окружной газеты. Домла понял, о чем в ней идет речь, и у него на лбу выступил холодный пот.

Знал бы Мурадходжа-домла, что дело дойдет до такого, он согласился бы отправить Саиди не только в центр, но и на край света. Статья глубоко анализировала вопрос: почему окружная газета не освещает такой важный политический вопрос сегодняшнего дня, как пятилетний план.

## XXII

После того как Саиди освободили от работы в редакции именно так, как предсказывал Аббасхон, пришлось оставить работу и на курсах, и в школах. Кое-где он подавал заявления об уходе «по личному желанию», в иных местах просто перестал появляться. Никто его теперь не искал, не присылал заказов, не торопил с исполнением.

Мурадходжа-домла прикусил язык, хотя был готов криком кричать от того, что творилось у него на глазах. Ну ладно, газета — оттуда, прямо говоря, выгнали. Но зачем самому забегать вперед, зачем подавать эти заявления об уходе на курсах и в школе? Вдруг где-нибудь и оставили бы из-за нехватки кадров? Заработок Саиди за случайные переводы не составлял и половины того, что он получал на курсах и в школе. Вот почему домла был вне себя от негодования. Но труднее и тяжелее всего было, конечно, сестре Саиди.

С первых же дней пребывания в этом доме она, чтобы не стать причиной раздора между братом и невесткой, старалась оправдать тот кусок хлеба, который съедала у них. Но и здесь преследовали ее неудачи: втайне от бра-



та она купила шелковых ниток, чтобы вышивать тюбетейки и сбывать их на базаре, да случилась беда: нечаянно пролила на нитки фиолетовые чернила. Вышив из остатков ниток тюбетейку, она попросила соседку снести ее для пробы на базар, но тюбетейка вернулась обратно: за нее не дали даже и того, что было затрачено. Болезнь глаз сказалась и тут: вышивать искусно она уже не могла. Таких неприятностей было у нее немало, и о последней из них, наконец, поведал Саиди.

Однажды вечером, закончив переводы, доставленные ему домлой, Саиди вышел во двор и услышал со стороны сада ворчливый голос Соловья-Соловушки, затем там с грохотом упала и покатила какая-то железная посуда. У Саиди не было желания видеть свою драгоценную тещу в эту минуту; он и так хорошо представлял себе её большие вялые уши, ее лицо и губы, приобретающие зеленоватый оттенок, когда Соловушко изволила гневаться. Все же он поспешил в сад. Только ступил через порог садовой калитки, как мимо него ящерницей проскользнула теща, и не успел Саиди расспросить ее, как она в сердцах хлопнула калиткой. Саиди вошел в сад. На берегу бассейна сидела его сестра, подложив под себя костыли, и обтирала тряпкой свои худенькие, иссохшие руки.

— Что случилось?

Она не заметила, как подошел к ней Саиди, и, услышав вдруг его голос, вздрогнула. Быстро-быстро растирая руки, она, моргнув, проглотила слезы и постаралась улыбнуться брату:

— Ничего...

— А что она тут говорила? С тобой она говорила?

— Нет,— ответила сестра таким тоном, будто хотела сказать: «Да неужели она станет меня ругать?»

В нескольких шагах от сестры Саиди увидел лежавшую на земле старую кастрюлю.

— А это что лежит?

— Да это...— залепетала сестра и, подняв нож, лежавший рядом с ней, посмотрела на Саиди.

— Да что случилось-то, расскажи толком!

— А ничего не случилось, ей-богу, ничего...

— Так что же ты сидишь тут?

— Хотела вот кастрюльку вычистить... надоело мне сидеть без дела... а она была дырявая, олово возьми да и отскочи...

Саиди, наконец, понял: сестра, счищая нагар с кастрюли, нечаянно содрала с нее олово.

— И охота же тебе возиться со всем этим!— с досадой говорил Саиди.— Сидела бы уж тихо, мирно, молясь богу!.. Никто же не просит тебя ни о чем... Здесь сыро, это вредно для твоих ног.

Вытирая нож грязной тряпкой, сестра думала: «О, брат мой родной! И ничего-то ты не знаешь! Да сиди я тихо и мирно, молясь богу, так каждый твой день в этом доме был бы отравлен».

Сестра отправилась во двор, постукивая костылями. Саиди решил было последовать за ней, но раздумал: «Встретится еще эта «прелесть», наговорю ей, выйдут неприятности!» Он углубился в сад и долго бродил там без цели.

Уже совсем смеркалось, когда Саиди вернулся во двор. Сорахон, которая сидела на айване и выдавливала зеленоватый сок из усмы\*, капризным голосом вдруг проговорила:

— У-у, чтоб пропадом пропало все!— и отодвинула от себя пиалу с соком.— Если считаете меня своей женой, купите дом и увезите меня отсюда, не желаю я жить больше с отцом и матерью!

Когда Мурадходжа-домла внушал дочери эти слова, он велел ей сказать их мужу, дождавшись у него хорошего настроения. Но внушение было сделано давно, неделю назад, и совет отца успел позабыться. Неожиданные слова жены воскресили перед глазами Саиди худую кастрюлю и позеленевшее от злости лицо Соловья-Соловушки. Саиди растрогался, вообразив, что историю со злосчастной кастрюлей Сорахон уже знает, недовольна сварливостью матери и жалеет несчастную сестру его, Саиди.

— Ладно, не расстраивайся. Будет у нас и дом, и переедем мы с тобой...— ответил он ей размягченным голосом.

Все, что можно было выжать из Саиди, Мурадходжа-домла выжал; ни настоящее, ни будущее Саиди не сулило теперь ничего хорошего. Умнее всего выделить ему хозяйство и выселить его из дома. Потом наступит время и для того, чтобы забрать свою дочь обратно; это никуда не уйдет. Домла постарается сделать так, что Саиди сам

---

\* У с м а — растение, соком которого красят брови.

захочет развестись с Сорахон. Впрочем, развод этот должен произойти по желанию обеих сторон, чтобы ни в малейшей степени не испортить отношений между Саиди и домлой.

Теперь в связи с неприглядным будущим Саиди в голове домлы вызрел какой-то план... И если осуществление этого плана потребует новых жертв, то Мурадходжа-домла не остановится ни перед чем: он и Мунисхон будет перевозносить — «Для того, чтобы стать крупным и настоящим писателем, вам необходимо иметь такую жену, как Мунисхон!» — он и собственную дочь может объявить сумасшедшей.

Много раздумывая над этим, домла наметил себе десятки способов дальнейших действий. Но прежде всего пусть Саиди где угодно раздобудет тысячу или полторы денег и купит дом. Дом этот надо записать на имя жены «на всякий случай». Затем надо сделать так, чтобы Саиди узнал об аресте Мухтархона политическими органами; это непременно снова сблизит его с Мунисхон. Мунисхон еще ничего не знает об аресте своего мужа, но когда узнает, то человека, сообщившего ей эту весть, надо полагать, бо-о-гато одарит. Домла даже языком причмокивал, когда в мыслях своих доходил до этого пункта. «Пусть, пусть, — злорадно думал он, — теперь братец Салимхон повозится с провалившимся зятьком... Пусть он попробует!»

Но Саиди был очень далек от планов Мурадходжа-домлы.

— А родители-то твои согласятся? — спросил Саиди жену, продолжая так неожиданно возникший разговор.

Сорахон побоялась сказать: «Да они рады будут!», только пробормотала:

— Плевать на них... Каждому своя воля!

— Но лучше, чтобы ты сначала поговорила с ними.

— Гм-м... — промычала жена, скривив губы. — Думаю, согласятся!

Весь тон и вид Сорахон говорили: «Уж я-то сумею обделать это дельце!», но Саиди вовсе не был уверен в том, что жена сможет настоять на своем.

Однако оказалось, что и Сорахон способна на что-то. А однажды вечером Мурадходжа-домла вернулся с сияющим лицом. Он сообщил, что в махалле Эгарчилик продается дом, и неплохой. Саиди вполне был убежден

что это сообщение было результатом настояний Сорахон, не иначе.

— И недорого стоит,— говорил домла, расписав и дом и двор во всей красе.—За семьсот пятьдесят отдадут. Если затратить еще рублей триста на ремонт, то за него дадут не меньше трех тысяч. Надо бы приобрести этот дом, хороший дом. И деньги будут вложены надежно. Вы сами видите, какое трудное наше время: все стало непрочным. Сегодня вы при положении, а завтра глядишь — и нет его, этого положения! И мать с отцом, и друзья-приятели, и слава, и почет — все это игрушки! Только имущество, только деньги прочны. Подумай я об этом несколько месяцев назад, и горя не знали бы: денег-то сколько было! Да и теперь еще... Ну что стоит молодому человеку заработать денег? Если вы купите дом, о котором я толкую, то несколько комнат можно сдать квартирантам; вот вам и средства на жизнь. А сами вы знай сидите себе и пишите свои книги! Да и Сорахон, отделившись, лучше научится вести хозяйство. А сестра ваша останется здесь. Я сам буду лечить ее, ухаживать за ней. Вы не цените человека. Сестру вашу вам не отдам, так и знайте!

— Но ведь теперь денег-то у нас нет,— сказал Саиди, криво улыбаясь.

— Денег нет,— согласился домла,— верно, нет денег! Но если мы будем сидеть и ныть, то дом может ускользнуть! Значит, надо деньги достать! У Якубджана всегда водятся деньжата, тысячи три-четыре во всяком случае у него найдется. Если я попрошу, он наверняка мне откажет. А если вы попросите, он даст. Но надо просить, сначала доказав, что деньги у него есть, понимаете? Только ни под каким видом не говорите, что покупаете дом. Просите в крайнем случае полторы тысячи, бог даст, через месяц-полтора расквитаетесь.

— А если потребовать от Мухаммедраджаба наши проценты, не даст?— сказал Саиди и сам же первый засмеялся наивности своего вопроса.

А Мурадходжа-домла в это мгновение думал над тем, как же все-таки заодно сообщить зятю об аресте Мухтархона и заронить в душу Саиди мысль о Мунисхон.

— Ну, Мухаммедраджаб теперь не даст ни гроша. Да, я вам еще не говорил: Хайдар-хаджи, как вы помните, обещал в скором времени сделать детей Мухаммедраджа-

ба сиротами, но это у него не вышло. Мухтархон арестован органами ГПУ на афганской границе.

Саиди так и подскочил.

— Арестован?! За что?! А мы что станем делать?

— Вам не ясно, за что арестован? По-моему, вполне ясно. После того как дело наше не выгорело в Оше и Узгенте, Мухтархона послали в Гиссар и Куляб. Там он и попался.

— А его арест разве не ставит нашу организацию под угрозу?

— Ну, как не ставит! Ставит, конечно. Но мы уверены, что Мухтархон сумеет молчать. Он из таких... молчунов. Другое плохо: в самый горячий момент потеряли активнейшего работника. Знаете ли вы, какой период мы переживаем? Осуществление пятилетки неминуемо приведет к волнениям в известных слоях городского и сельского населения. Вот тут Мухтархон незаменим. В кишлаках, где волнения будут особенно сильны, Мухтархона все знают... Ох и здорово можно было бы воспользоваться этим моментом!

— А в городе такие волнения могут быть?

— Да они и теперь есть, волнения! Больно уж душит власть частную торговлю. В прошлом году еще можно было как-то терпеть, а нынче просто зарез! Товаров дают все меньше и меньше, а налоги все растут и растут. Одно это может вызвать волнения. А сила волнений, поднятых с двух сторон, способна та-ак потряхнуть страну...

Саиди призадумался.

### XXIII

Деньги были найдены. Дом был куплен и по настоянию Мурадходжи-домлы записан на имя Сорахон. Отремонтировав его, к концу лета Саиди с семьей перебрался туда.

В старом доме, где остался сам домла, несколько комнат были сданы квартирантам.

А в конце осени все планы домлы рухнули. Именно в то время, когда жилищный кризис обострился и цены на квартиры повсюду резко поднялись, горсовет установил нерушимую таксу на частные квартиры. Мурадходжа-домла, который рассчитывал вздуть цены по меньшей мере вдвое и заработать, воспользовавшись кризисом,

добрых три-четыре тысячи рублей в год, теперь в лучшем случае мог получить примерно тысячу целковых. Не успел домла прийти в себя от этого удара, как на него обрушился новый: по пятилетнему плану на месте нынешнего Гала Аторлик\* должна быть воздвигнута большая фабрика, от которой до самой железнодорожной станции будет проложена шоссейная дорога. Если это осуществится, то весь двор Мурадходжи-домлы с домами и часть сада будут снесены!

Для домлы настали тяжелые дни. Он не находил себе места ни дома, ни на улице. Ни вино не успокаивало его, ни моления о «ниспослании гибели тирану». Именно в эти дни единым взмахом венника прикончил домла одну из своих коз. Когда его потом спрашивали: «Для чего вы это сделали, домла?», он только пожимал плечами. Соловей-Соловушко беспрестанно проклинала кого-то и готова была сцепиться с любым человеком, встретившимся на пути, и избить его, если бы хватило сил, и взречь, если бы этих сил не хватило.

Другие члены организации были так же пришиблены, так же взбудоражены, растеряны и не знали, что делать. Ильхам, женившийся всего семь месяцев назад, вдруг бросил свою молодую беременную жену. Впрочем, он и сам не знал, что его толкнуло на это, а на расспросы друзей отвечал: «Ничего сам не знаю! Вот вечером сказал, что ухажу, надел на голову шапку и ушел». Ответит так и сидит, уставившись в одну точку.

Даже Якубджан потерял равновесие. Однажды ночью он подпалил чердак магазина «Узбекторга» и, рассказывая друзьям об этом, радовался так, будто это и составляло заветную цель его жизни. У Махмуджана-эфенди появилась навязчивая идея. Кого бы ни встретил, начинает рассказывать ему о каком-то письме, якобы полученном из Комиссариата просвещения одной из республик, в котором будто бы написано: «Вы — отец всей восточной литературы, и вы нам очень нужны», на что он, Махмуджан-эфенди, будто бы ответил так: «Не поеду. Пусть мой прах останется в земле отцов!» Когда Махмуджан-эфенди на очередном совещании организации принялся — в который раз уже — рассказывать эту историю, Аббасхон просто накричал на него, не в силах сдержать собственное раздражение.

---

\* Г а л а А т о р л и к — галантерейный ряд. Здесь — название квартала.

Число членов гапа, организованного Якубджаном, достигло тринадцати человек, и один из них, в свою очередь, обязан был организовать новый гап.

Собрания гапа, в которых принимали участие старшие члены организации, происходили каждый четверг, по очереди, на дому участников. В последнее время единственной темой этих собраний стало обсуждение директивы центра о росте и расширении организации. Каждый раз ставился вопрос: кого привлечь к организации, как организовать новые гапы. Ораторов хватало. Но каждый, кто брал слово, жаловался на свое. Аббасхон, только недавно побывавший в центре, привез директиву, предписывавшую организации строиться отныне по системе «цепочки», при которой каждый знает только двух других — выше и ниже себя, а про остальных не знает решительно ничего.

Худой и нежный, как Махмуджан-эфенди, учитель с тоненьким голоском взял по этому поводу слово:

— Это очень хорошо,— сказал он, ударяя пальцем по колену Салимхона,— ибо организация наша укрепитя еще более.

Разговорившись, он разволновался, покраснел, на лице его выступил пот.

— Вот вам пример,— говорил он,— то есть пример, показывающий нечеловеческий гнет. Не далее, как вчера, опечатали две мои комнаты. Я не могу попасть в собственные комнаты! Таксу какую-то выдумали! Да ведь дом-то мой, мой, ничей больше! У меня имеются документы! Квартирант, который раньше платил мне девять рублей в месяц, теперь платит два рубля и шестьдесят копеек! Я ему говорю: «Освобождай комнату, она мне нужна самому!», а он мне отвечает: «Куда же я выеду, на дворе — октябрь!» Об этом, говорит, есть специальное постановление правительства. А на мои документы и не смотрит! А другой квартирант мне заявляет: «Когда я въезжал к тебе в дом, стекла в окнах были разбиты. Я сам их вставил, потратил четыре рубля!» И за полмесяца так и не уплатил мне. Вот вам, пожалуйста! Дай и комнату, да и стекла вставляй! Вот вам и закон! Не поверите... Куда только не обращался я! Закон! Нет уважения ни к человеку, ни к его имуществу, ни к его знаниям — ни к чему нет уважения! Подал я заявление в комхоз, так заведующий смеется! А теперь, нате вам! Жил себе и живет народ в Гала-Атторлике, живет себе

мирно. Так нет, теперь выдумали сносить Гала Аторлик! Сколько при этом бедных и сирых лишится кровя?! Вот я и говорю: не вмоготу стало, гнет усилился. В народе загораются искры восстания. Да!

Мурадходжа-домла вышел из себя:

— Все и каждый в отдельности только и вопят о своей беде! Да разве в наших бедах дело?! Стекла... Сто раз за стекла заплатил бы, если бы от этого стало легче народу. Как же избавиться от этого гнета? Вот о чем мы обязаны думать!

Человек, выступивший после домлы, долго разглагольствовал о том, какими налогами облагались владельцы садов и купцы при царском правительстве и какими налогами душатся они теперь. Он говорил: «Хотя советская власть и твердит, что каждый человек должен жить своим трудом, однако сама же она и проводит политику, направленную против этого», и приводил пример: вот же правительство вовсе не считает труд честных купцов за труд, а ведь труд купцов, сидящих день-деньской в лавке, едва ли не изнурительнее труда углекопов!

Так проходили собрания организации.

Мурадходжа-домла совсем обезумел. Жилищный кризис, принесивший ему вначале неслыханные барыши, теперь оборачивался огромными убытками. Кроме того, дорожный техник, просматривая улицу через нивелир, ушел, отметив ворота Мурадходжи-домлы красной краской. По сообщению окружной газеты, Гала Аторлик начнут сносить через месяц, а в середине весны уже пойдет прокладка шоссе. Теперь газета ежедневно выделяла на своих страницах место вопросам благоустройства города. Мурадходжа-домла написал и отправил в редакцию длинную статью, в которой доказывал, что «дорога, которую собираются проложить от Гала Аторлик до станции, не отвечает интересам трудящихся». Статью не напечатали. Домла обегал много знающих людей, прося у них совета и выясняя, сколько же выплатит ему государство, если дом его будет снесен. Советов он получил немало. Самым лучшим и подходящим из них показался домле тот, который утверждал: надо, чтобы в доме, подлежащем сносу, проживало как можно больше семейств и душ. Тогда и от государства можно потребовать большую площадь. Так домла решил переселить Саиди снова к себе в дом.



Саиди осенью и сам спешил отделиться от Мураходжидомлы. Ему казалось, что при самостоятельной жизни его ждут дни, полные света и труда, ждут счастливые минуты творчества. Но отделившись и начав эту самостоятельную жизнь, он вдруг почувствовал себя в положении человека, который темной ночью, оказавшись в чужой и неприветливой стране, впадает в отчаяние, не зная, куда направиться и что делать вообще. Начав жить самостоятельно, он с изумлением обнаружил, что весь «труд», якобы ожидавший его, не что иное как бесконечное воспоминание о прожитом, когда «завтрашний день представлялся счастливей сегодняшнего» или печальный анализ настоящего, когда «завтрашний день еще более полон страхами, чем сегодня».

Не меньше удивился Саиди, поняв, что он жаждет пусть даже минутного успокоения, которое может принести только голос Муниسخон, произносящий, как некогда: «Рахимджан!» Заново вспыхнувшая его любовь к Муниسخон должна, полагал он, помочь ему забыть свои сегодняшние горести и завтрашние страхи и укрыть его благодатной тенью вчерашнего. Но он думал, что эта его любовь все еще та старая любовь, которая ласкала его сердце в студенческие годы. Он жаждал той чистой, целомудренной, юношеской любви и не мог понять, почему падение Муниسخон, ее циничность, ее опустошенность не убили в нем, не погасили влечения к ней. Он не понимал, что и сам уже не тот и чувства его не те, которые когда-то согревали и очищали душу юноши.

Многого не понимал в себе Саиди. Не знал он, что и страшное ощущение человека, потерявшего дорогу и отчаявшегося снова обрести ее, связано с Муниسخон, которая отвернулась от него. Несколько раз Саиди пытался преградить на улице ей путь, но Муниسخон упорно отстранялась и не разговаривала с ним. Так и проходили пустые лихорадочные дни, пока Муниسخон, по совершенно непонятным причинам, не застрелилась.

Никто, в том числе и Саиди, не знал, что послужило причиной самоубийства.

В последний вечер своей жизни она, как всегда, поужинав за семейным дастарханом, спустилась, как рассказывали, в подвал своего дома. Тетка ее, увидев, как она открыла дверь в подвал, крикнула ей вдогонку: «Куда

ты в такой поздний час? Вернись!», но Мунихон не ответила и исчезла в темноте подвала, а спустя пятнадцать минут оттуда раздался револьверный выстрел. Услышав выстрел, Салимхон быстро оглянулся на вешалку, куда он обычно вешал оружие: револьвера на месте не было. Не ожидавший никакого несчастья, он подумал: «Ах, негодная! Неужели нечаянно выстрелила?» — побежал в подвал и сестру свою застал уже мертвой. Она лежала навзничь, уткнувшись головой в грязное белье, валявшееся в углу подвала. Салимхон подвинул ее и увидел струйку крови на виске, а рот для чего-то был заложен шелковым платком. В эту ночь Салимхон обнаружил на своем письменном столе записку:

«До нынешнего дня я только и делала, что лила слезы. Лила бы их и в будущем, всегда. Я взяла перо в руки, чтобы написать: «О матери, рождающие девочек, зарывайте их заживо, дабы они не упрекали вас на том свете!» Но нет, я услышала смех и веселые, радостные голоса девушек и молодых женщин, поэтому пишу: пусть же матери, рождающие мунихон, зарывают заживо своих детей. Мир полон счастья, одна я была несчастна».

И ничего больше. Те, кто знал о провале Мухтархона, решили так: «Она застрелилась потому, что не надеялась больше увидеть своего мужа». Но потом стало известно, что Мунихон и не подозревала о его аресте, а если бы заподозрила, то только обрадовалась бы этому. Салимхон и его друзья придали печальной истории безобидную версию: Мунихон, будто не зная о том, что револьвер заряжен, нечаянно спустила курок, направив дуло на себя... Несчастный случай! Только случай!

Пуля, сразившая Мунихон, поколебала камень, за который хотел ухватиться катившийся в пропасть Саиди. Эта пуля оборвала последнюю нить надежды, обещавшую ему вернуть рано или поздно его прошлое. Размышляя о своем будущем, он молил бога: «О, сделай, чтобы все это оказалось сном!»

Давно еще, когда он был студентом и предал ради Ильхама комсомольца Тешу, ему стало физически трудно проходить по залу рабфака. Ему казалось тогда, что из всех углов глядят на него комсомольцы и каждый

говорит, обращаясь к нему: «А ну, пожалуйста на собрание, вас ждут!» Он постоянно испытывал тогда внутреннее беспокойство. Нынче оно вновь овладело им. Только теперь уже не рабфак и не рабфакровский зал терзали его душу. Весь город, вся страна, каждый встречный на улице приводил его в трепет. Дошло до того, что Саиди стал редко бывать на улице, а если и выходил, то старался поскорее вернуться. На улице ему неизменно мерещилось, что кто-то идет сзади — следит за ним или преследует? Этого он не знал. Но перешагнув порог своего дома, он поспешно запирает двери на засов, словно кто-то, гнавшийся за ним, мог ворваться в незапертый дом. И в такие минуты старый дом Мурадходжи-домлы казался ему теплым и уютным очагом, неприступной семейной крепостью.

— Не знаю, долго ли еще проживу на этом свете, — меланхолично сказал домла в один из обычных визитов к Саиди, — и сами видите, какое время-то. Имущество можно сохранить только в том случае, если человек будет сам стеречь его, держать в руках. А меня — оттого ли, что постарел?.. — перестало интересовать богатство. Вот весной, говорят, начнут прокладывать дорогу. Если снесут наш дом, то дадут жилой площади по количеству проживающих в нем душ. Вы, Рахимджан, мой наследник, вы молоды. И дом, и двор, и земля — все ваше... Делайте с ними, что хотите. На что мне все это? Похороните меня. Если будет что выставить добрым людям, которые придут помянуть раба божьего, то вспомнете домлу добрым словом. Вот и хватит с меня. Теперь же я кое-что скажу вам. До того, как мы начали строиться, я ухитрился придержать для себя тринадцать танапов земли, принадлежавших одному из наших чайрикеров. Была причина, по которой тогда я вам не говорил про это...

Услыхав про землю, Саиди вначале обрадовался, но затем его охватило привычное беспокойство. Все же он составил про себя некий план: он переедет в дом домлы, сдав тот, который купил для себя, как можно скорее, в аренду. Переедет и будет тихонько ждать. До весны среди дехкан вспыхнет грандиозное восстание. По мнению признанных теоретиков организации, это неизбежно, если правительство само не откажется от своей политики коллективизации. Вот тогда он, Саиди, живя на доходы от земли, будет продолжать свою литературную работу, а книги будет отсылать за границу и печатать их там.

Вот уже несколько недель, как Саиди не появлялся в доме Мурадходжи-домлы. Когда же дня за два до обратного переезда зашел к ним, то Соловей-Соловушко, встретив его у ворот, повисла у него на шее и расплакалась:

— Так-то вы любите свою мать! Бросили нас совсем, бросили!.. До смерти хотели довести меня. Теперь-то я вас вовсе не отпущу от себя...

Соловей-Соловушко пролила тогда столько слез, сколько не пролила их над всеми гробами, которые вынесли на ее глазах за всю ее долгую жизнь.

## XXV

Организация поручила Мурадходже-домле побывать у одного торговца, который лет десять назад учительствовал. Надо было разведать: не пригоден ли он для вербовки в какой-нибудь из гапов. Но домла вернулся от него возмущенный до глубины души. Торговец, видимо, искренне жалел, что занялся торговлей, и мечтал, чтоб советская власть разрешила ему вернуться к преподавательской работе. Короче говоря, он «никуда не годился». Когда домла показался в воротах, Саиди задумчиво стоял во дворе перед гостиной, а чайрикер вместе с Остонакулом укладывали на крыше над воротами привезенные из кишлака последние две арбы связанных стеблей гуза-пай\* и кукурузы. Увидев домлу, Саиди направился во внутренний двор и, дойдя до калитки, пропустил тестя вперед.

— Люди — звери! — сказал домла, перешагивая через порог.

Саиди молчал до тех пор, пока оба не оказались в рабочем кабинете домлы.

— Ну, отчего это вы такой... квелый? — спросил его домла, вытирая платком вспотевшую шею.

— Да ничего... Ну, как? Говорили с ним? Тут Аббас приходил.

— Да? Что-нибудь срочное?

— Нет... Так просто зашел...

Саиди говорил вялым, безжизненным тоном.

Домла вскипел:

---

\* Гуз а-п а я — стебли хлопчатника. Употребляются как топливо.

— Да что такое с вами стряслось? Нельзя же быть таким скрытным, дорогой мой! Хорошо ли, плохо ли, а все же надо говорить, если есть о чем говорить!

Было похоже, что домла сейчас закричит. Сделав над собой усилие, Саиди, наконец, произнес:

— Аббас заходил к Шарифу и застал у него Салохитдина. Помните, того Салохитдина, что был взят в газету кассиром по рекомендации Якубджана? Его тогда из школы выгнали... А когда был назначен новый редактор, то ему быстренько доложили обо всем этом, и тот также быстро освободил его от работы.

Домла несколько успокоился:

— Ну, и, наверно, ходил жаловаться к Шарифу. Я уверен, что Шариф просто выпроводит его. Так вас огорчило только то, что он сидел у Шарифа? Только и всего?

— Когда-то, давно еще, мы с Якубджаном пытались обработать его. Расскажи он Шарифу о том, что тогда говорилась, так не будет ли худо, думаю?..

Мурадходжа-домла передернул плечами:

— А что может быть хуже, чем сейчас? Они же добились всего, чего добивались, между нами говоря. Из города выгнать? Авось не выгонят! Ну, еще что нового?

— Ничего особенного... только мне кажется, что этот самый чайрикер — человек вовсе неплохой...

— Знаю. Неплохой. Чужим брезгует, терпелив, нетребователен. Бога почитает.

— Вот я об этом и говорю. Хороший, богобоязненный человек. А с нового года, говорит, засеять на нашей земле не будет.

— А что же он станет делать, если сеять не будет? Куда же он пойдет, к кому?

— Говорит, в колхоз вступает.

— Значит, будут все-таки колхозы?

— Видно, будут.

Домла высоко вскинул брови, на лбу собрались морщины.

— Люди — звери! — воскликнул он и ушел во двор.

Когда через полчаса Саиди вышел во двор, домла, сидя на ступеньке гостиной, увещевал чайрикера:

— Мало ли, много ли, все же ваша, собственная. Хоть мала земля, да ваша. Хотите—засеваете её просом, хотите — маком. Эта земля досталась вам ценой вашего пота, трудом досталась. А другие как? Другим землю дало государство, потому они и не боятся вступать в колхозы. Вот увидите,

ни один человек, имеющий собственную, честно приобретенную землю, ни за что не вступит в колхоз, хоть зарежьте вы его!

Чайрикер сидел внизу и, опустив голову, в глубоком раздумье, грыз былинку. Потом, решительно сняв с головы тюбетейку и выдергивая из ее дыр высунувшиеся скрученные бумажные закладки, сказал:

— Так-то оно так, мой эфенди. Много лет чайрикерствовал я на вас. А землицы мало. Хорошо ли в колхозе, или чайрикерство лучше, надо же все-таки испытать! В колхоз баев не принимают, стало быть, наверно, бедняка там заедать не станут!.. Как с земельной реформой вышло? Хорошо вышло. А ведь смутьяны предсказывали, что мы наплачемся! Не видел я слез от реформы. Видел одну радость. Теперь нам говорят: «Вы должны объединить свои земли, работать сообща, а урожай будете делить на весах». Да можно и в решетках делить, было бы что! Вот, говорят, государство и трактор предоставит. А уж остальное в наших руках — работай да богатей!

— А вы, работая на моей земле, разве обеднели?

Чайрикер усмехнулся:

— Не обеднел, но и не разбогател... Да ведь жизнь-то проходит!

Домла замолчал, не зная, что еще сказать, лицо его потемнело. Молча поднялся он и ушел в ичкари.

Поднялся и чайрикер, обернулся к Остонакулу, стоявшему на крыше и укладывавшему связки гуза-паи, хотел что-то сказать ему, но тут заговорил, Саиди:

— Напрасно вы так делаете, ака. Обидели вы домлу. Хорошо, если будут колхозы. Ну а если их не будет? Останетесь без мужа, понадеявшись на любовника?..

— Нет, мулла-ака, я хочу дать отставку любовнику, чтобы выйти замуж, — ответил чайрикер и засмеялся.

Засмеялся и Саиди, хотя ответ чайрикера не на шутку испугал его.

Саиди, как и многие большие и малые «понимающие» люди, состоявшие в тайной организации, был убежден в провале коллективизации. Услышав простые и ясные слова чайрикера, Саиди вспомнил земельную реформу. Тогда тоже были «убеждены», как наивно, но очень кстати, напомнил чайрикер. Были прорицатели, шумели, предсказывали... И что же? Ничего.

Мурадходжа-домла кричал тогда во весь голос: «Земельная реформа приведет кишлаки к гибели!..» Саиди, против воли своей, поехал в кишлак. Стояла зима, он ждал, что все будет по-зимнему — неуютно и холодно. А все оказалось иным, похожим на раннюю весну, когда на полях появляются пахари, когда начинает пригревать мягкое и теплое солнце, когда все оживает после долгой спячки. В те памятные дни земельной реформы и люди забегали, засуетились, наполняя кишлак радостным гомоном и веселыми криками. И эти крики, этот гомон лучше, точнее, чем домла, предсказывали будущее кишлака, в котором проводилась земельная реформа. Саиди и тогда уже смутно понимал это. Только очень уж не хотелось понимать... Но сколько же можно обманывать самого себя? Разве, по совести сказать, верит он сам, Саиди, что сбудутся новые предсказания о «провале коллективизации»?

Из слов чайрикера было ясно, как далеки они от действительной жизни. Саиди вдруг страстно захотелось самому съездить в кишлак, посмотреть там все своими глазами, убедиться в чем-то, хотя больше всего он боялся, что слова чайрикера окажутся непреложной правдой. И если так, то Саиди, успокаивающий свое сердце и ум обманчивыми и призрачными надеждами, лишился бы и этого последнего утешения.

Только сейчас осознал Саиди, что миражи, создаваемые «теоретиками» контрреволюции, — его, Саиди, последнее утешение. В период земельной реформы, когда, ожидая гибели кишлаков, он увидел, наоборот, доказательства их процветания, он был молод, силен и свои несбывшиеся надежды решил превратить в тему будущего романа, сулившего ему, конечно, громкую славу! Но теперь? Теперь, если, приехав в кишлак, он увидит, что люди встречают коллективизацию с той радостью, с какой встречали в свое время земельную реформу, его последняя надежда рухнет неминуемо. И это будет уже крушением жизни, крушением непоправимым и последним.

Вернувшись в свой рабочий кабинет, Саиди уселся в кресло у окна и взял в руки книгу, уже давно забытую на столе. Ему вовсе не хотелось читать, и если бы он теперь вспомнил, что книги издаются для чтения, он бы не прикоснулся к ней. Но ему вдруг вспомнилось совсем иное. Ему вспомнилось, как отец его любил гадать на книгах. Когда запутывались у отца дела, он раскрывал, бывало

какую-нибудь книгу и, зажмурив глаза, указательным пальцем прижимал строчку. Если палец попадал при этом на букву «С», то отец по-детски шумно и весело радовался: эта буква означала «счастье»; если же его палец выхватывал букву «Б», то отец тяжело расстраивался, ибо она приносила за собой слово «беда». Так начал гадать на буквах и Саиди. Он несколько раз, точно как покойный отец, проделал эти операции, но почему-то всякий раз под его пальцем оказывались другие, ненужные буквы. У отца это получалось всегда быстро и сразу, а у Саиди ничего не выходило, хотя он много раз прикладывал палец. «Это, быть может, оттого, что я и верю и не верю в это дело?» — подумал он и снова принялся проделывать упражнение.

Но и час спустя он все еще бился над этим делом, а вера его в этот бред настолько усилилась, что он вышел и совершил ритуальное омовение.

Из дальних комнат слышались крики домлы и причитания Соловья-Соловушки,

## XXVI

Через неделю кто-то приехал из кишлака и увез домлу с собой. Уезжая, он говорил, что землю, которую обрабатывал чайрикер, решивший вступить в колхоз, он отберет и передаст другому чайрикеру; домой пообещал вернуться через три дня. Но вернулся лишь на шестнадцатый день. Саиди, в представлении которого кишлак теперь был пастью кровожадного дракона, эти пятнадцать дней провел в страшной тревоге и беспокойстве.

Домла вернулся почерневший, исхудалый, с ввалившимися глазами, словно он совершил долгое утомительное путешествие по пустыне. Подбородок его, обычно напоминавший вымя породистой коровы, теперь свисал пузырем, из которого выпустили воздух.

Нехотя поздоровавшись с Саиди, подав ему кончики пальцев, домла молча прошел в свою комнату. Саиди ожидал увидеть домлу радостно оживленным, с сияющим лицом и теперь подумал: «Ну, теперь конец!» И все-таки мысленно попытался успокоить себя: «Э, авось не все еще кончено!» Надежда была маленькая, даже совсем крохотная, и, боясь потерять ее, Саиди все не решался войти к домле и расспросить его о делах. Он долго простоял во дворе,



однако другого выхода не было, и он вошел в кабинет тестя. Тот развалился в углу дивана, раздраженный и насупленный, словно только что переругался с кем-то, а Сорахон, сидевшая возле окна, плакала. Пройдя на цыпочках через всю комнату, Саиди присел у рабочего стола. Домла даже не оглянулся на него. Все трое молчали. Наконец, может быть, не стерпев тишины, домла крикнул, обращаясь к дочери:

— Вон отсюда!

— Да что я сделала?.. Ни с того, ни с сего...— проговорила Сорахон, всхлипывая и поднимаясь.

— Сколько раз я твердил тебе, дочь моя, не таращь глаз! А ты вечно смотришь на человека, как корова, вылупив глаза!— ответил домла и обратился к Саиди:— Ты ее о деле спрашиваешь, а она вылупится на тебя и смотрит! Корова она, что ли! Разве так хорошо?..

Саиди не ответил. Сорахон ушла всхлипывая.

— Народ в кишлаках озверел!— сказал домла.

Саиди вздрогнул и снова подумал: «Все, конец!»

— Народ стал подлым еще тогда, во время земельной реформы,— говорил домла, — я знаю, бывалый... я тогда еще говорил об этом. И эта подлость растет теперь с каждым днем. И политика ведется такая, чтоб развивать, усиливать эту подлость. Да и какая может быть политика у группки безыдейных невежд?

— Что, колхозы действительно будут?— со слабой надеждой спросил Саиди.

— Когда я приехал в кишлак, заявления о вступлении в колхоз поступили от тринадцати человек. Но некоторые забирали их обратно. Ваш поэт Кенджа тоже там, выпускает многотиражку. И этот подлец, Салохитдин, тоже там околачивается! Шариф назначил его заведующим школой кишлака. Вот он шныряет повсюду и везде кричит о колхозе. А люди-то, люди-то! Толпой собираются вокруг этого типа и слушают его, развесив уши! Тоже мне агитатор! И всегда он с народом, с толпой. И с Кенджой дружит.

— А что с землей? Отдали кому-нибудь из чайрикеров? Или и они собираются в колхоз?

— Я закинул удочки, пробовал говорить кое с кем, все отвечают: погодим малость, посмотрим, чем оно все кончится. Все они хотят в колхоз, но чего-то побаиваются.

Вечером пришел Салимхон. Он был расстроен и раздражен. Весь последний месяц он ездил по кишлакам. Боясь и

от него услышать какую-нибудь неприятную весть, Саиди ушел к себе и больше не возвращался.

Салимхон, заку́ривая от оку́рка новую папиросу, испытующе посмотрел на Мурадходжу-домлу.

— На другой день после вашего отъезда в кишлак политические органы увезли Ибрагимова из тюрьмы.

У домлы отшибло память.

— Какого еще Ибрагимова?— спросил он в испуге.

— По делу Мавлянкулова... Народный судья Ибрагимов.

— Ах, этого! Ну и что?

— Наверно, тут есть что-нибудь, если вдруг увозят человека, уже осужденного.

— А Мирза Мухитдин где же?

— Вместе с Аббасом уехал в центр.

— Но какой же интерес для политических органов увозить Ибрагимова?

— Интерес? Немаленький! Сдается мне, политические органы пронюхали суть этого дела. И, вероятно, попытаются через Ибрагимова раскрыть всякие другие дела. Вот и вывезли его из тюрьмы, чтобы с ним там ничего не случилось... Ну, скажем, ничего неожиданного.

— Но тогда, значит...

Домла не договорил и задумался.

В дверь резко постучали. Домла помотрел на Салимхона, Салимхон — на домлу.

— Кто это может быть?

Салимхон пожал плечом:

— Вам виднее... Выйдите, посмотрите...

Домла вышел. Оказалось, что стучал Якубджан.

— Как можно быть таким бестолковым!— сказал домла Якубджану, когда оба были уже в комнате.— Садитесь... На дверях существуют кольца, порядочный человек всегда дергает за кольца, а вы... Да разве можно так пугать людей?

— А что делать,— ответил Якубджан, опускаясь рядом с Салимхоном на тахту, — что делать! За кольцо ли буду дергать, или войду в комнату, проломив стену, все равно не сегодня завтра придется нам идти впереди четырех солдат...

Домла хмуро смотрел на него, Салимхон обозлился.

— Ох и холодный же вы человек, Якубджан! Да разве можно быть таким холодным!..

— А если само известие ледяное, как же я могу подогреть его?

— Ну, ну?

— Мирза Мухитдин и Аббасхон арестованы Политическим управлением. Приехал человек из центра!

Домла вскрикнул: «А? Спаси, братец!» — И ухватился за плечо Якубджана. Салимхон, побелев до синевы, неподвижно застыл, прислонившись к стене.

## XXVII

Ничего об этих событиях Саиди не знал: в тот день он больше с домлой не виделся. Домла же вечерним поездом уехал неизвестно куда — об этом своим обычным ворчливым тоном рассказала за утренним чаем Соловей-Солорушко. Все выглядело привычно, и человеку, не ведающему ничего дурного, дурного не предвещало.

После завтрака Саиди прошел к себе с намерением поработать над переводами, которые давно уже лежали без движения. Но войдя в кабинет и увидев на столе бумаги, он вдруг почувствовал себя страшно усталым, неспособным сейчас заняться какой-либо умственной работой. Поникий и обессиленный, он опустил в кресло у окна и закурил. Сейчас ему было трудно не только работать, но даже пошевелить рукой, чтобы стряхнуть пепел с папиросы.

Закинув голову и рассматривая потолок, Саиди долго сидел, решив ни о чем не думать. Думая о том, что бы сделать такое, чтобы не думать, он тут же нарушил свое решение, и эта мысль, потянув за собой множество других, наполнила весь его мозг. В ушах тоненько зазвенело. Среди хаоса мыслей, наполнявших голову, вдруг блеснули строки, вычитанные им когда-то:

Мы пьем из чаши бытия  
С закрытыми глазами,  
Златые омочив края  
Своими же слезами...

Саиди вскочил, пытаясь вспомнить, когда и где он это читал. Вспомнил, начал искать среди книг, нашел и прочитал все стихотворение — оно оказалось коротким. Потом ему захотелось отыскать еще что-нибудь в таком же духе, он открыл оглавление. Но если не помнишь стихов, то по оглавлению определить настроение и дух стихотворения невысказано. Надо прочитать хоть по четверостишию

из каждого. А Саиди было трудно не только читать, но даже перелистывать книгу. «Поразительно!— воскликнул он, отбрасывая сборник.— Где люди берут столько слов!»

Вошла Сорахон. Саиди показался ей больным.

— Что-нибудь случилось с вами?— спросила она, громко чавкая жевательной серой.

После очень долгого молчания Саиди ответил:

— Устал я жить...

— Вот тебе и раз! Было бы от чего устать, а то ничего же решительно не делаете... Ну, да ладно, ложитесь...

Саиди знал, что Сорахон не поймет его, но выразить эту мысль другими, более доступными для ее понимания, словами, ему было лень.

Повертевшись в комнате, Сорахон что-то взяла и, смачно жуя серу, вышла.

В таком подавленном состоянии и томлении провел Саиди этот день. Наутро, проснувшись, он долго лежал в кровати, не раскрывая глаз, а когда открыл их, то первым делом увидел на цветочном столике свою тубетейку и снова почувствовал себя нехорошо. Такое чувство бывает у человека, увидевшего одежду только что похороненного друга.

В последние дни неумную тоску вызывало у Саиди буквально все, начиная от убранства комнаты и кончая садовой оградой. С течением дней эта тоска настолько обострилась, стала такой непереносимой, что временами ему казалось: он умирает. Все окружающее сделалось ненужным или безразличным. Над всем главенствовала тоска. Смертная тоска.

В один из таких дней Саиди случайно забрел к сестре, давно уже прикованной к постели. Сестра его слегла окончательно еще осенью, когда начались дожди и ноги у нее отнялись совсем. Увидев брата, вот уже несколько дней не заходившего, она прослезилась.

— Что же делать, Рахимджан, если бог создал меня такой несчастной... Ни к чему я не годна... Попроси, пожалуйста, невестку, пусть нагреет мне отрубей... Прибрал бы бог меня поскорее...

— Ладно, она нагреет тебе отрубей. Ты не умрешь. Ноги твои получают исцеление. И ходи, сколько тебе захочется, по долине слез! Неужели я стану возражать против того, чтобы для тебя нагрели отрубей и чтобы ты пролила в этом мире все положенные тебе слезы!

Сестра, занятая бесплодными усилиями не расплакаться перед братом, не расслышала его странного ответа. А Саиди, шагнув через порог, тут же забыл просьбу сестры и прошел в сад. Несмотря на сырость и начавшийся снег, он долго и бесцельно бродил по дорожкам. А когда очнулся, оказалось, что он дрожит, прислонившись к какому-то обрубленному дереву. Снег уже валил крупными хлопьями.

Нелюдимость Саиди, возросшая за последнее время до предела, привела к тому, что он стал избегать всяких встреч даже со своими домашними, а временами начинал заговаривать сам с собой. Первой это подметила Соловей-Соловушка и объявила его «тронутым». Посидев и поговорив с Саиди после своего возвращения, Мурадходжадомла подтвердил мнение жены: «Эта болезнь у него наследственная. Отец его тоже умер сумасшедшим». Беседовать с Саиди, посидеть с ним вечерок, как бывало, у домлы уже не было никакого желания. Впрочем, он днями и ночами был занят на различных совещаниях, созываемых для обсуждения одного-единственного вопроса: как уберечь от разгрома их организацию.

## XXVIII

Теперь все в Саиди: и то, как он прихлебывает чай, и то, как он дышит, и то, как он ходит,— буквально все казалось Соловью-Соловушке странным. Она была уверена, что болезнь Саиди усиливается с каждым днем, и тревожилась: как бы он не причинил ее дочери какой-нибудь неприятности. Она поделилась своими тревогами с домлой, во сто крат усилив и приукрасив их. Домла захлопотал: он решил отправить Саиди в больницу и вызвал врача.

Через два дня в дом пришла русская женщина с портфелем. Подумав, что это врач, вызванный им, домла встретил ее с подобострастием, словно дорогую гостью. Он начал объяснять ей болезнь своего зятя:

— Папа — девона, мама — девона\*. Он сам стал девона, черт...— говорил он, ведя за собой женщину.— Каждый день моя кызымка\*\* его махлаш дает\*\*\*!

---

\* Девона — безумный.

\*\* Кызымка — дочь.

\*\*\* Махлаш дает — бьет.

Женщина не поняла его. Достав из портфеля какие-то бумаги, она показала их домле, что-то говоря по-русски. Из ее слов домла понял только одно: «Тупа, Тупа» и удивился.

— Тупа — нет,— сказал, он, деля какие-то знаки на пальцах, словно разговаривал с ней.— Тупа ушоль. Рахимджан Саиди девона. Рахимджан Саидов, двадцать шесть лет!

Оба они никак не могли понять друг друга. Наконец женщина стала объясняться по-узбекски:

— Тупу знаешь?

— Да, знаешь. Он ушоль, Тупа. Тупа не девона.

— Пуль даешь?\*

Глаза домлы чуть не выкатились из орбит. ■

— Э, зачем пуль даешь?— сказал он и крикнул в сторону двери:— Сорахон, позови-ка сюда Рахимджана! Саиди вошел, вялый и усталый, как человек, не спавший несколько ночей, и присел на стул у самых дверей.

— Кто эта женщина, и что ей надо?— обратился к нему домла.

Женщина показала Саиди бумаги, лежавшие на столе, и объяснила:

— Этот вот гражданин семь лет держал Тупу в качестве работницы, денег не платил. Меня прислали выяснить...

С тех пор как Тупу увезли в больницу, никто не навещил ее, зная, что болезнь тяжелая, все были уверены, что она давно умерла. Саиди был поражен.

— А где же она теперь?

— У нас, В артели. Работает.

— Ну?— обратился домла к Саиди.

— Тупа требует от вас денег за семь лет работы в вашем доме. Эта вот женщина пришла специально поговорить с вами об этом.

— Э-э, какие деньги, какие деньги! Мы ей ничего не должны. Она и не работала семь лет, мы ее содержали, мы не дали ей пропасть, сколько добра мы делали ей! Вы объяснили все это?

Поговорив коротко с женщиной, Саиди сказал домле:

— Очень трудно это ей объяснить. Она не верит.

После долгого раздумья домла сказал:

---

\* Пуль даешь?— Деньги дашь?

— Да ведь она же и ела, питалась. Мы одевали ее. А когда заболела, то вовсе не работала, только ела. Мы доктора вызывали. Вы ведь сами знаете, она ни на что не была способна. Ну, а сколько же она требует?

— По предварительным подсчетам вот этой женщины, тысячу двести шестьдесят рублей. И сюда не входят другие расходы. Например, около ста пятидесяти рублей на социальное страхование...

Домла посмотрел на гостью, затем на Саиди:

— Что же это такое, а, Рахимджан? Выходит, ни мало ни много, а тысячи полторы набезит, а? А что, если ублаготворить ее,— и домла взглядом показал на женщину. — А она бы и того... а? Намекни-ка ей... Сколько надо дать ей денег, чтобы покончить с этим делом?

Саиди перевел слова домлы на русский язык, тогда женщина молча встала и молча покинула комнату. Саиди побрел к себе, даже словечком не обменявшись с домлой. Оставшись один, домла начал строить планы: Тупе он заплатит за два года, за остальные пять лет он не признает, переложит на плечи Саиди, скажет: «С тех пор что Саиди поселился у нас, Тупа на меня не работала. Работала на Саиди». В крайнем случае, дело перейдет в суд. А привлечь Саиди к суду нельзя, нет такого закона, чтобы судить душевнобольного.

Успокоив себя таким образом, домла вечером ушел на очередное совещание.

Саиди, как обычно, сидел в своем кресле.

Вошла Соловей-Соловушко. Саиди никого не хотелось видеть, желание это было настолько остро, что при виде тещи по всему его телу разлилась какая-то острая и неприятная боль.

— Зачем приходила давеча эта женщина?— спросила она Саиди.— Домла не сказал мне ничего, а спросить у него я не посмела: настроение у него было неважное...

Саиди постарался ответить так, чтобы не осталось места для дальнейших вопросов:

— Она должна домле немного денег, так приходила, чтобы сказать, что не сможет вернуть их вовремя.

Соловей-Соловушко успокоилась и, постояв еще немного, снова заговорила:

— Ишь какой буран поднялся. Так и гремит железом на крыше айвана. Надо бы придавить чем тяжелым... Долго она ждала ответа и, не дождавшись, ушла,

ворча и в сердцах хлопнув дверью. Саиди почувствовал себя легко и свободно вздохнул, словно у него удалили песчинку из глаза. «О глупая женщина,— сказал он, закрыв глаза и откидываясь на спинку кресла,— к чему сердиться! Что такое лист железа на крыше, когда ураган времени сотрясает всю страну! Оставь меня, не для того я живу, чтобы исправлять крыши. Я пришел в этот мир, чтобы как можно скорее уйти из него».

Вдруг глаза его широко раскрылись. И раньше уже приходила ему в голову мысль покончить с собой, но каждый раз в таких случаях душа раздваивалась, и, когда одна половина молчала, одобряя эту мысль, другая шептала ему: «Ты только-только взял в руки чашу жизни, ты еще не испробовал сладости ее, остановись!» Но теперь молчала и вторая половина его души.

Сердце его сильно забилося. Он встал с кресла, включил свет, прошелся по комнате, снова уселся, закрыл глаза. Теперь душа его, слившись воедино, шептала ему: «Ты подержал в руках чашу жизни, ты испробовал ее. Да, да, чем больше пьешь из этой чаши, тем больше чувствуешь ее горечь. Довольно! На рынке жизни ты накупил все, что нужно было тебе, теперь возвращайся пока не поздно! Не дай бог задержаться: за тобой гонятся. Ты испробовал все, начиная от меда и кончая вином, ты пресытился. Что от того, пройдет через твое горло еще один лишний глоток вина или сотня бутылок? Что может заставить тебя прожить еще три лишних дня? А раз так, что же ты сидишь? Поднимайся, иди!»

Саиди снова широко раскрыл глаза, уставился на огромное зеркало в позолоченной раме, и зеркало показало ему почему-то невероятно красивым, таким, о котором мечтают многие люди. Он медленно поднялся и, протянув назад руку, словно намереваясь всадить нож в спину своему заклятому врагу, взял с цветочного столика хрустальную вазу, развернулся и кинул в самую середину зеркала. Ваза и зеркало разлетелись вдребезги, несколько осколков повисло на позолоченной раме.

Никто не прибежал на грохот.

Саиди вышел во двор. Над миром бесился буран, и нельзя было понять, с неба ли падают мелкие хлопья снега, с земли ли поднимаются снежные вихри. Спускаясь по ступенькам, Саиди упал. Поднялся, ухватился за железные перила, рука в ледяном ожоге прилипла к ним. С



трудом оторвав руку, он медленно, по щиколотку в снегу, направился к воротам. Из низкого окна подвала, наполовину залепленного снегом — в этом подвале лежала его больная сестра, — лился красноватый свет. Увидев свет в окне, Саиди вспомнил слова сестры: «Дай бог, поправлюсь», и эта ее надежда на жизнь вызвала в нем сначала досаду, потом такой гнев, такую ненависть, что Саиди чуть не задохнулся.

Где-то со скрипом открылась дверь. Саиди бессознательно ускорил шаг, вышел за ворота. На улице было темно, пустынно, ни души. Каждый порыв ветра поднимал с земли, с деревьев и крыш густые клубы снега и не давал ступить шага. С большим трудом, словно шел он под страшным потоком воды, Саиди добрался до перекрестка. Перекресток он узнал по огромному окну магазина слева от себя. Высокое и широкое, это окно было ярко освещено и сквозь густую пелену падающего и вертящегося в вихре снега бросало на дорогу яркий свет. Саиди перешел на другую сторону и упрямо зашагал в пляшущем буране. Пройдя почти два километра, он вышел из ворот города и свернул в сторону Большого кладбища, по другую сторону которого пролегалo полотно железной дороги. Падая, вставая, снова падая и вставая, спотыкаясь на каждом шагу, Саиди прошел еще около ста метров и, миновав кладбище, начал спускаться к полотну дороги. Железная дорога должна была проходить самое большее в пятидесяти метрах от заура\*, пролежавшего у подножья возвышенности. Спускаясь с этой возвышенности, Саиди несколько раз падал и поднимался, однажды очутился в глубоком зауре по пояс в снегу. С большим трудом выбравшись оттуда, он снова пошел, иногда опускаясь на четвереньки, ползя и окидывая ищущим взглядом окружающую его темноту. Вдруг он увидел шпалы, сложенные штабелем: значит, полотно дороги где-то здесь, совсем близко! Саиди добрался до штабеля, снял две шпалы и, усевшись на них, стал дожидаться...

Он не знал, сколько пришлось ему ждать, когда во тьме показалось расплывчатое белесое пятно. Пятно это с каждой минутой становилось все ближе и отчетливее.

Поезд!

---

\* Заур — канава для стока воды в конце хлопкового поля; чтобы не заболачивалась орошаемая земля.

Саиди поднялся, чтобы броситься под поезд. Но в эту минуту перед его глазами встали ярко освещенные, теплые и уютные купе вагонов, путники, сладко спящие в них, влюбленные, целующиеся в полутемных коридорах, и его сердце наполнилось яростной, звериной ненавистью. И эта ненависть придавала силы уже изнемогавшему Саиди.

А поезд все приближался. Саиди, словно петух, нацеливающийся как можно более ловко клюнуть своего врага, несколько раз кивнул головой в сторону приближающегося поезда и, подняв одну из шпал, положил ее поперек полотна; затем он поспешно отбежал, словно спасаясь от смерти, так же поспешно поднял другую шпалу и положил ее рядом с первой.

Паровоз с грохотом надвигался.

В ту минуту, когда Саиди взялся было за третью шпалу из штабеля, ему вдруг показалось, что взорвавшееся небо, кроша и сметая на своем пути все подряд, опускается на землю. Земля содрогнулась, и Саиди, вместе со шпалой, которую не выпускал из рук, опрокинулся навзничь. Грохот и треск вдруг смолкли, ему показалось, что даже завывание бури на мгновение прекратилось, и эта внезапно наступившая тишина оказалась страшнее всего на свете. Саиди вскочил и побежал в жидкие заросли кустарника, словно надеясь спрятаться там. Что-то сверкнуло, осветив все вокруг. И в ярком свете Саиди, стоя в кустарнике, увидел: из-под груды развороченных, побитых и скрюченных досок струей текла по снегу кровь и исходила теплым еще паром. Снова все вокруг погрузилось во мрак... Если ненависть, вспыхнувшая недавно в Саиди, придавала ему физическую силу, то эта картина, возникшая перед его глазами, и кровь, текущая по снегу, придали ему силы душевные. Душа, несколько часов назад призывавшая его к смерти, теперь жаждала жизни: «Нет! Твой клинок хоть и сломан, но щит твой еще цел! Под защитой его ты еще многое можешь сделать! Да, можешь!..»

Вдруг в глубокой тишине откуда-то раздались бляение овец, мычание коров, рев быков. Эти голоса были слышны глухо и отдаленно, словно доносились из-под земли. И Саиди понял, что поезд, только что потерпевший из-за него крушение, был простым товарным поездом, перевозившим скот на бойню.

После долгой тишины послышались людские голоса. Возле паровоза, наполовину ушедшего в глубокий снег,

в нескольких метрах от Саиди, замелькал тусклый огонек. При виде огонька Саиди охватил страх. Выбравшись из кустарника, он побежал в ту сторону, откуда пришел поезд. Навстречу ему дул сильный ветер, глаза слепило снегом, и хотя он и бежал изо всех сил, ему все казалось как во сне, что он топчется на месте, нисколько не продвигаясь вперед. Истратив все силы и всю волю, он с трудом одолел расстояние в какие-нибудь двести метров, потом упал. Он положил все остатки сил на то, чтобы подняться, но не поднялся. Ноги казались ему деревянными. Тогда он попытался ползти. После каждого порыва ветра он зарывался в снег, и каждый раз после долгих мучений он появлялся из-под снега, как появляется из воды водяная черепаха, снова полз и полз...

Через несколько шагов, стоивших ему огромного, нечеловеческого труда, он почувствовал, что одеревенели и руки. Тогда он остался лежать, не двигаясь. Его начало заносить снегом.

Еще раз он сделал попытку стряхнуть снег и, подняв голову, широко раскрыв глаза, всмотрелся вперед. Прямо перед ним, всего в нескольких шагах, ярким огнем разгорался огромный костер. Мир, только что казавшийся ему синтезом ветра, снега и тьмы, теперь исчез. Остался только этот ярко пылающий костер. Он горел широко, языки пламени колебались. Саиди восторженно и попытался придвинуться к костру, но новый порыв ветра сильным ударом отбросил его назад и снова принялся засыпать его снегом. А костер все горел и горел, заманчивый, не уходил из глаз. Настоящий, с жарким пламенем, с летящими в небо мириадами искр, костер горит и горит! Но и этот костер оказался для него только видением, пустым миражем, как некогда жемчужина Мунисхон, как потом мировая слава, как сказочный дворец в цветущей долине, как развевающееся зеленое знамя над куполом этого дворца. Когда Саиди почувствовал, что одеревенели не только ноги и руки, но и все тело и даже голову начало сковывать холодом, он подумал, что его окончательно засыпает снегом. Последнее, что он ощутил и услышал, был сильный и могучий гудок паровоза, подошедшего со стороны города.

1930—1934 гг.

## Абдулла Каххар

МИРАЖ

Редактор *Н. И. Любечанская*

Художник *Б. Жуков*

Худож. редактор *Г. Бедарев*

Технич. редактор *Я. Пинхасов*

Корректор *А. Мурахвер*

\* \* \*

Сдано в набор 4/XI 1958 г. Подписано в печать 27/XII 1958 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 8,75 печ. л. 14,35 усл. печ. л. Изд.л 15,22, Индекс: худ. пр. Тираж 15000. Государственное издательство художественной литературы, Ташкент, Навои, 30. Договор № 16—58.

\* \* \*

Типография № 1 Главиздата Министерства культуры УзССР. Ташкент, ул. Хамзы, 21. 1958. Заказ № 580. Цена 6 р. 55 к.